

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1954

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. Виноградов (Москва). Язык художественного произведения . . .	3
Я. С. Отрембский (Познань). Славяно-балтийское языковое единство . .	27

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. М. Дьяконов (Ленинград). О языках древней Передней Азии	43
--	----

Обсуждение вопросов стилистики

А. В. Федоров (Ленинград). В защиту некоторых понятий стилистики	65
В. Д. Левин (Москва). О некоторых вопросах стилистики	74
И. С. Ильинская (Москва). О языковых и неязыковых стилистических средствах	84

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

А. В. Десницкая (Ленинград). Об университетском курсе «История языкознания»	90
---	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Ю. А. Жлуктенко (Киев). О так называемых «сложных глаголах» типа <i>stand up</i> в современном английском языке	105
---	-----

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Ю. Я. Егерман (Москва). Вопросы лингвистики в теоретических трудах А. Грамши	114
--	-----

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

И. В. Шнитке (Москва). О грамматизации собственных имен (По поводу статьи Л. С. Карума)	126
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. С. Бархударов, Г. В. Котлянский (Москва). Американский журнал «Language» (за 1952—1953 гг.)	130
Т. И. Ломтев (Москва). <i>И. С. Кузнецов</i> . Историческая грамматика русского языка. Морфология	137
Е. В. Немченко (Москва). <i>A. Lamprecht. Středoevropské přehledy</i>	144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Л. Г. Скрипник (Киев). В Институте языкознания им. А. А. Потебни АН УССР	147
--	-----

Р е д к о л л е и я :

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции),
 Р. А. Будагов, В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов,
 И. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного редактора),
 В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Г 06921	Подписано к печати 23 IX 1954 г.	Тираж 14 150 экз.	Зак 497
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Бум. л. 4 ³ / ₄	Печ. л. 13,02	Уч.-изд. л. 15,9

2-я тип Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

В. В. ВИНОГРАДОВ

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Еще в конце прошлого столетия акад. Ф. Е. Корш писал о субъективизме в оценках, который был обычен для критиков и литературоведов того времени в их суждениях о языке и стиле писателя. Взаимные разногласия между такими «ценителями» были чрезвычайно велики. По словам Ф. Е. Корша, «где один видит банальность, другой открывает живые образы»; то, что одному кажется психологической нелепостью, другому — до такой степени естественным, «что всякий читатель мог предвидеть именно такую развязку» и т. п. Многие из этих литературных судей, писал Ф. Е. Корш, напоминают того пушкинского критика, «человека впрочем доброго и благонамеренного», который, по словам поэта, «выставил несколько отрывков и вместо всякой критики уверял, что такие стихи сами себя дурно рекомендуют»¹.

Суждения акад. Корша, высказанные почти 60 лет тому назад, звучат вполне современно. Литературная критика и сейчас не может опереться на прочные достижения филологической науки; общие, нередко очень субъективные оценки языка художественных произведений выражаются самыми трафаретными фразами².

Изучение языка художественного произведения и определение методов его стилистического анализа — это проблемы, которым у нас посвящено очень много статей и исследований, но которые еще очень далеки не только от научного решения, но даже и от более или менее удовлетворительного объяснения.

¹ Ф. Е. Корш, Разбор вопроса о подлинности окончания «Русалки» Пушкина ..., «Известия Отд-ния рус. языка и словесности Имп. Акад. наук», т. III, кн. 3, М., 1898, стр. 639.

² В рассказе-пародии В. Полякова «Обыкновенная история (Три критика и один рассказ)» («Звезда», 1953, № 8) сатирически изображается, как разноречиво судят о языке и стиле одного и того же сочинения разные критики. В одном журнале появляется восторженная рецензия под названием «Большое в малом». Рецензент пишет: «Автор дал своему герою остроумную фамилию — „Щукин“, и мы уже по одной фамилии героя видим, что и отец его и дед его были рыболовами, что опыт передавался из поколения в поколение. Автор умеет одним штрихом передать биографию человека. Цитирую: „его видавшая в ды рука сжимала удочку“. Одной крохотной фразой автор умеет передать внешность героя: „уже немолодой“. Как это просто, лаконично и вместе с тем впечатляюще!» В другом отзыве, носящем заглавие «Автор плавает по поверхности», содержится в корне противоположная оценка того же рассказа, его языка и стиля: «Автор навязывает своему герою фамилию „Щукин“. Герой — токарь. Спрашивается — почему не Станков, не Фрезов, не Скоростнов, наконец, а Щукин? Фамилия „Щукин“ остается всецело на совести автора... Рассказ написан беспомощно и безграмотно. Берем на выборку несколько первых попавшихся читат: „горячее солнце“ (как будто оно может быть холодным!)... „бабочка притаилась в усах“ (надо знать бабочек!)».

Изучение языка художественного произведения тесно связано с более широкими задачами исследования языка художественной литературы и ее стилей, а также языка того или иного писателя. Понимание словесного состава и композиционного строя художественного произведения во многом зависит от правильного освещения функциональных своеобразий языка художественной литературы, от научного марксистского истолкования понятий художественной речи, «поэтического языка», индивидуально-поэтического стиля и т. п.

Справедливо, что основным в сфере лингвистического изучения художественной литературы является понятие индивидуального стиля как своеобразной, исторически обусловленной, сложной, но структурно единой системы средств и форм словесного выражения. В стиле писателя, соответственно его художественным замыслам, объединены, внутренне связаны и эстетически оправданы все использованные художником общенародные языковые средства. Вместе с тем в стилистике индивидуально-художественной речи иногда очевиднее выступают элементы будущей системы национального литературного языка и ярче отражаются функции пережитков языкового прошлого. Вследствие сложности всех этих взаимоотношений исторические законы развития литературных стилей — в тесной связи с развитием литературы как широкой области культуры и в связи с развитием народного и литературного языка — еще совсем не раскрыты³.

Путь конкретно-исторического изучения языка отдельных художественных произведений (конечно, при соответствующей теоретической направленности) может вернее всего довести до решения больших проблем стиля писателя и языка художественной литературы.

Вопрос о языке отдельного художественного произведения и ограниченнее, и специфичнее. Язык разных произведений одного и того же автора может иметь существенные отличия. Об этом писал М. Исаковский (применительно к поэзии): «Даже в пределах поэзии, создаваемой одним и тем же человеком, нельзя пользоваться одним и тем же „секретом“, открытым раз и навсегда. Такого „секрета“ быть не может. В каждом отдельном произведении поэта — если, конечно, это произведение по-настоящему талантливо — заключен уже свой особый „секрет“»⁴.

Целью и задачей изучения языка художественного произведения является показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений. Что лингвисты должны уметь приводить к сознанию все эти средства, в этом не может быть никакого сомнения. Но это должны уметь делать и литературоведы, так как не могут же они довольствоваться интуицией и рассуждать об идеях, которые они может быть неправильно вычитали из текста»⁵.

Каждое литературное произведение, будет ли оно в своем строе целиком зависеть от традиции или, противопоставленное ей, будет стремиться к освобождению от ее стеснений, во всяком случае занимает более или менее определенное место в контексте современной ему литературы. Оно

³ Не так давно наши литературоведы жаловались: «Ощупью, в густом лесу необследованных фактов, спотыкаясь ежеминутно о корни еще не истлевших традиций, возвращаясь неоднократно на дороги, уже раньше заводившие в тупик, бредут исследователи литературы в поисках теории литературных стилей» (А. И. Белецкий, К построению теории литературных стилей, сб. «Памяти П. Н. Сакулина», М., 1931, стр. 9).

⁴ М. Исаковский, О советской массовой песне, «О писательском труде. Сборник статей и выступлений советских писателей», М., 1953, стр. 77—78.

⁵ Л. В. Щербачев, Опыты лингвистического толкования стихотворений, сб. «Советское языкознание», т. II, Л., 1936, стр. 129.

вступает в соотношение с другими произведениями того же жанра и разных смежных жанров. От него тянутся нити аналогий, соответствий, контрастов, родственных связей по всем направлениям, даже в глубь литературного прошлого.

Художественное произведение может и должно изучаться, с одной стороны, как процесс воплощения и становления идейно-творческого замысла автора и, с другой стороны, как конкретно-исторический факт, как закономерное звено в общем развитии словесно-художественного искусства народа. Изучение художественного произведения, его языка, его содержания должно опираться на глубокое понимание общественной жизни соответствующего периода развития народа, на разностороннее знание культуры, литературы и искусства этой эпохи, на ясное представление о состоянии общенародного языка и его стилей того времени, на глубокое проникновение в творческий метод автора и в своеобразие его индивидуального словесно-художественного мастерства.

Историзм — основа правильного, научного понимания явлений. К этому выводу приходили крупнейшие представители нашего отечественного языкознания уже в XIX в. А. А. Потебня писал: «Всякое наблюдение данного момента вызывает наблюдение предшествующего и вытягивается в нить истории, нити сплетаются в постоянно возобновляемую ткань жизни»⁶. Историчным должно быть и отношение к языку художественного произведения.

В эпоху развития национальной культуры художественной литературе и языку ее произведений принадлежит огромная культурно-образовательная роль. Писатель — носитель и творец национальной культуры речи. Пользуясь общенародным языком своего времени, он отбирает, комбинирует и — в соответствии со своим творческим замыслом — объединяет разные средства словарного состава и грамматического строя своего родного языка. Поэтому-то и читатель прежде всего воспринимает и оценивает язык художественного произведения, его словесный и фразеологический состав, его грамматическую организацию, его образы, приемы сочетания слов, способы построения речи разных действующих лиц с точки зрения стилистических норм современного данному художественному произведению национального литературного языка, его правил и законов его развития. Отступая в силу тех или иных художественных задач от этих норм и правил, писатель обязан внутренне, эстетически оправдать свой речевые новшества, свои нарушения общей национально-языковой нормы.

Между тем у наших писателей нередки неоправданные нарушения и отступления от этой нормы. К. Паустовский отмечает, что «мы стесняемся... вывихнутой речью не только в учреждениях и на вывесках... много искаженных, испорченных слов проникает в газеты и даже в художественную литературу»⁷. В. Инбер грустно признается: «Мы пишем часто очень серым языком. Об этом следует помнить и все время чувствовать слово. Язык — это тот материал, из которого мы строим наши вещи»⁸. Надо твердо помнить завет А. М. Горького: «Необходима беспощадная борьба за очищение литературы от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка, за честную технику, без которой невозможна четкая идеология»⁹.

⁶ А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 642.

⁷ К. Паустовский, Поэзия прозы, «Знамя», 1953, № 9, стр. 175.

⁸ В. Инбер, Помогать поэтам, «Лит. газета» 3 X 53.

⁹ М. Горький, О литературе. Литературно-критические статьи, М., 1953, стр. 651.

В структуре художественного произведения происходит эмоционально-образная, эстетическая трансформация средств общенародного языка. Все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться ими. Вот один из многих возможных примеров. Описывая внешность доброго, но бесталанного и безвольного Петра Петровича Каратаева, Тургенев заметил: «небольшие опухшие глазки глядели — и только» («Петр Петрович Каратаев»); в этой связи самое простое слово *глядеть* приобретает глубокий образный смысл.

Если исследователь идет от языка произведения к изучению общенародного или литературного языка эпохи, то искомые нормы и общие черты языка не должны отождествляться с языком отдельного литературного произведения. С другой стороны, всестороннее изучение и глубокий анализ языка художественного произведения невозможны без знания культуры и языка соответствующей исторической эпохи. В этом отношении очень показательны содержащиеся в читательских и критических откликах оценки индивидуальных нарушений стилистических норм современного русского языка в советской художественной литературе.

В статье В. Любовева¹⁰ правильно отмечены факты отклонений от норм современного русского литературного языка у отдельных писателей. Например, в «Повестях и рассказах» В. Авдеева: «... вид у него был торжественный, словно он *держал за щечками* какую-то приятную тайну»; «впереди *ятаганом вилась река*». У поэта Н. Тряпкина:

И много там русских друзей и подруг,
Чьи синие очи — бадановый луг¹¹.

В «Волшебных рассказах» Н. Москвина: «Стоит Сергей Митрофанч над *пустым уже телефоном*».

В рецензии на альманах «Север» Н. Леонтьев отмечает в стихах В. Жилкина неточность и смысловую расплывчатость обозначения явлений как результат невнимания к конкретным условиям жизни и труда. «В. Жилкин утверждает, что владелец лесозавода „скапливал богатства *в закрома*“, что в колхозе „ждет не дождется вспашки *пласт*“, а „ручьи *не вьются в талом блеске*“, что „*струи* Волги... *закрепят каспийские пески*“».

Другой архангельский поэт, В. Мусиков, начинает стихотворение о Радищеве такими строками:

Рванулась долу коренная,
Клубя дорогу за спиной ...

«Ни „рвануться долу“, ни „клубить дорогу за спиной“ коренная, конечно, не могла»¹².

В книге С. Голубова «Доблесть» (Повести и рассказы) находим такое словоупотребление: «Дробный дождик *повалился* (вместо: *повалил*. — В. В. на землю сначала косыми полосами холодной воды, а потом мелкой и редкой россыпью) («Атаман и фельдмаршал»); «Лес был *облит* *холодно-огнем*, в котором ветви деревьев, покрытые свежим белым снегом, казались *паутиным гнездом* *гигантского бриллиантового паука* (там же); «Ни день, ни ночь... Давно бы пора открыться утру. Но горизонт так *сдвинулся ненастьем*, что ничего нельзя было разобрать кругом» («Стергущий»).

¹⁰ См. Вл. Любовева, О стилистических и языковых небрежностях, «Московский комсомолец» 13 VIII 53.

¹¹ В IV томе БСЭ² читаем: «Бадан... многолетние травы с ползучим корневищем и безлистным стеблем... Цветки с лилово-красными лепестками...» Значит, в переводе с поэтического языка на прозаический, эта фраза звучит так: «Чьи синие очи — лилово-красный луг».

¹² «Новый мир», 1954, № 4, стр. 238.

В романе Бор. Соловьева «Крепче камня» удивляет неясное (южно-великорусское или книжно-славянское) применение глагола *расточаться*: «Где-то вдалеке со стороны Лыньевска вставало и *расточалось* дымное, слабое зарево»; «... со стороны завода порой вставало и *расточалось* дымное зарево». Ср. в этом же романе: «Деревья сверкали и вспыхивали от солнца, а за стволами, за *расточительной зеленью* поблескивали, как стальные лезвия, узкие полоски еле угадываемой реки».

Здесь же областное северновеликорусское слово *изгаляться, галиться* (в значении «издеваться», «насмехаться», «измываться») превращено в *голиться, изголяться*: «Это коренная белогвардсийщина озорует и *изголяется*»; «А мы их принимаем с полным удовольствием — не обижаем и не *голимся* над ими» и др.

Таким образом, общественное понимание языка художественного произведения в контексте современного ему общенародного, общенационального языка сопроваждается не только оценкой стилистических «находок», удачных «творческих открытий» писателя, соответствующих законам развития этого языка, но и выделением ошибок, немотивированных отклонений от языковой нормы.

Чрезвычайно важно изучение изобразительных средств общенародного языка. Законы словесно-художественного творчества народа, отражающиеся и в развитии его языка, определяют направление, характер индивидуального речетворчества писателя, строй образов и состав экспрессивных красок, используемых в литературных произведениях.



В развитом литературном языке выделяются разнообразные стили, т. е. более или менее устойчивые, целесообразно организованные системы словесного выражения. Понятие стили языка основано не столько на совокупности установившихся «внешних» лексико-фразеологических и грамматических примет, сколько на своеобразных внутренних экспрессивно-смысловых принципах отбора, объединения, сочетания и мотивированного применения выражений и конструкций. Кроме того, стили языка соотносительны, и эти соотношения подчинены определенным правилам, ограничивающим и упорядочивающим формы разностильных смешений.

В языке художественного произведения могут встречаться и сочетаться выражения и обороты, свойственные разным стилям литературного языка. Например, в «Поднятой целине» М. Шолохова [в главах из второй книги романа (см. «Огонек», 1954, № 15)] так изображается состояние кулака Якова Лукича Островнова после тяжелых сновидений: «В самом мрачном настроении он оделся, *оскорбил действием* ластившегося к нему кота, за завтраком ни с того ни с сего обозвал жену „дурехой“, а на сноху, неуместно вступившую за столом в хозяйственный разговор, даже замахнулся ложкой...». От сочетания разностильных выражений увеличивается сатирическая сила изображения.

Смешение или соединение выражений, принадлежащих к разным стилям литературного языка, в составе художественного произведения должно быть внутренне оправдано или мотивировано¹³. Иначе может возникнуть комическое столкновение, свидетельствующее (если оно не является целенаправленным) о недостатке речевой культуры у автора.

Случаи немотивированного смешения стилей отмечал М. Исаковский: «В Песне „Гаданье“ взят старинный народный сюжет и совершенно меха-

¹³ Ср. замечание А. А. Фета в письме Перлову от 17/III 1891 г.: «...в стихотворении „Да, это он“ меня коробит слово из фельетона: *сочувствую*» (П. П е р л о в, Литературные воспоминания. 1890—1902 гг., М.—Л., 1933, стр. 103).

нически приспособлен к нашей современности. И мы видим, что из этого ничего не вышло. А в языке получилась своеобразная смесь „французского с нижегородским“:

Если зыбью бирюзовой
Заколышется река —
На крылечке на тесовом
Поджидай ты моряка.

„Бирюзовая зыбь“ и „на крылечке на тесовом“ — это из совершенно разных словарей, и вряд ли эти выражения можно поставить рядом. Тем более их нельзя вложить в уста деревенской девушки¹⁴.

Вместе с тем именно в структуре художественного произведения — в зависимости от его идейного содержания, от сферы изображаемой действительности и творческого метода автора — могут сочетаться, сталкиваться и вступать во взаимодействие очень разнообразные стили литературного языка и народно-разговорной речи. Достаточно сослаться на сложный стилистический состав хотя бы таких произведений, как «Евгений Онегин» и «Медный всадник» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Война и мир» Л. Толстого, «Соборяне» Лескова, «Дуэль» Чехова и многие другие.

Примененные писателем и реализуемые в его произведении способы семантического соединения слов, образного выражения или словесного изображения, формы синтаксической сочетаемости слов и словосочетаний, приемы отбора и употребления их, формы и типы столкновения и смешения разных языковых стилей могут обогащать и расширять систему национально-литературного языка. Но для этого они должны быть подчинены правилам его функционирования и внутренним законам его развития, должны двигаться в русле основных тенденций его развития. С этих же точек зрения должен рассматриваться и изучаться язык литературных произведений прошлого. Вот почему такое изучение непременно должно опираться на глубокое и свободное знание не только общей системы литературного языка соответствующей эпохи, но и его стилистических вариаций.

*

Анализ связи и взаимодействия разных стилистических средств в структуре художественного произведения связан с вопросом о свойственных тем или иным стилям языка шаблонах литературного выражения и о приемах их употребления в языке соответствующего произведения.

В разных стилях литературного языка образуются, скапливаются и застывают фразовые «штампы», шаблоны, окостенелые выражения. Таким выражениям нередко свойственна риторичность, ходульность. Литературный штамп, клише не имеет эстетической ценности и образно-смысловой насыщенности выражения; напротив, для него характерна некоторая смысловая опустошенность и условность¹⁵. Злоупотребление такими шаблонами в авторском языке художественного произведения убивает простоту и естественность повествования. Г. В. Плеханов резко писал о любителях пышной, но штампованной речи: «Покойный Г. И. Успенский заметил в одной из своих немногочисленных критических статей, что существует порода людей, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не выражается *просто*... По выражению Г. И. Успенского, люди этой породы стараются *думать басом*», подобно тому, как стараются говорить басом

¹⁴ М. И с а к о в с к и й, О советской массовой песне, стр. 90—91.

¹⁵ Ср. у Чехова в рассказе «Учитель словесности»: «Мир праху твоему, скромный труженик».

иные школьники, желающие показаться „большими“¹⁶. Сатирическая борьба со штампованной литературной фразой характерна для А. П. Чехова, А. М. Горького.

Между тем у некоторых советских писателей наблюдается пристрастие к риторическим шаблонам, злоупотребление ими. Нельзя, например, не заметить склонности к такого рода высокопарным «красотам штиля» в языке способного советского писателя Ф. Наседкина. Так, в романе «Красные Горки» (1953) читаем: «Золотарев вслушивался в прерывистый стон ветра, и ему казалось, что в этом стоне выражен глухой протест охваченной тревогой природы против неистовой, разрушительной работы ветра». Так, в конце концов выходит, что стонущий ветер выражает глухой протест против самого себя. А. П. Чехов не раз говорил о том, как обедают и искусственно ограничивают свое творчество писатели, падкие до общих мест, «жалких слов и трескучих описаний», думающие, что «без этих орнаментов не обойдется дело». О таких писателях Эмиль Золя заметил, что они «... усваивают стиль, носящийся в воздухе. Они подхватывают готовые фразы, летающие вокруг них. Их фразы никогда не идут от их личности, они пишут так, словно кто-то сзади им диктует; вероятно, поэтому им стоит только отвернуть кран, чтобы начать писать»¹⁷.

Употребление риторических штампов может проскальзывать и в языке большего художника слова. Так, в первом сборнике стихотворений Некрасова «Мечты и звуки» (1840) есть стихотворение «Смерти», а в нем такое сочетание фразовых клише лирического стиля начала XIX в.:

Когда душа огнем мучений
Сгорает в пламени страстей.

У К. Федина в книге «Горький среди нас» (ч. 2, 1944): «Смоленщину в те годы *обуревала жгучая горячка*: с настойчивостью воды, рассочившей плотину, крестьяне уползали из деревень на хутора».

*

В стилистику национального языка входит не только система разных его стилей, но и совокупность разнообразных конструктивных форм и композиционных структур речи, вырабатывающихся в связи с развитием форм общения. Сюда относятся не только типичные для эпохи формы и типы монологической и диалогической речи, но и речевые стандарты бытовых писем, делового документа и многие другие. В языке литературного произведения нередко наблюдаются отражения этих композиционно-речевых форм бытового общения; следовательно, и в этом кругу композиционно-речевых категорий язык художественного произведения, хотя и в индивидуально-творческом преломлении, но так или иначе отражает стилистические явления, развивающиеся на базе общенародного языка в сфере общественной жизни.

Известный критик и поборник реализма в русском искусстве В. В. Стасов писал Л. Толстому: «Мне довольно давно уже хочется немножко рассказать Вам мои соображения на счет „монологов“ в комедиях, драмах, повестях, романах и т. д. новых писателей, особливо русских, и авось скоро напишу Вам несколько слов обо всем этом. У меня целые т а б л и ц ы с выписками, составленными из разных авторов, и авось Вы пожертвуете несколько минут, чтобы пробежать это. — Мне кажется, что в „разговорах“ действующих лиц ничего нет труднее „монологов“. Здесь авторы фальшат и выдумывают более, чем во всех других своих писаниях, — и именно

¹⁶ Г. В. Плеханов, Соч., т. XVI, 2-е изд., М.—Л., 1928, стр. 31.

¹⁷ Сб. «Литературные манифесты французских реалистов», [Л., 1935], стр. 109.

фальшат условностью, литературностью и, так сказать, академичностью. Почти ни у кого и нигде нет тут настоящей правды, случайности, неправильности, отрывочности, недоконченности и всяких скачков. Почти все авторы (в том числе и Тургенев, и Достоевский, и Гоголь, и Пушкин, и Грибоедов) пишут монологи совершенно правильные, последовательные, вытянутые в ниточку и в струнку, вытощенные и архи-логические и последовательные [sic!]. А разве мы так думаем сами с собою? Со всем не так.

Я нашел до сих пор одно единственное исключение: это граф Лев Толстой. Он один дает в романах и драмах — настоящие монологи именно со всей неправильностью, случайностью, недоговоренностью и прыжками. Но как странно? У этого Льва Толстого, достигшего в монологах большего, чем весь свет, иногда встречаются (хотя редко!) тоже неудовлетворительные монологи, немножко правильные и выработанные»¹⁸.

*

При осмыслении и оценке языка художественного произведения с точки зрения норм и правил общенародного языка и его живых «ответвлений» необходимо обратить внимание на то, что в способах речевого отбора и использования разных средств общенародного языка представителями разных общественных групп отражается социальная среда, разные социальные характеры. В каждой более или менее самоопределившейся социальной среде в связи с ее общественным бытием и материальной культурой складывается свой словесно-художественный вкус, своеобразный социально-речевой стиль¹⁹. Для писателя эта бытовая речь социальной среды, выражающая ее стремления, вкусы, отношение к жизни, свойственная этой среде манера словесного изложения является источником речевого произведения разных национально-характеристических типов²⁰.

Стилистика общенародного языка, изучая экспрессивные оттенки слов, выражений и конструкций, отчасти учитывает и эту их характеристическую окраску. Именно в эту сторону направляли внимание литературных критиков и филологов Пушкин, Гоголь, а за ними и многие другие великие творцы русской реалистической литературы XIX и XX в.

¹⁸ «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906»,² [Л.], 1929, стр. 265.

¹⁹ Н. Гиляров-Платонов в своих воспоминаниях «Из пережитого» ярко изобразил процесс роста речевой «цивилизации» в малокультурной среде, прежде всего, в среде провинциального духовенства, и связанные с этим процессом изменения социально-речевого стиля. «Мы — я и сестры — ко многому тянулись действительно потому, что находили новое более просвещенным. „Что это ты сказал: *инда* я испугался? замечает мне сестра; нужно говорить: *даже* я испугался“. Не говори: „*сем* я возьму“, а „*позвольте* взять“. Это были уроки вежливости и благовоспитанности действительно, хотя поистине и жаль, что просительное „сем“ не получило гражданства в литературе; оно так живописно и так идет к прочим вспомогательным глаголам, заимствованным от первичных физических действий: „стал“, „пошел“, „взял“!... Мы умирали от стыда, когда случалось обмолвиться перед посторонними и сказать о комнатах „горница“, „боковая“, „топлюшка“. Горница переименовалась в „залу“, топлюшка в „кухню“, даже прихожая в „переднюю“. Что было необразованного, невежливового в „горнице“ или „прихожей“? Тут действовал уже слепой пример, потребность приличия, в других случаях именуемого *модой*. Но мода сравнивает вчерашнее с нынешним, а здесь сравниваются не времена, а общественные слои» (Н. Гиляров-Платонов, Из пережитого, М., 1886, стр. 150).

²⁰ О важности этой стороны речи и о ее связи с социальным обликом говорящего писал К. Маркс: «В притонах преступников и в их языке отражается характер преступника, они составляют неотъемлемую часть его бытия, их изображение входит в изображение преступника...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 78).

Характерные особенности социально-экспрессивной оценки слов ярко выступают в таком диалоге между Бальзаминовой и ее сыном — мелким чиновником в комедии Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!».

«[Бальзаминова]. Вот что, Миша, есть такие французские слова, очень похожие на русские, я их много знаю; ты бы хоть их заучил когда, на досуге. Послушаешь иногда на именинах или где на свадьбе, как молодые кавалеры с барышнями разговаривают, — просто прелесть слушать. [Бальзаминов]. Какие же это слова, маменька? Ведь как знать, может быть, они мне и на пользу пойдут. [Бальзаминова]. Разумеется, на пользу. Вот слушай! Ты все говоришь: „я гулять пойду!“ Это, Миша, нехорошо. Лучше скажи: „я хочу проминаж сделать!“ [Бальзаминов]. Да-с, маменька, это лучше. Это вы правду говорите! Проминаж лучше. [Бальзаминова]. Про кого дурно говорят, это — мараль. [Бальзаминов]. Это я знаю-с. [Бальзаминова]. Коль человек или вещь какая-нибудь не стоит внимания, ничтожная какая-нибудь, — как про нее сказать? Дрянн? Это как-то не ловко. Лучше сказать по-французски: „гольтена!“ [Бальзаминов]. Гольтена. Да, это хорошо. [Бальзаминова]. А вот если кто заважничает, очень возмечтает о себе, и вдруг ему форс-то собьют, — это „асаже“ называется. [Бальзаминов]. Я этого, маменька, не знал, а это слово хорошее. Асаже, асаже... [Бальзаминова]. Дай только припомнить, а то я много знаю. [Бальзаминов]. Припоминайте, маменька, припоминайте! После мне скажете!».

Наиболее прямым и непосредственным выражением отношения к предмету сообщения является интонационно-мелодическая сторона речи²¹. В языке художественного произведения при воспроизведении речи персонажей используются разнообразные свойства экспрессивного произношения — социально-типические и индивидуальные.

В рассказе И. С. Тургенева «Два помещика» характерны комментарии при описании манеры речи генерал-майора Хвалынского, который, разговаривая с дворянами небогатыми или нечиновными, «... даже слова иначе произносит и не говорит, например: „благодарю, Павел Васильевич“, или: „пожалуйста сюда, Михайло Иваныч“, а: „боллдарю, Палл' Асиллч“, или: „па-ажалте сюда, Михалл' Ваныч“. С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит и, прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду, с озабоченным и мечтательным видом, повторит: „как тебя зовут?.. как тебя зовут?“, ударяя необыкновенно резко на первом слове „как“, а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела».

Ср. у того же Тургенева в рассказе «Гамлет Щигровского уезда» изображение речи сановника: «... „молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они, пожалуй, от всякой юбки с ума сходят... Ибо молодые люди глупы“. (Сановник, вероятно, ради важности, иногда изменял общепринятые ударения слов.)». В «Отцах и детях» Тургенев так характеризует манеру речи Петра, лакея Кирсановых: «Он совсем ооченел от глупости и важности, произносит все *e*, как *ю*: *тюпюрь, обюспючюн...*»

Само собой разумеется, что принципы воспроизведения социально-типической характеристики речи не могут быть натуралистическими. Ху-

²¹ Верье в своей работе «Английская метрика» (P. Verrier, *Essai sur les principes de la métrique anglaise*, vol. I, Paris, 1909, стр. 103 и сл.) так характеризует экспрессивную интонацию: «Благодаря почти бесконечному числу своих тональностей, пауз, тонов, нот и их комбинаций, столь же различных, сколько и неопределенных, она передает с поразительной точностью самые сложные эмоции, самые тонкие оттенки и самые мимолетные чувства».

дожественное произведение не является памятником или документом ни областной диалектологии, ни социальной жаргонологии²².

Вместе с тем несомненно, что писатель-реалист изображает национальные характеры со свойственной им манерой выражения как порождение строго определенных общественно-исторических условий. Великий русский драматург А. Н. Островский писал: «... мы считаем первым условием художественности в изображении данного типа верную передачу его образа выражения, т. е. языка, и даже склада речи...»²³.

Можно также сослаться на различия в стиле, в организации речи между такими персонажами горьковской драмы «Мещане», как Нил и Петр Бессеменов.

*

Язык литературно-художественного произведения рассчитан на восприятие, понимание и оценку его в аспекте общенародного, общенационального языка. Правда, в художественном произведении, особенно там, где это оправдано идейным замыслом писателя, жанром произведения (ср., например, приемы стилизации языка эпохи в историческом романе) и его композицией, может быть мобилизован «архивный фонд» старинной речи, применены элементы классовых, социально-групповых жаргонов и народно-областных говоров, в качестве иллюстрации использованы документальные стили исторических и литературных памятников. Но язык подлинно художественного произведения не может далеко отступать от основы общенародного языка, иначе он перестанет быть общепонятным (относительно свободные отходы от общенациональной языковой нормы возможны для художественного произведения лишь в области лексики).

Нельзя глубоко и всесторонне понять язык художественного произведения, а следовательно, и смысл его, не зная общенародного и литературного языка того времени, когда это произведение было создано. На почве недостаточного знания литературного языка соответствующей эпохи, особенно его словарного состава, происходили и происходят многочисленные недоразумения и ошибки при толковании литературных текстов. Вот один из примеров этого. Историки русской литературы, анализируя неоконченную повесть Пушкина «Из записок молодого человека» как повесть о декабристе, опирались, между прочим, на ошибочное толкование слова *родина*²⁴ (которое встречается в плане не написанных глав этой повести), на неправильное отождествление значений двух синонимических серий слов, которые резко различались в языке Пушкина: *родина* и *отечество* — *отчизна*.

Слово *родина*²⁵ в языке Пушкина не имело того острого общественно-политического и притом революционного смысла, который был связан со словом *отечество* (и отчасти со словом *отчизна*). Достаточно сослаться на употребление слова *родина* в стихотворениях «Городок», «Дон», «Янко Марнавич» (из цикла «Песни западных славян»), «На возвращение государя

²² Ср. известные замечания по этому поводу А. М. Горького в связи с анализом языка романа В. П. Ильенкова «Ведущая ось» (см. М. Г о р ь к и й, О литературе. Литературно-критические статьи, стр. 559—564).

²³ «А. Н. Островский о театре. Записки, речи и письма», 2-е изд., М.—Л., 1947, стр. 208.

²⁴ См. «Звезда», 1930, № 7, стр. 218—219.

²⁵ «Родина — место, где кто родился *Побывать на своей родине*» («Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный», ч. V, СПб., 1822, стр. 1055; ср. «Общий церковно-славяно-российский словарь [П. И. Соколова], ч. II, СПб., 1834, стр. 1134; ср. также «Словарь церковнославянского и русского языка, сост. Вторым отд-нием Имп. Акад. наук», т. IV, СПб., 1847, стр. 67).

императора из Парижа в 1815 году [Александрю], «Погасло дневное светило», «К Овидию» и др. Значение слова *родина* ярко выступает в связи с тем циклом образов, который предназначался для предисловия к «Повестям Белкина» и затем нашел себе место в «Истории села Горюхина» и позднее в «Дубровском»²⁶.

Язык литературно-художественного произведения, вливаясь в общий поток развития языка в целом, может рассматриваться как памятник и источник истории этого языка. Однако язык этого памятника представляет лишь часть системы литературного (или, шире, общенародного языка), использованную писателем для оформления и выражения своего художественного замысла. Следовательно, вполне правомерны исследования, посвященные анализу грамматических конструкций или лексики и фразеологии того или иного произведения в связи с общими процессами развития литературного языка. Но значение этого языкового материала как в аспекте общей истории языка, так и в отношении структуры данного произведения может быть уяснено и понято лишь в том случае, если этот материал глубоко освещается с точки зрения активных, живых отношений лексической или грамматической системы общенародного языка. Важно, например, знать не только то, какие лексические слои или группы слов использованы писателем, но и то, какие словарные пласты оставлены в стороне, какие были возможности выбора и что в конце концов отобрано и почему. Тем более приобретает значение сознательный, подчеркнутый отказ художника от некоторых форм или видов языкового выражения.

Само собой разумеется, что лишены научного значения попытки установить непосредственную связь лексики того или иного произведения с идеологией писателя — без всякого анализа словарного состава литературного языка соответствующей эпохи. Эта порочная тенденция нашла выражение во многих кандидатских диссертациях нашего времени. Вот две случайно выбранные иллюстрации. В автореферате кандидатской диссертации И. А. Федосова «Лексика и фразеология романа А. М. Горького „Мать“» (МГУ, 1953) написано: «Чтобы показать руководящую роль коммунистической партии в подготовке революции, борьбу пролетариата за освобождение трудящихся, Горький, естественно, прибегает к словам *партия, свобода, освобождение, демократия, завоевание, уничтожение; освободить, освобождают, разрушить, завоевать, победить, потребовать; свободный, свободнейший* и под.». «К лексике, связанной с идеей угнетения, порабощения, эксплуатации, в романе относятся слова *гнет, нищета, насилие, цепи; эксплуатировать, поработить, гноить, грабить, позирать; порабощен, оковавший* и т. п.» (стр. 6). В автореферате кандидатской диссертации А. М. Дряхлушина «Лексика „сказок“ М. Е. Салтыкова-Щедрина» (МГУ, 1953) читаем: «Весьма употребительны у Щедрина имена существительные с продуктивным суффиксом *-ство*. Он использует их для создания пародий на реакционную и либеральную печать, образуя яркие и сильные обличительно-сатирические речевые средства: „ругали (генералы) мужика за его *тунеядство*“; „в мире псов, точно так же, как и в мире людей, лезть, *пронырство*“; „*вот богатство-то* и течет все мимо да скрозь“» (стр. 10).

²⁶ В «Дубровском»: «Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. *Двенадцать лет не видал он своей родины*. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями». Ср. в «Истории села Горюхина»: «... и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось — я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. *8 лет не видал я Горюхина*. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями».

Обозначаемое или выражаемое средствами литературного языка содержание произведения само по себе не является предметом лингвистического изучения. Языковедом интересуют способы выражения этого содержания или отношение средств выражения к выражаемому содержанию. Но в плане такого изучения и само содержание не может остаться совсем вне поля зрения лингвиста. Ведь действительность, раскрывающаяся в художественном произведении, воплощена в его речевой оболочке; предметы, лица, действия, явления, пазываемые и воспроизводимые здесь, внутренне объединены и связаны, поставлены в разнообразные функциональные отношения. И все это отражается в способах связи, употребления и динамического взаимодействия слов и выражений. Язык художественного произведения, являясь средством передачи содержания, не только соотносен, но и связан с этим содержанием; состав языковых средств зависит от содержания и от характера отношения к нему со стороны автора.

Изучая язык писателя-реалиста, советские филологи не раз подчеркивали важность исследования в том или ином художественном произведении «ассортимента типичных предметов и явлений, подаваемого в оболочке слов и их сочетаний, приросших к реалиям в изображаемой среде и эпохе»²⁷. Таким образом, характер словоупотребления, отношение слова к действительности, обнаруживающее степень ее знания, глубину охвата, точность и тонкость разграничения предметов, неразрывно связаны с дальнейшим развертыванием и показом соответствующего круга явлений в композиции сочинения.

Любопытно признание Л. Толстого, объясняющее его неудовлетворенность своей работой над историческим романом из эпохи конца XVII — начала XVIII в.: «Никак не могу живо восстановить в своем воображении эту эпоху, встречаю затруднения в незнании быта, мелочей обстановки»²⁸.

*

В языке художественного произведения следует различать две стороны, которым соответствуют и два различных способа анализа, два различных аспекта его изучения. С одной стороны, выступает задача уяснения и раскрытия системы речевых средств, избранных и отобранных писателем из общенародной языковой сокровищницы. Само собой разумеется, что в индивидуально-художественном стиле возможно осложнение этого общенародного языкового фонда посредством включения в него или присоединения к нему речевых средств народно-областных говоров, а также классовых жаргонов и разных профессиональных, социально-групповых аргю. Исследование характера и внутренних мотивов объединения всех этих языковых средств в единую систему словесного выражения, а также изучение функций отдельных элементов или целой серии, совокупности внутренних объединенных речевых явлений в соответствии с своеобразием композиции художественного произведения и творческого метода писателя и составляет одну сторону, один аспект анализа языка произведения. Можно сказать, что такой анализ осуществляется на основе соотношения и сопоставления состава речи литературно-художественного произведения с формами и элементами общенационального языка и его стилей, а также с внелитературными средствами речевого общения.

Следовательно, язык литературного произведения необходимо прежде всего изучать, отправляясь от понятий и категорий общей литературно-языковой системы и вникая в приемы и методы их индивидуально-стили-

²⁷ Ср. А. С. Орлов, Язык русских писателей, М.—Л., 1948, стр. 149.

²⁸ См. П. Попов, Незаконченные исторические романы [Л. Н. Толстого], «Лит. наследство», № 19—21, М., 1935, стр. 682.

стического использования. Однако и при этом изучении приходится обращаться к таким вопросам и категориям индивидуальной стилистики, которые выходят далеко за пределы стилистических явлений общелитературной речи (например, о структуре и нормах «авторского» повествовательного стиля, о «несобственно прямой речи», о разных социально-речевых стилях диалога и т. п.).

Но есть и иной путь лингвистического исследования стиля литературного произведения как целостного словесно-художественного единства, как особого типа стилевой словесной структуры. Этот путь — от сложного единства к его расчленению. Члены словесно-художественной структуры усматриваются в самой организации, внутреннем единстве целого. Это прежде всего те стилевые пласты или потоки, те композиционные типы речи, связь и движение которых образует единую динамическую конструкцию. Далее это могут быть — при отсутствии конструктивного разнообразия в строе целого — те композиционные части, строфы, абзацы и т. п., которые по субъективно-экспрессивной окраске речи, или по употреблению форм времени, или по семантическому своему строю, или по своеобразиям синтаксического построения отличаются друг от друга и следуют друг за другом, подчиняясь тому или иному закону структурного сочленения. Грани между отдельными частями литературного произведения не привносятся извне, а понимаются из самого единства целого. Эти части, а также границы и связи между ними определяются не только приемами непосредственных сцеплений, но также и смысловыми пересечениями в разных плоскостях (ср. принципы неполного, но динамически развертывающегося параллелизма — синтаксического и образно-фразеологического — в структуре повести Гоголя «Нос», прием образных отражений в строе пушкинской «Пиковой дамы» и т. п.).

Таким образом, структура целого и его значение устанавливаются путем определения органических частей художественного произведения, которые сами в свою очередь оказываются своего рода структурами и получают свой смысл от того или иного соотношения словесных элементов в их пределах. И этот анализ идет до тех пор, пока предельные части структуры не распадаются в синтаксическом плане на синтагмы, а в лексико-фразеологическом плане — на такие отрезки, которые уже не членимы для выражения индивидуального смысла в строе данного литературного произведения.

Понятно, что при помощи такого стилистического анализа отдельных литературных произведений значительно расширяется и обогащается понимание стиля художественного произведения. Анализ лексико-фразеологического состава и приемов синтаксической организации литературного произведения поворачивается в иную сторону, в сторону осмысления индивидуально-стилистических целей и задач употребления всего этого языкового богатства. Как и для чего сочетаются в структуре изучаемого произведения разные стилевые пласты лексики? Какие приемы и средства применяются писателем для создания новых значений и новых оттенков разных слов и выражений? Какими путями достигаются те «комбинаторные приращения смысла», которые развиваются у слов в контексте целого произведения? Каков образный строй произведения? Каковы излюбленные приемы метафоризации? На каких семантических основах зиждется та индивидуальная система образно-художественного выражения, которой определяется смысл целого литературно-художественного памятника? Какими методами экспрессивной расцветки слов и выражений пользуется писатель в изучаемом произведении? Какая связь между лексико-фразеологическим и синтаксическим строем произведения? Каковы изобразительные функции синтаксических форм? Как отражается на формах син-

таксического построения и на приемах лексического отбора «несобственно-прямая речь»? Чем отличаются по своей лексико-фразеологической структуре и по своему синтаксическому строю разные формы монологической и диалогической речи в структуре литературного произведения? и т. д., и т. д.

Освещение всех этих вопросов приближает исследователя к пониманию индивидуального стиля изучаемого литературного произведения.

*

Громадная роль в процессе создания художественного произведения принадлежит, с одной стороны, избирательной, а с другой стороны, комбинирующей и синтезирующей работе автора, направленной одновременно и на изображаемую действительность, и на формы ее отражения в словесной композиции произведения, в его языке. Об этой активно избирательной направленности словесного творчества поэта писал В. Маяковский, подчеркивая необходимость «выводить поэзию из материала», «давать эссенцию фактов», «сжимать факты до того, пока не получится прессованное, сжатое, экономное слово», а не «просто накидывать какую-нибудь старую форму на новый факт» («Как делать стихи?»). Вместе с тем, по словам Маяковского, «надо точно учитывать среду, в которой развивается поэтическое произведение, чтобы чуждое этой среде слово не попало случайно». Это положение иллюстрируется черновой строчкой из стихотворения, посвященного С. Есенину:

Вы такое, *милый мой*, умели.

«„Милый мой“ — фальшиво, во-первых, потому, что оно идет вразрез с суровой обличительной обработкой стиха; во-вторых, этим словом никогда не пользовались мы в нашей поэтической среде; в-третьих, это — мелкое слово, употребляемое обычно в незначительных разговорах, применяемое скорее для затушевки чувства, чем для оттенения его; в-четвертых, человеку, действительно размякшему от горести, свойственно прикрываться словом поглубже. Кроме того, это слово не определяет, что человек умел — что умели? Что Есенин умел?.. Как не подходило бы к нему при жизни:

Вы такое петь душе умели.

Есенин не пел (по существу, он, конечно, цыгано-гитаристый, но его поэтическое спасение в том, что он хоть при жизни не так воспринимался, и в его томах есть десяток и поэтически новых мест). Есенин не пел, он грубил, он загибал. Только после долгих размышлений я поставил это „загибать“ ..!»²⁹

«Главное... — пишет К. Симонов, — продуманный и точный... отбор, привлечение из всей массы фактов и явлений наиболее точных и выразительных, иногда мелких, но складывающихся в живую картину действительности, — это и есть настоящий художественный лаконизм»³⁰.

Смысл слова в художественном произведении никогда не ограничен его прямым номинативно-предметным значением. Буквальное значение слова здесь обрастает новыми, иными смыслами (так же, как и значение описываемого эмпирического факта вырастает до степени типического обобщения). В художественном произведении нет, во всяком случае, не должно быть, слов немотивированных, проходящих только как тени ненужных предметов. Отбор слов неразрывно связан со способом отражения и выражения действительности в слове. Действительность, раскры-

²⁹ В. Маяковский, Как делать стихи?, «О писательском труде...», стр. 59—60

³⁰ К. Симонов, Перед первой страницей, «О писательском труде...», стр. 226.

вающаяся в художественном произведении, воплощена в его речевой оболочке, в его языке; предметы, лица, действия, явления, события и обстоятельства, называемые и воспроизводимые здесь, поставлены в разнообразные внутренние отношения, они взаимосвязаны.

Эта взаимосвязь и смысловая многообъемность слов и выражений в строе художественного произведения чрезвычайно ярко показана Л. Н. Толстым в его известной статье: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят». Рассказывая о необыкновенном художественном чутье яснополянского мальчика Федьки Морозова, писавшего сочинение на пословицу: «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет», Толстой подробно останавливается на одном выражении, на одной «побочной черте», предложенной Федькой: «кум надел *бабью* шубенку». «Сразу не догадаешься, почему именно *бабью* шубенку, — а вместе с тем чувствуешь, что это превосходно и что иначе быть не может, — пишет Л. Н. Толстой. — Каждое художественное слово, принадлежит ли оно Гёте или Федьке, тем-то и отличается от нехудожественного, что вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений. Кум, в *бабьей* шубенке, невольно представляется вам тщедушным, узкогрудым мужиком, каков он, очевидно, и должен быть. *Бабья* шубенка, валявшаяся на лавке и первая попавшая ему под руку, представляет вам еще и весь зимний и вечерний быт мужика. Вам невольно представляются, по случаю шубенки, и позднее время, во время которого мужик сидит при лучине раздевшись, и бабы, которые входили и выходили за водой и убирать скотину, и вся эта внешняя безурядица крестьянского житья, где ни один человек не имеет ясно определенной одежды и ни одна вещь своего определенного места. Одним этим словом: „надел *бабью* шубенку“, отпечатан весь характер среды, в которой происходит действие, и слово это сказано не случайно, а сознательно».

В письме к брату Чехов писал: «В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покати-лась шаром черная тень собаки, или волка»³¹.

А. Серафимович рассказывает о том, как он учился изображению предметов у Чехова: «Мне один из товарищей как-то указал: „Посмотри, как пишет Чехов“. Ему нужно было дать жизнь в уездном городе. Мы бы с вами написали, что вот-де уездный город, немощные, пыльные улицы, свиньи разгуливают и проч. Длинная история... А как Чехов пишет? „Иза острога всходила луна...“ А потом начинается рассказ. И перед вами — уездный город. Острог ведь бывает только в уездном городе. В деревне острога не бывает. В Москве, в этой громаде, его не увидишь, — в уездном же городе он выпирает. Или так: есть у Чехова одно место, где ему надо было дать лунную ночь. Так он написал: „От мельницы тянулась уродливая тень, а в венце плотины блеснул осколок бутылки...“ А мы бы написали: „Взошла луна, она лила голубоватый свет...“ и т. д.»³².

Словоупотребление писателя обусловлено его умением найти необходимый и характерный для соответствующего художественного замысла способ образного обобщения предмета, явления, лица, действия и т. п.

Д. В. Григорович в известных своих «Литературных воспоминаниях»

³¹ Письмо Ал. П. Чехову 10 мая 1886 г., в кн.: А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIII, М., 1948, стр. 215. Ср. использование этого словесного образа в рассказе «Волк», написанном в том же 1886 г., и в «Чайке».

³² А. С. Серафимович, Из истории «Железного потока», «О писательском труде...», стр. 213.

очень живо рассказывает о первом уроке словесного мастерства, данном ему Ф. М. Достоевским, таким же в то время начинающим писателем, каким был и Григорович, только что написавший свою первую удавшуюся вещь — очерк «Петербургские шарманщики».

Достоевский «...повидимому, остался доволен моим очерком, — пишет Григорович, — хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе „Публика шарманщика“. У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. „Не то, не то, — раздраженно заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, *звеня и подпрыгивая*...“ Замечание это, — помню очень хорошо, — было для меня целым откровением. Да, действительно: *звеня и подпрыгивая* — выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре; выражение: пятак упал не просто, а *звеня и подпрыгивая*, — этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом»³³.

*

Слова и выражения в художественном произведении обращены не только к действительности, но и к другим словам и выражениям, входящим в строй того же произведения. Правила и приемы их употребления и сочетания зависят от стиля произведения в целом. В контексте всего произведения слова и выражения, находясь в тесном взаимодействии, приобретают разнообразные дополнительные смысловые оттенки, воспринимаются в сложной и глубокой перспективе целого. Связь выражения, словесного образа со смыслом целого, с ситуацией и с положениями действующих лиц, с общим замыслом художественного произведения очень ярко, например, выступает в способах сатирического применения фразеологических оборотов у Салтыкова-Щедрина. Вот пример: рассказчик размышляет о некоем Берсенева: «Это человек мечтательный и рыхлый..., у которого только одно в мысли: идти по стопам Грановского. Но идти не самому, а чтоб извозчик вез» («Дневник провинциала в Петербурге»). Другим ярким примером может служить образное, глубоко обобщенное употребление слова *вещь* в заключительных сценах пьесы Островского «Бесприданница». Лариса, отказавшаяся от своего жениха Карандышева и покинутая Паратовым, в отчаянии думает о самоубийстве, но не находит в себе сил для того, чтобы самой осуществить эту мысль. В ней личность раздавлена, она убеждается в том, что она — только *вещь*. Происходит такая сцена.

«[Карандышев]... Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека, — человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь, — это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может. [Лариса] (глубоко оскорбленная). Вещь... да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя... я вещь! (С горячностью.) Наконец, слово для меня найдено, вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте меня! [Карандышев]. Оставить вас? Как я вас оставлю, на кого я вас оставлю? [Лариса]. Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину. [Карандышев] (с жаром). Я беру вас, я ваш хозяин. (Хватает ее за руку.) [Лариса] (оттолкнув его). О, нет! Каждой вещи своя цена есть... Ха, ха, ха... я слишком, слишком дорога для вас. [Карандышев]. Что вы гово-

³³ Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, Л., 1928, стр. 131.

рите! Мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов? [Лариса] (со слезами). Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой...»

Одни и те же языковые явления, например, явления лексической синонимии и омонимии, могут получать самое разнообразное применение, приобретать резко отличные функции — в зависимости от структуры художественного произведения, его идейного замысла и композиции.

Например, у С. Маршака в стихотворении «Про Сережу и Петю» среди других средств изображения неразличимости братьев-близнецов используются синонимические выражения, обозначающие — в разном свете и с разной экспрессией — одно и то же действие или явление.

Петя бросил *снежный ком*
И *попал в окошко*.
Говорят, в *стекло снежком*
Угодил Сережка.

Совсем иной тип синонимических противопоставлений находим в «Грозе» А. Н. Островского. Кабанова требует от сына, чтобы он перед отъездом приказал жене, как она должна жить без него. Кабанова сама формулирует эти требования, но сын, смягчая их грубый тон, по-своему повторяет их.

«[Кабанова]. Чтоб *сложла руки не сидела, как барыня!* [Кабанов]. *Работай что-нибудь* без меня! [Кабанова]. Чтоб *в окна глаз не паялила!* [Кабанов]. Да, маменька, когда ж она... [Кабанова]. Ну, ну! [Кабанов]. *В окна не гляди!*»

Тут ярко выступает синонимический параллелизм по логическому смыслу однородных, но по экспрессивной окраске совсем несхожих, почти контрастных форм выражения.

Таким образом, в зависимости от структуры художественного произведения, его композиции, воплощенного в нем замысла видоизменяются формы и функции одних и тех же стилистических явлений, например, синонимического употребления слов и выражений, причем смысловые пределы синонимических соотношений и связей тут неизмеримо расширяются по сравнению с общеязыковой семантикой.

Можно также отметить совершенно различные функции лексической омонимии в составе художественных произведений разного строя и типа. В примечании к третьей главе «Евгения Онегина» (не вошедшем в печатный текст) Пушкин писал: «Кто-то спрашивал у старухи: „По страсти ли, бабушка, вышла ты замуж?“ — „По страсти, родимый, — отвечала она. — Приказчик и староста обещались меня до полусмерти прибить“. В старину свадьбы, как суды, обыкновенно были пристрастны». Этот отрывок почти полностью вошел в пушкинское «Путешествие из Москвы в Петербург»: «Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж. — „По страсти, — отвечала старуха: — я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь“. — Таковые страсти обыкновенны». Литературное слово *страсть* «увлечение, чувственная любовь» и народно-разговорное *страсть* «страх» здесь каламбурно сопоставлены для выражения глубоких социальных контрастов.

Совсем иной характер носят глубокомысленные рассуждения чиновника Поджабрина об омонимической многосмысленности слова *знатный* в очерке Гончарова «Иван Савич Поджабрин».

« — А вон там, во втором этаже, где еще такие славные занавеси в окнах? — Там-с, одна знатная барыня, иностранка Цейх. — Знатная! — говорил Иван Савич Авдею: — что это у него значит?.. Она может быть

знатная потому, что, в самом деле, знатная, и потому, что, может-быть, дает ему знатно на водку, или знатная собой?..»

Слова и выражения приобретают в контексте всего произведения разнообразные дополнительные смысловые оттенки, воспринимаются в сложной и глубокой образной перспективе (ср. *«Ликовая дама»* у Пушкина, *«Мертвые души»* у Гоголя, *«Хамелеон»* у Чехова, *«Дачники»* у Горького и т. п.).

В экспрессивно-образном употреблении слова отражается «...толкование действительности»³⁴. С этим кругом смысловых элементов слова связаны и сложные словесные композиционные формы поэтического творчества. «Элементарная поэтичность языка, т. е. образность отдельных слов и постоянных сочетаний... ничтожна сравнительно с способностью языков создавать образы из сочетания слов, все равно, образных или безобразных»³⁵.

Ср. у Вельтмана в *«Приключениях, почерпнутых из моря житейского»* раскрытие образного фона слова *жила*: «Знаете ли вы людей, которых называют жилами. В самом зарождении своем это полипы в человеческой форме. Только что выклюнутся из яйца, мозгиавые с виду, как сморчки, они уже тянут жилы неестественным своим криком; спокойны только тогда, когда сосут грудь, сосут добуха. Глаза и руки у них тянутся ко всему, все подай, или беги от крику...»

Из этого числа людей был Филипп Савич, помещик Киевской губернии. Имея самую слабую и хилую комплекцию, он выжилил, наконец, себе тучное здоровье; не имея в себе ничего, что бы могло нравиться женщине, он выжилил любовь; не имея состояния, выжилил жену с состоянием».

У Тургенева в *«Дневнике лишнего человека»*: «Ее самое — я это видел — *подмывало, как волной*. Словно молодое деревцо, уже до половины отставшее от берега, она с жадностью наклонялась над потоком, готовая отдать ему навсегда и первый расцвет своей весны, и всю жизнь свою»³⁶.

Специфика образно-художественного осмысления слова сказывается даже в функциях собственных имен, выбранных и включенных писателем в состав литературного произведения. Они значимы, выразительны и социально характеристичны как прозвища.

Типично рассуждение капитана Лебядкина в *«Бесах»* Достоевского: «Я может быть желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната, — почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де-Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя, — почему это?».

В рассказе Н. Г. Помяловского *«Вукол»* дядюшка Семен Иванович так рассуждает об эмоциональной окраске звуков и их комбинаций в имени *Вукол*: «Ну, что ты, братец, за кличку дал своему чаду», — говорил он отцу Вукола, Антипу Ивановичу: — «да ты вникни в это слово!.. Вукол!.. вслушайся в это слово хорошенько... Вукол!.. в угол!.. кол!.. ха, ха, ха! Ведь это, братец ты мой, престранное слово. А ну-ка, покажи его... По шерсти, по шерсти, брат, кличка. Именно Вукол».

Понятно, что к этой эмоциональной оценке звукового строя имени примешиваются и социальные вкусы среды, эмоциональные соображения о различиях личных имен в разных слоях общества.

Закономерности развития и сцепления образов в их тесной смысловой

³⁴ Ср. у А. А. Потебни: «Поэзия (искусство), как и наука, есть толкование действительности, ее переработка для новых, более сложных, высших целей жизни» («Из записок по теории словесности», стр. 67).

³⁵ Там же, стр. 104.

³⁶ Ср. у того же Тургенева в повести *«Два приятеля»* употребление глагола *подмывать* в переносно-бытовом значении: «Оба приятеля часто стали ездить к Степану Петровичу, особенно Борис Андрееч совершенно освоился у него в доме. Бывало, так и тянет его туда, так и *подмывает*. Несколько раз он даже один ездил».

связи, создающей внутреннее единство словесной композиции художественного произведения, можно непосредственно наблюдать, например, в речевой ткани таких чеховских рассказов, как «Устрицы», «Сирена» и др.

Важны изучение и оценка пропорциональности в строе образов произведения. По словам проф. Пешковского, «чем писатель экономнее в образах, тем сильнее они, при прочих равных условиях, действуют на читателя». Заслуживает глубокого внимания и другая мысль проф. Пешковского — о том, что «дело не в одних о б р а з н ы х в ы р а ж е н и я х, а в неизбежной образности к а ж д о г о слова, поскольку оно преподносится в художественных целях, поскольку оно дается, как это теперь принято говорить, в п л а н е общей образности... Специальные образные выражения являются только средством усиления начала образности, дающим в случае неудачного применения даже более бледный результат, чем обычное употребление слова. Другими словами, „образное“ выражение может оказаться бледнее безобразного»³⁷.

Вместе с тем, так как художественное произведение включается в широкий контекст литературы — как предшествующей, так и современной, то осмысление многих речевых и стилистических явлений в структуре художественного произведения невозможно вне этого контекста и его конкретно-исторических своеобразий. Примером может служить сказка Салтыкова-Щедрина «Верный Трезор». Здесь сатирически — в образе пса Трезора — изображен реакционный публицист той эпохи — М. Н. Катков³⁸.

Адепт классического образования, Катков начинал свои статьи сверх всякой меры разными «*pro domo sua*», «*nolli me tangere*», «*suum cuique*», «*divide et impera*», «*in deo irae*», «*sine die*», «*ceterum censeo*», «*horribile dictu*», «*patres conscripti*», «*magnum arcanum*» и т. п. Он вставляет латинские выражения и там, где есть вполне заменяющие их русские: «Интернационалка впервые организовалась *sub auspiciis* польского дела», «Билль принят палатой общин *nemine contradicente*» и т. п.

Щедрин дал ряд блестящих пародий на «фразистый» стиль Каткова. Здесь пародируется, в частности, и употребление им кстати и некстати латинских цитат³⁹. Этим и объясняется обилие в «Верном Трезоре» латинских выражений, столь, казалось бы, мало уместных в применении к псу и особенно в его речи:

«С утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливаются! *Caveant consules!*» (XVI, стр. 158); «Трезорка... не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: *mea culpa! mea maxima culpa!*» (XVI, стр. 159); «А я вот сам от себя, *motu proprio*, день и ночь маюсь, недосм, недосплю, инда осип от беспокойства» (XVI, стр. 161).

*

Та же спаянность со структурой целого художественного произведения, та же экспрессивная выразительность и изобразительность, которая на-

³⁷ А. М. Пешковск и й, Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы, сб. «*Ars poetica*», вып. I, М., 1927. Ср. также сборник: А. М. Пешковск и й, Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики М.—Л., 1930.

³⁸ См. статью Б. Я. Бухштаба «Сказка Щедрина „Верный Трезор“», «Вестник Ленингр. ун-та», 1951, № 3, стр. 48—49. Цитаты из Салтыкова-Щедрина приводятся по «Полному собранию сочинений» М. Е. Салтыкова-Щедрина (М., Гослитиздат, 1933—1941).

³⁹ Ср. отрывок из ранней пародии Щедрина на стиль Каткова (из цикла «Наша общественная жизнь» 1863 г.): «Г. Катков: ...Тут даже не место сказать: *timeo Danaos et dona ferentes*, потому что это и не данайны совсем, а просто сотрудники «Дня», которых могут опасаться только г.г. Чичерин и Павлов. А потому я предлагаю: отвергнуть предложение г. Чичерина, формулировав этот отказ словами: *risum teneatis, amici!*» [Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собр. соч., т. VI, М., 1941, стр. 232].

блюдается в употреблении слов и выражений, свойственна и синтаксическим формам и конструкциям. Пояснить эту мысль можно примерами.

У Блока в «Стихах о прекрасной даме» нет имени существительного, которое определялось бы словами *странных* и *новых*, в таких строках:

Странных и новых ищу на страницах
Старых испыганных книг⁴⁰.

Сочетание слов *странных* и *новых* является здесь субстантивным новообразованием, новым составным именовани-ем. Или другой прием — «назвать не называя».

Задыхалась тоска, занималась душа,
Распахнул я окно, трепеща и дрожа,
И не помню, откуда дохнула в лицо,
Запевая, сгорая, взошла на крыльцо⁴¹.

Эти синтаксические приемы, служащие для создания атмосферы таинственной неопределенности, типичны для антиреалистического стиля символистов.

Другой и более интересной иллюстрацией художественных функций синтаксических форм может служить полемика, возникшая вокруг таких пушкинских стихов из «Бориса Годунова»:

Встань, бедный самозванец,
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как *девочки* доверчивой и слабой
Тщеславное мне сердце умилишь?

Эти стихи одинаково читаются во всех списках трагедии и в издании 1831 года. Но в академическое издание сочинений А. С. Пушкина⁴² проф. Г. О. Винокуром, воспринявшим *девочки* как форму дательного падежа единственного числа, внесено исправление:

...Как *девочке* доверчивой и слабой...

Г. О. Винокур объяснял это так: «... Пушкин мог написать „дево-чки“ и в значении дательного падежа, но такое написание создает затруднения для понимания этого места, и нам показалось возможным в данном случае им не дорожить, оговорив допущенное исправление в комментарии»⁴³.

Проф. Б. П. Городецкий в рецензии на академическое издание «Бориса Годунова» справедливо признал мотивировку Г. О. Винокура «пе-убедительной». «Дело не в том, — заметил Б. П. Городецкий, — что Пушкин мог написать (как думает Г. О. Винокур) форму: „девочки“ в значении дательного падежа. У Пушкина форма „девочки“ (т. е. форма родит. пад.) необходима по смыслу всей строфы: сердце доверчивой и слабой дево-чки и. Если бы мы попробовали изложить прозой приведенные выше пушкинские строки, то получилось бы, примерно, следующее: „Не надеешься ли ты коленопреклонением умилишь мне сердце, как умилишь ты тщеславное сердце доверчивой и слабой девочки“. Марина ведет с Дмитрием

⁴⁰ В. А. Пяст комментировал: «Это имя (новых — чего?) стучалось, просилось. Блок не назвал его, но мало того, так огогнал его, что оно вовсе исчезло из стихотворения, и не отгадывается, не внушается ничуть... Именно память воспринимающего тщето ищет: новых — чего? и не может найти...» (Вл. Пяст, Стихи о прекрасной даме, «Аполлон», 1911, № 8, стр. 71).

⁴¹ См. там же.

⁴² Пушкин, Полное собр. соч., т. VII, 1937, стр. 62.

⁴³ Там же, стр. 430.

сложную и тонкую игру и не в ее интересах открыть так просто и скоро перед ослепленным страстью Дмитрием свое действительное холодное тщеславие. Попробуем изложить прозой чтение, предлагаемое Г. О. Винокуром: „Не надеешься ли ты коленопреклоненьем умилишь мне тщеславное сердце, как доверчивой и слабой девочке“. Как видим, разница здесь есть. В первом случае (у Пушкина) тщеславная Марина... говорит с Дмитрием, искусно маскируя свое подлинное лицо. Во втором случае (у Винокура) тщеславная Марина сразу же заявляет о своем тщеславии»⁴⁴. Не подлежит сомнению, что в данном случае прав Б. П. Городецкий, а не Г. О. Винокур.

Некоторые буржуазные языковеды и литературоведы (например, Л. Шпитцер, Вейсгербер и др.) анализ художественного стиля писателя сводят к показу только индивидуальных своеобразий его словоупотребления и словосочетания. С этими индивидуальными приметами художественного выражения они прямо и непосредственно связывают идеологию и мироощущение (или мировосприятие) художника. Но из всего предшествующего изложения очевидно, что как изучение стиля художественного произведения, так и его понимание невозможны без детального анализа всей речевой структуры целого.

В композиции целого произведения динамически развертывающееся содержание, во множестве образов отражающее многообразие действительности, раскрывается в смене и чередовании разных функционально-речевых стилей, разных форм и типов речи, в своей совокупности создающих целостный и внутренне единый «образ автора». Именно в своеобразии речевой структуры образа автора глубже и ярче всего выражается стилистическое единство целого произведения.

Насколько не дифференцированно или безразлично могли литературоведы относиться к качественным своеобразиям индивидуально-художественного стиля, показывает такой пример. Пушкинская элегия «Ненастный день потух», как известно, обрывается взволнованным противопоставлением «Но если» и глубокой эмоциональной паузой:

Никто ее любви небесной достоин.
 Не правда ль: ты одна ... ты плачешь ... Я спокоен;

 Но если

В прижизненном издании пушкинских стихотворений 1826 г. это стихотворение названо «Отрывком». В связи с этим открылась возможность гадать, не было ли у этой элегии конца⁴⁵.

В экземпляре пушкинских стихотворений издания 1829 г., принадлежавшем П. А. Ефремову, оказались вписанными такие стихи, как заключительный аккорд элегии:

Но если праведно она заклочотала,
 Но если не вотще ревнивая тоска,
 И с вероломства покрывало
 Сняла дрожащая рука ...
 Тогда прости любовь — с глаз сброшена повязка;
 Слепец прозрел, отвергни стыд и лесть,
 Взамен любви, в душе лелеет месть,
 И встаченный кивжал той повести завязка.

⁴⁴ См. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 4—5, М.—Л., 1939, стр. 531.

⁴⁵ См. М. Л. Гофман, Окончание элегии «Ненастный день потух», «Пушкинский сборник. Памяти проф. С. А. Венгерова», М.—Пг., 1922.

Невозможно эти риторические упражнения связывать с именем Пушкина. С самого начала возникает комический разрыв с предшествующими стихами:

Но если праведно она заклокотала...

Кто *она*? Раньше *она* — это образ печальной и одиноко тоскующей женщины. Теперь же — без всякой подготовки — является *она* — клокочущая ревность с отвлеченно-риторическим эпитетом *праведно*. Вся манера речи меняется: вместо прерывистой, взволнованной, простой и выразительной речи появляются риторические штампы. Показательны рифмы: повязка — развязка; не мотивировано употребление *вотще* в функции сказуемого; в высоком декламационном стиле диссонансом звучат выражения: *Взамен любви, в душе лелеет месть...*; *всточенный* кинжал.

Бросается в глаза полный отказ от драматического стиля элегии: говорит теперь не лирический герой, а посторонний декламатор — напыщенный, начиненный литературными стандартами и эмоционально-опустошенными фразеологическими штампами трескучего мнимо-романтического стиля.

Между тем М. Л. Гофман склонен был не сомневаться в принадлежности Пушкину этих стихов, хотя они, даже по его оценке, «... уступают предыдущим стихам в художественном совершенстве и художественной выразительности...»⁴⁶.

Есть глубокая, принципиальная разница в языковедческом и литературоведческом подходе к изучению стилевой структуры как характера персонажа, так и «образа автора». Лингвист отправляется от анализа словесной ткани произведения, литературовед — от общественно-психологического понимания характера.

По словам проф. Л. И. Тимофеева, «характер (как простейшая единица художественного творчества) и есть то целое, в связи с которым мы можем понять те средства, которые использованы для его создания, т. е. язык и композицию»⁴⁷. Анализ характеров будто бы уясняет все языковые и композиционные формы литературного произведения. По мнению Л. И. Тимофеева, «характер переходит в язык»; «язык есть часть характера». Языковые особенности литературного произведения «...художественно мотивированы теми характерами, которые в нем изображены»⁴⁸. Л. И. Тимофеев утверждал даже, что «поэтический язык — это прагматический язык в его особой функции — объективации образа...»⁴⁹ или характера. «Характер» в понимании Л. И. Тимофеева — внеречевая, хотя и определяющая формы речи, абстрактная социально-психологическая категория художественного мышления. Односторонность и предвзятость этой точки зрения очевидны.

Распределение света и тени при помощи выразительных речевых средств, переходы от одного стиля изложения к другому, переливы и сочетания словесных красок, характер оценок, выражаемых посредством подбора и смены слов и фраз, синтаксическое движение повествования — создают целостное представление об идейной сущности, о вкусах и внутреннем единстве творческой личности художника, определяющей стиль художест-

⁴⁶ См. М. Л. Гофман, Окончание элегии «Ненастный день потух», стр. 231.

⁴⁷ Л. И. Тимофеев, Теория литературы, М., 1945, стр. 99. Ср. Л. И. Тимофеев, Стих и проза, М., 1938.

⁴⁸ Л. И. Тимофеев, Теория литературы, стр. 126.

⁴⁹ Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения, М., 1931, стр. 18.

венного произведения и в нем находящей свое выражение. Об этих внутренних пружинах авторского стиля говорил А. А. Фадеев в статье «Труд писателя»: «Нужно воспитывать в себе умение находить такой ритм, такой словарь, такое сочетание слов, которые вызывали бы у читателя нужные эмоции, нужное настроение»⁵⁰.

В «образе автора», в его речевой структуре объединяются все качества и особенности стиля художественного произведения. Об этом есть прямые свидетельства писателей, стремящихся раскрыть свое отношение к средствам и формам словесно-художественного выражения, изображения и обобщения действительной жизни.

Ги де Мопассан характеризует как высший стиль тот, который внушает впечатление полной адекватности выражения выражаемому: «Обыкновенно под „стилем“ понимают манеру, при помощи которой каждый писатель выражает свою мысль...». Гюстав Флобер «...не представлял себе „стилей“ в виде ряда особых форм, из которых каждая носит печать автора и в которые отливаются все мысли писателя; но он верил в стиль, как в единственную, безусловную манеру выразить свою мысль во всей ее красочности и силе...Итак, стиль должен быть, так сказать, безличным и замаскировать свои качества только от качества мысли и силы зрительного восприятия».

Обуреваемый этой безусловной верой в то, что существует лишь одна манера, одно слово для выражения известной вещи, одно прилагательное для ее определения, один глагол для ее одушевления, он предавался нечеловеческой работе, чтобы найти в каждой фразе это слово, этот эпитет, этот глагол»⁵¹.

Эта декларация может дать ключ к изучению приемов построения «образа автора» в стиле произведений Флобера. Но «адекватность выражения выражаемому» в художественном творчестве всегда субъективна и индивидуальна.

Л. Толстой, боровшийся за правду и простоту языка, так писал о риторическом стиле газет и фельетонов своего времени: «Настоящее тогда, когда я пишу преимущественно для того, чтобы самому себе уяснить свою мысль, верно ли я думаю; в роде того, как изобретатель машины делает модель, чтобы узнать, не наврал ли он. В слове это так же видно, как на модели, если кто пишет для себя, для уяснения самому себе своей мысли. В этом-то и ужасная разница двух родов писания: они стоят рядом и как будто очень мало отличаются одно от другого... Два рода писания как будто похожи, а между ними бездна, прямая противоположность: один род законный, божеский, это — писанное человеком для того, чтобы самому себе уяснить свои мысли — и тут внутренний строгий судья недоволен до тех пор, пока мысли не доведены до возможной ясности, и судья этот старательно откидывает все, что может затемнить, запутать мысль, даже слова, выражения, обороты. Другой род, дьявольский, часто совершенно по внешности похожий на первый, это — писание, писанное для того, чтобы перед самим собою и перед другими затемнить, запутать истину, и тут чем больше искусства, ловкости, украшений, учености, иностранных слов, цитат, пословиц, тем лучше... Это — то писание, которое... я ненавижу всеми силами души...»⁵².

Само собой разумеется, что это заявление или самораскрытие Л. Толстого нуждается в общественно-историческом истолковании. Анализ стиля произведений Л. Толстого, относящихся к последним десятилетиям его

⁵⁰ «Лит. газета» 22II51.

⁵¹ «Литературные манифесты французских реалистов», стр. 200.

⁵² «Летописи [Гос. лит. музея]», кн. 2 — Л. Н. Толстой, М., 1938, стр. 143—144.

жизни и литературной деятельности, должен показать конкретные признаки и индивидуальные качества речевой структуры «образа автора» в языке писателя за этот период. Но очень важны указания великих художников слова на смысл и первостепенное значение этой задачи. Речевой структуре «образа автора» как центральной проблеме стилистического анализа художественного произведения необходимо посвятить отдельное исследование.

Так сложны и многообразны вопросы и задачи, связанные с пониманием, изучением и толкованием языка художественного произведения.

Я. С. ОТРЕМБСКИЙ

СЛАВЯНО-БАЛТИЙСКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ЕДИНСТВО

После появления труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», в котором подчеркивается важность изучения родства языков, перед языковедами встал с особенной остротой вопрос о взаимосвязях славянских и балтийских языков. Однако этот вопрос, несмотря на все усилия ученых, до сих пор остается нерешенным.

Раньше считали, что славянские и балтийские языки являются двумя ответвлениями от одного и того же славяно-балтийского языка, который возник в свое время как один из диалектов общеиндоевропейского языка. Но это утверждение выдвигалось в недостаточно обоснованной форме, так что данные, приводимые в пользу славяно-балтийского единства, многим языковедам не казались убедительными. Гипотезе о первоначальном славяно-балтийском единстве известный французский языковед А. Мейе противопоставил гипотезу о параллельном развитии двух языковых групп, которые не состояли в ближайшем родстве, т. е. не произошли из одного языка.

Некоторые ученые ищут компромиссного решения этого вопроса. К их числу принадлежит и выдающийся исследователь балтийских языков проф. Я. М. Эндзелин. В статье, опубликованной в 1953 г., он перечисляет много особенностей, указывающих на близкое родство славянских и балтийских языков, но не делает из этого перечисления должного вывода. Он допускает, что «...в некоторых случаях сходные факты в балтийских и славянских языках могли появиться самостоятельно и развиваться параллельно», и в конечном итоге выдвигает гипотезу, что «предки балтийских и славянских народов представляли собой самостоятельные группы племен, говоривших на очень близких диалектах»¹. Таким образом, Я. М. Эндзелин отрицает происхождение славянских и балтийских языков из одного общего языка и, по сути дела, даже не замечая этого, становится на позиции А. Мейе.

Итак, по моему мнению, и сейчас еще противостоят друг другу только две гипотезы: гипотеза о первоначальном единстве славянских и балтийских языков и гипотеза о параллельном развитии этих языков, образовавшихся из двух более или менее близких, но все же разных индоевропейских диалектов.

Расценивая обе гипотезы а priori, следует сказать, что гипотеза о параллельном развитии этих языков мало вероятна уже сама по себе. В истории индоевропейских языков нет ни одного случая, чтобы два языка, будучи разными по происхождению, вследствие одного лишь параллельного развития стали столь близкими друг другу, как языки славянские и балтийские. Очень близки языки индийские и иранские, несомненно разви-

¹ См.: Я. М. Эндзелин, Древнейшие славяно-балтийские языковые связи, «Труды [Ин-та языка и лит-ры АН Латв. ССР]», II, Рига, 1953, стр. 67—82; «Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 125.

вавшиеся параллельно, но ведь это языки, которые являются двумя формами одного общего индо-иранского языка. Повторяю еще раз: такого случая, какой предполагает А. Мейе, а вместе с ним и Я. М. Эндзелин, никто пока не нашел и, пожалуй, не найдет. Уже опираясь на это априорное соображение, я считаю необходимым вернуться к старой гипотезе о славяно-балтийском единстве. В нижеследующем я пытаюсь обосновать правильность этой гипотезы путем анализа особенно тех явлений и фактов, которые, по мнению некоторых ученых, ей противоречат².

1. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Судьба кратких и долгих гласных *a*, *o*, *ə*; \bar{a} , \bar{o}

И в славянских, и в балтийских языках индоевропейские краткие *a*, *o*, *ə* совпали в одном звуке: в славянских языках он является в виде *o*, в балтийских — в виде *a*. Первоначально между обеими группами, повидимому, не было различия: и в славянской группе здесь было *a*, как в балтийской. Лишь впоследствии *a* изменилось в *o*. При этом надо помнить, что в ранний период жизни славян *o* был гласным открытым; это видно из передачи славянских слов греками и греческих слов славянами: ст.-слав. *slověne*: Σλαβῆνοι; *korabl'*: καρῶνι(о)ν; ст.-слав. *korabl'*.

Что касается славянского *o* из *a*, то оно получилось на основании общей славянской тенденции к превращению кратких гласных в звуки более узкие (и более краткие). Этой именно тенденцией объясняется и изменение гласных *i*, *u* в *ь*, *ѣ*.

Тенденция к более узкому произношению кратких гласных осуществилась в конце слова, повидимому, сильнее, чем в других положениях, вследствие чего из *o* в конечных слогах получается в известных условиях *ѣ*: им. и вин. падежи ед. числа муж. рода *volkѣ* (русск. *волк*) из **vilko-s*, **vilko-m*.

Многие ученые полагают, что индоевропейские гласные \bar{a} и \bar{o} в славянской языковой группе всегда совпадают в одном *a*. Но это неверно. В начале и середине слова гласные \bar{a} и \bar{o} дали действительно одно *a*. Но в конечных слогах судьба \bar{a} и \bar{o} была, несомненно, различна. В то время как конечное \bar{a} является в виде *a* (ср. им. падеж ед. числа *žena*), первоначальное \bar{o} изменялось в двух направлениях: в односложных формах, как в середине слова, т. е. в *a*, но в многосложных в $\bar{u} > y$. На то, что из \bar{o} получалось *-y*, указывают прежде всего формы им. падежа ед. числа вроде ст.-слав. *kamy* из **kamō(n)*; ср. лит. *akmiō* из **aktmō(n)*.

Окончание *-y* из \bar{o} свойственно было, по всей вероятности, и формам твор. падежа ед. числа в склонении основ на *-o-*: **plody* из **plodō*; ср.

лит. *vaikū* из **vaikūo*, **vaikō*. Но так как эта форма в известную эпоху ничем не отличалась от соответствующей формы множественного числа (ср. твор. падеж мн. числа *plody*), то она была заменена вторичной формой на *-omь* (**plodo-* — **plodomi*), образованной по образцу формы твор. падежа ед. числа в склонении основ на *-u-* (**sūnu-* — **sūnumi*).

Форма 1-го лица ед. числа наст. времени также, повидимому, некогда

² Библиографию, относящуюся к вопросу о взаимосвязях славянских и балтийских языков, можно найти в статьях и книгах: A. Senn, On the degree of kinship between Slavic and Baltic, «Slavonic and East European Review», 20, 1941; е р о ж е, Die Beziehungen des Baltischen zum Slavischen und Germanischen, «Zeitschrift für vergl. Sprachforschung», 71, 1954; E. Fraenkel, Die baltischen Sprachen Heidelberg, 1950. Библиографию по частным вопросам славяно-балтийского языкознания] дает Я. Эндзелин (J. Endzeliņš, Latviešu valodas gramatika, Rīga 1951).

обладала окончанием *-y* из *-ō*: **nesy* из **nesō*, лит. *nešù* из **nešō* при греч. φέρω. Историческая форма на *-o* (ст.-слав. *neso*), до сих пор, с точки зрения ее происхождения, не выясненная, является формой им. падежа ед. числа причастий наст. времени, притом формой среднего рода. Дело в том, что в славянской языковой группе наряду с предложениями, в которых сказуемое было выражено личной формой глагола, употреблялись предложения, в которых сказуемое имело форму причастного оборота: *jazъ *nesy* «я несу» или *jazъ (estъ) nesy* (муж. род). Неудобство здесь состояло в том, что *nesy* было и личной формой глагола, и причастной формой муж. рода. Однако в известную эпоху славяне перестали различать мужской и средний род в склонении причастий, вследствие чего стало возможным вместо формы мужского рода *nesy* употреблять форму среднего рода **neso* и наоборот. Эту форму **neso* начали включать и в причастные обороты с мужским родом. С течением времени двойное окончание формы причастия *nes-y* и **nes-o* было перенесено и на личную глагольную форму: вместо *jazъ *nes-y* стали говорить также *jazъ *nes-o*. Это было, конечно, большим неудобством, которое не могло просуществовать долго. В качестве личной обобщена была окончательно форма на *-o*: *neso*, а в качестве причастной возобладала, по крайней мере в старославянском языке, распространившаяся на оба рода, мужской и средний, форма на *-y*: ст.-слав. *nesy*.

Такие формы им. и вин. падежей двойств. числа, как ст.-слав. *ploda*, *roda*, не опровергают нашего положения, что первоначальное индоевропейское *-ō* в многосложных формах изменилось в *-y*. Закономерно первоначальное окончание *-ō* изменилось в *-a* только в односложных местоименных формах: *ta*, *ja-že*. Отсюда оно распространилось и на многосложные местоименные формы, затем на числительные (*dъva*, *oba* и т. д.), прилагательные и, наконец, на существительные. Окончание *-a* в формах им. и вин. падежей двойств. числа было более пригодно, чем *-y*, так как оно находилось в полном соответствии с окончаниями *-ī* (*-i*), *-ū* (*-y*) в склонении основ на *-i-* и *-u-* (ср. старославянские формы им. и вин. падежей двойств. числа *gosti*, *syny*). Ведь обычным было чередование *o:ā*, но не *o:y*.

Из предыдущего видно, что в древнейшую славянскую эпоху унаследованный от индоевропейской эпохи гласный *ō* различался еще по положению, в зависимости от того, находился ли он в конце слова или нет. Следовательно, в эту эпоху *ō* не совпало еще с унаследованным *ā*. Об этом свидетельствуют и факты литовского языка, где индоевропейскому *ā* соответствует обычно *o* (*ō*), а индоевропейскому *ō* — дифтонг *uo*. Лишь в некоторых диалектах *ā* и *ō* имеют одно и то же соответствие (*stōti* и *dōti*), что является, несомненно, результатом более позднего развития. Небезинтересно и то, что изменение *ō* в славянской языковой группе в конечных слогах многосложных слов в *ū > y* до некоторой степени напоминает изменение *ō* в *uo* в литовском и латышском языках.

Итак, в начальный период своего развития славянская и балтийская языковые группы не отличались еще друг от друга в отношении судьбы индоевропейских кратких гласных *a*, *o*, *ə* и долгих гласных *a*, *ō*: краткие гласные представлены были в обеих группах одним кратким *a*, долгие же гласные еще различались.

Индоевропейские звуки *r*, *l*, *m*, *n*

Индоевропейскому языку свойственны были звуки, называемые, по всей вероятности не точно, слоговыми *l*, *r*, *m*, *n* и обозначаемые в транскрипции *l̥*, *r̥*, *m̥*, *n̥*. И в славянских, и балтийских языках соответствием

этих звуков являются обычно сочетания *il, ir, im, in*, но иногда также *ul, ur, um, un*:

ст.-слав. *mlъzq* из **mlъzq* (инф. *mlěsti* из **melz-ti*): лит. *milžti* «дойти» [3-е лицо наст. времени *mélž(i)a*];

ст.-слав. *vlъkъ*, русск. *волк*, польск. *wilk* из **vlkъ*: лит. *vilkas*; ср. санскр. *vṛka-h*;

русск. *толстый*, польск. *tlusty* из **tolstъ*: лит. *tuļžti*, 3-е лицо прош. времени *tuļžo* «набухать, делаться мягким, гнилым»;

русск. *сердце*, польск. (диалектн.) *sierce* из **sirdьce*: лит. *sirdis* «сердце»;

русск. *верба*, польск. *wierzba* из **vъrba*: лит. *vilbas* «розга»;

русск. *горсть*, польск. *garść* из **gъrstъ*: латыш. *gurste*;

ст.-слав. *jeŭi*, польск. *jać* из **ъmti*: лит. *iūti* «брат»;

ст.-слав. *dъmъq*, *dъti* из **dъmti*: лит. *dūmti*, 3-е лицо наст. времени *dūmia* «дуть»;

ст.-слав. *тънъq*, *тънѣti*, *pa-mѣтъ*, др.-русск. *мню*, *мнѣти*, русск. *по-мню*, *помнить*: лит. *mīnli*, 3-е лицо наст. времени *mēna* «помнить; называть», *minėti*, 3-е лицо наст. времени *mīni* «вспоминать; припоминать»; *at-mintis* «память»;

др.-русск. дат. *падеж* ед. числа *мънъ*: жем. дат. *падеж* ед. числа *mīny* из **munie* или *mūneŭi* из **munie*.

По моему мнению, первоначальным индоевропейским звукам *l, r, m, n* в славянских и балтийских языках закономерно соответствуют только сочетания с гласным *i*, т. е. *il, ir, im, in* (слав. *yl, yr, ьm, ьn*). Что касается сочетаний с *u*, т. е. *ul, ur, um, un* (слав. *yl, yr, ьm, ьn*), то они нуждаются в особом толковании.

Отметим, что сочетания с *u* обычно бывают представлены в словах, корень которых уже содержал в себе звук типа *u* или *u*; так, например, корень **dum-* в слав. **dъmti* и лит. *dūmti* является результатом преобразования корня **dem-* (ср. санскр. *dhamati* «дует») под влиянием корня **dus-* в ст.-слав. *vъz-dъchnъti*, русск. *вздохнуть* из **dus-*; ср. лит. *disti* «дышать». Сочетания с *u* встречаются также в словах звукоподражательных, где употребление *u* связано с передачей определенных эмоциональных оттенков. Так следует объяснить, например, серб. *brbôtati* «клокотать», лит. *burbėti* «бормотать; клокотать, бурлить» (рядом с *birlėti* со значением между прочим и «жуужать»).

То обстоятельство, что индоевропейские слоговые звуки *l, r, m, n* и в славянской, и в балтийской языковой группе являются обычно в виде сочетаний *il, ir, im, in* (слав. *yl, yr, ьm, ьn*), служит очень важным доказательством в пользу гипотезы о первоначальном единстве этих групп. Очень важно отметить при этом и то, что в обеих группах имеются одни и те же исключения, т. е. имеются слова с сочетаниями типа *ur* (слав. *yr*).

Дифтонги *oi (ai), ei*

В славянской языковой группе индоевропейский дифтонг *oi* (и *ai*) является в середине слова в виде *ě*, в конце слова в виде *ě* или *i(ī)*: ст.-слав. *sněgъ*; прусск. *snaygis*; ст.-слав. *vidъ*: лит. *vėidas*; ст.-слав. местн. падеж ед. числа *grěsě*, им. падеж мн. числа *grěsi*. Дифтонг *ei* изменялся всегда лишь в *i(ī)*.

Судьба дифтонгов *oi (ai)* и *ei* в балтийских языках не вполне выяснена. В прусском языке *oi (ai)* и *ei* сохраняются в виде дифтонгов *ai* и *ei*: *snaygis* «снег»: готск. *snaiws*; *deiws* «бог». В литовском и латышском

языках первоначальные дифтонги *ai* и *ei* отчасти сохранились в виде *ai* и *ei*, отчасти же изменились в *ie*, причем условия изменения в *ie* остаются до сих пор не выясненными.

Важно отметить здесь то, что первоначальные дифтонги *ai* и *ei* и их вторичная разновидность *ie* встречаются иногда в словах, образованных от одного и того же корня: лит. *snaĩgė, snaĩgala, snaĩguolė* „снежинка“: *snī̃ėgas* „снег“; *đeivė* „богини“: *dī̃ėvas* „бог“; *vic-veī̃nelis* „совсем один“: *vī̃enas* „один“. Следует полагать, что балтийские дифтонги *ai* (*oi*), *ei* и развившийся из них в невыясненных до сих пор условиях восточнобалтийский дифтонг *ie* чередовались иногда в одних и тех же словах. Это чередование и было использовано для противопоставления слов производных словам основным. Для наших сопоставлений характерно то, что дифтонги *ai*, *ei* находятся как раз в словах производных.

Изменение дифтонгов *ai* (*oi*) и *ei* в *ie* в литовском и латышском языках, хотя и ограниченное какими-то не до конца ясными условиями, все же напоминает соответственные славянские процессы изменения *oi* (*ai*) > *ě, i* (в конце слова) и *ei* > *i*. Поэтому не будет невероятным, если скажем, что индоевропейские дифтонги *oi* (*ai*) и *ei*, сохранившиеся еще в самый ранний период развития славянской и балтийской языковых групп, позднее, во всяком случае после распада балтийской группы, стали изменяться в восточнобалтийской и славянской языковых группах в сходном направлении. При этом в восточнобалтийской группе дифтонги *oi* (*ai*), *ei* изменялись только при наличии известных условий, в славянской же группе изменение охватило эти дифтонги во всех положениях.

Дифтонг *eu*

Индоевропейский дифтонг *eu* в самый начальный период жизни славян и балтов, повидимому, еще сохранялся без изменения.

В славянской языковой группе дифтонг *eu* в связи с очень ранней палатализацией согласных в положении перед гласными переднего ряда дал сочетание *iau*, которое впоследствии изменилось в *'u*: **beudō* (ср. греч. $\tau\epsilon\upsilon\delta\omicron\rho\alpha\iota$) > **biaudō* > ст.-слав. *bl'udŕ*.

Тот же унаследованный дифтонг *eu* в эпоху совместной жизни балтов удерживался, по всей вероятности, еще без изменения. На это указывают факты прусского языка, как, например, *peuse* („*linus silvestris*“ Voc. 597 и др.). Мало вероятно обычно предположение, что в прусском языке индоевропейский дифтонг *eu* изменился сначала в *iau*, а потом, по крайней мере диалектно, обратно в *eu*.

Изменение дифтонга *eu* в балтийской языковой группе относится, таким образом, лишь к эпохе после ее распада.

В языке, на котором говорили предки литовцев и латышей, дифтонг *eu* дал *ai*, как и в языке славян, но с предшествующим им твердым согласным: *daũžti* (3-е лицо наст. времени *daũžia*) „ударять, разбивать“ и т. д. Твердость согласного, предшествующего дифтонгу *ai* из *eu*, объясняется тем, что в эпоху этого изменения согласные в положении перед гласными переднего ряда оставались еще твердыми.

В литовском и латышском языках *iau* получалось обычно из вторичного дифтонга *eu, ei*, как, например, в *vedžiaũ* из **vede-u* (3-е лицо прош. времени *vėdė*). Возникновение сочетания *iau* из вторичного дифтонга *eu, ei* было возможно в восточнобалтийской языковой группе только потому, что здесь, так же как в славянской, твердые согласные в положении перед гласными переднего ряда впоследствии стали мягкими.

Развитие индоевропейского дифтонга *ei* в славянской и балтийской языковых группах, правда, не может быть использовано ни в пользу, ни против гипотезы об их первоначальном единстве, но все же свидетельствует о параллелизме в развитии восточнобалтийских и славянских языков³.

Судьба *s*

Как известно, индоевропейское *s* в положении после гласных *i*, *u* и после согласных *r*, *k* является в индо-иранских языках в виде *š*. В тех же условиях вместо унаследованного *s* в славянской языковой группе наблюдается *ch*. Что касается балтийских языков, то в прусском и латышском индоевропейскому *s* соответствует в указанных положениях *s*, тогда как в литовском наряду с *s* в довольно многих случаях имеется и *š*.

Надо полагать, что во всех упомянутых языках, не только в индо-иранских, индоевропейское *s* в положении после *i*, *u*, *r*, *k* изменялось именно в шипящий *š*. В славянской языковой группе это вторичное *š* превратилось впоследствии в *ch*. В балтийских языках вторичное *š* изменилось обратно в *s*: в прусском и латышском во всех случаях, в литовском же с некоторыми ограничениями.

Судьбу *s* в литовском языке так же, как я, представлял себе уже Педерсен⁴, но он не определил «ограничения», представленные в реализации процесса изменения *s*.

По моему мнению, литовское вторичное *š* (из индоевропейского *s*) сохранилось закономерно только в положении после *r* и *k*: *viršūs* «верх»: ст.-слав. *vъrchъ*, русск. *верх* рядом с санскр. *varṣiṣtha-h* «самый высокий, самый верхний, самый большой», *āukṣtas* «высокий» рядом с лат. *augustus*; *aīkṣtas* «узкий» рядом с лат. *angustus* и т. д. В остальных случаях, т. е. после гласных *i*, *u*, согласный *š* из *s* снова изменялся в *s*: *lysė* «грядя», *sausas* «сухой», род. падеж мн. числа *jūsu* «вас» и т. д.

В литовском языке имеются, однако, и слова с *s*, вместо ожидаемого после *r*, *k* согласного *š*, и слова с *š*, вместо ожидаемого между гласными *s*:

gařsas «звук, звон», *vieversỹs* «жаворонок», *dũksėtis* «уповать, надеяться, доверять» (у Даукши, Post. 81₁₁, 16₂₆), *auksas* «золото» и т. д.; *maĩřsas* «мех» и *maĩřa* «большой сетевидный мешок для сена» рядом с ст.-слав. *měchъ*, русск. *мех*; *rieřutas* и *rieřutỹs* «орех», русск. *орех*; *jũřė* «похлебка»; *kermuřė* рядом с русск. *черемуха*, польск. *trzemcha* и т. д.

Эти и им подобные «исключения» нуждаются, конечно, в объяснении. Слово *gařsas*, каково бы ни было его происхождение (его возводят обычно к **gard-sas*: *girdėi* «слышать») ассоциировалось с *baĩřsas* «голос» и уже потому могло сохранить *s*. Слово *vieversỹs* является так называемым звукоподражательным образованием **vie-ver-sys* (с удвоением): оно обладает суффиксом с согласным *s* того же происхождения, что, например, и в глаголе *kvaksėti* (= *kvak-s-ėti*), 3-е лицо наст. времени *kvaksĩ* «подавать голос (о курице, куропатке)»; *papsėti* (*pap-s-ėti*), 3-е лицо наст. времени *papsĩ* «ворчать от неудовольствия» и т. д.; будучи литовским новообразованием, *vieversỹs* не является подходящим примером; глагол *dũksėti* (*dũksėtis*) содержит в себе элементы глаголов *dũsėti*, *dũsi*, *dũsėjo* (*at-si-*

³ Подробнее о развитии индоевропейского дифтонга *ei* в славянской и балтийской языковых группах я писал в «Lingua Posnaniensis», IV, (1953), стр. 308—312.

⁴ См Н. Pedersen, Das indogermanische *s* im Slavischen, «Indogermanische Forschungen», Bd. V, 1895, стр. 83 и сл.

dūsėti «вздохнуть») и *dvōkti*, *dvōkia*, *dvōkė* «вонять, издавать дурной запах». В слове *áuksas* содержится позднее вторичное *k*, ср. лат. *aurum* из **ausom*. Некоторые слова с сочетаниями *rs*, *ks* распространились в литературном языке из тех переходных некогда существовавших литовско-латышских диалектов, в которых обратный переход \check{s} (из *s*) в *s* происходил во всех случаях, следовательно и после *r*, *k*.

Прежде чем перейти к рассмотрению литовских слов с \check{s} из *s* после *t*, *u*, необходимо сделать одно замечание общего характера. Процесс превращения \check{s} в *s* охватил в прусском и латышском языках не только \check{s} из *s*, но и \check{s} из индоевропейского *k'*; в этих языках оба \check{s} , из *s* и из *k'*, были тогда, повидимому, одним и тем же звуком — твердым \check{s} . В литовском языке \check{s} из *k'* сохранилось и не перешло в *s*, так как в эпоху превращения вторичного \check{s} в *s* оно было, по всей вероятности, еще мягким \check{s} , следовательно, отличалось от твердого \check{s} из *s*. Принимая это во внимание, позволительно полагать, что не могло перейти в *s* и то мягкое \check{s} , которое получилось из сочетания \check{s} (из *s*) + *i* («йот»). Такое \check{s} отвердело лишь позднее, одновременно с \check{s} из индоевропейского *k'*. Но тогда процесс $\check{s} > s$ уже перестал действовать.

Слово *jūšė* восходит, несомненно, к прежней форме **iāš-iā/(i)e-*, согласный \check{s} которой произошел из *s* в положении после *ū*; ср. санскр. *yūṣ*; польск. *jucha*. Итак, *jūšė* имело некогда сочетание *šj*, из которого получилось \check{s} мягкое, не подвергающееся дальнейшему переходу в *s*. Словом с основой на *-iā/(i)e-* является и *kermušė* из **kermus-iā/(i)e-*. Прилагательное *vėtušas* могло получить \check{s} из субстантивированной формы *vetušis*, жен. род *-ė* «очень старый человек», образованной при помощи суффикса *-io*, жен. род *-iā/(i)e-*.

В некоторых словах конечный слог *-šas* по тем или другим причинам отождествился, быть может, с суффиксом *-šo-* из *-k'o-*. Впрочем, я не исключаю также возможности, что такое слово, как, например, *māšas*, обладало первоначально основой на *-iō-*.

Я. М. Эндзелин полагает, что переходу в \check{s} подверглось *s* в положении между *i* и *k*. Это предположение мне кажется мало вероятным так как имеется ряд слов, в которых *s*, несмотря на положение между *i* и *k*, не претерпело никакого изменения: мн. число *plėiskanos, -ų* «перхоть», мн. число *plėiskės, -ių* «мужская конопля», *tvīškėti* «сверкать» и т. д.

Сочетание *šk* возможно объяснить иначе, чем это делает Я. М. Эндзелин: по моему мнению, оно произошло из сочетания *ski*. Предполагаемый здесь переход *sk'i > šk' > šk > šk* совершился, как известно, и в латышском языке. Глагол *iēškōti* «искать» получил сочетание *-šk-* сначала в прежних формах настоящего времени **eiskīō*: ст.-слав. *ištq* (и *ishq*), русск. *ищу*, ст.-польск. *iszczę* и т. д. Прилагательное *aiškus* «ясный» получило *šk* под влиянием формы жен. рода с основой на *-iā-* (**aishia-*): им. падеж ед. числа *aiški*, род. падеж *aiškios* и т. д., а также наречия *aiškiai*. На то, что в этом слове согласный *s* не превращался по правилу Я. М. Эндзелина в \check{s} , указывает сохранившееся в отдельных диалектах наречие *ýškiai*, литер. *tikrai* «верно». Относительно прилагательных на *-išhas*, как, например, *vūrišhas* «мужской», *mōteriškas* «женский», следует сказать, что сочетание *šk*, вместо ожидаемого *sk*, получилось в них под влиянием субстантивированных форм *vūriškis* «мужчина», *moteriškė* «женщина, замужня женщина», где имелось сочетание *ski > šk'*.

Переход *sk' > šk' > šk* знает и славянская языковая группа. Доказательством могут служить, между прочим, следующие факты из польского языка, особенно из старопольского: *szkarupa* или *szhartupa* «скорлупа», вариант слова *szczerzupa*; в русск. диалектн. *шкорлупа* сохраняет след

сочетания *šk-*: оно возникло, повидимому, путем преобразования слова *шкарлуна* под влиянием *скорлуна*; по происхождению — это образование, возникшее из повторения двух слов с одним и тем же значением: **skēr-* (ср. польск. *shóra*) и **lupa* (ср. польск. *łupina*); *szkudła* «гонт»: *szczudła* (мн. число) «костили, ходули»; *szkalować*, ст.-польск. *szkalic* «хулить» от того же корня, что русск. *скало-* (зуб) и (зубо)-*скал*; корень **skěl-*: **shōl-*, содержащийся в этих словах, тот же, что и в русск. *цель*.

Вопрос об условиях возникновения в славянской языковой группе сочетания *šk* из палатального сочетания *šk'* должен быть рассмотрен особо.

Итак, мы пришли к выводу, что индоевропейский согласный *s* превращался в литовском языке и вообще в балтийской языковой группе в соответствующий шипящий *š* в тех же условиях, в которых он в славянской языковой группе через промежуточную стадию *ch*, а в индоиранской — *ś*, т. е. в положении после *i*, *u*, *r*, *k*. Полученный таким образом шипящий *š* изменялся обратно в свистящий *s* в прусском и латышском языках, в литовском же только в положении после *i*, *u*, в то время как в положении после *r*, *k* он сохранялся.

Эта гипотеза вероятнее, чем господствующая в настоящее время, также по общим соображениям: она допускает переход индоевропейского *s* в *š* во всех индоиранских, славянских (здесь впоследствии в *ch*) и балтийских языках, не делая никаких исключений. Обратный переход вторичного *š* в *s* рассматривается иначе: он был возможен в литовском языке только в ограниченных условиях (т. е. после *i*, *u*), так как происходил уже в эпоху самостоятельной жизни этого языка.

Таким образом, мы устраняем важнейший аргумент, которым пользовался Я. М. Эндзелин для обоснования гипотезы, что «предки балтийских и славянских народов представляли собой самостоятельные группы племен, говоривших на очень близких диалектах»⁵. Как раз наоборот, судьба индоевропейского *s* в литовском языке особенно сильно подкрепляет гипотезу о первоначальном славяно-балтийском единстве. Сохранившийся в литовском языке после *r*, *k* шипящий *š* из индоевропейского *s* косвенно указывает, что в этот звук перешел индоевропейский свистящий *s* во всей балтийской языковой группе, так же как и в славянской. Но в дальнейшем, после разъединения балтов и славян, развитие вторичного *š* было в их языках различным: в балтийских языках *š* совершило обратный переход в *s*, в славянской языковой группе в *ch*.

Индоевропейские согласные *k'*, *g*, *gh*

Индоевропейским заднеязычным мягким согласным *k̑* и *g̑*, *gh* соответствуют в литовском языке *š* и *ž*, тогда как в латышском и прусском им соответствуют *s* и *z*:

лит. *dēsimi*; латыш. *desmit*, прусск. *dessimpts* «десять» рядом с ст.-слав. *desęty*; санскр. *daśa*, греч. *δέκα*, лат. *decem*; лит. *žinoti*; латыш. *zināt*, прусск. *sinnat* «знать» рядом с ст.-слав. *znati*; санскр. *jānati* «знает», авест. *paīti. zānata*; лат. *(g)nōscit*.

Не подлежит никакому сомнению, что в общебалтийском языке индоевропейские согласные *k'* и *g*, *gh* являлись в виде шипящих мягких *š* и *ž*. В литовском языке эти согласные лишь отвердели; в латышском и прусском отвердевшие согласные *š* и *ž* изменились впоследствии в свистящие *s* и *z*.

⁵ См. «Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 125.

В славянских языках индоевропейским согласным *k'* и *g, gh* соответствуют *s* и *z*; это видно уже из приведенных выше примеров. Вследствие общей чрезвычайной близости славянских языков к балтийским весьма вероятной является гипотеза, что и славянские согласные *s* и *z*, подобно свистящим согласным в прусском и латышском языках, получились из индоевропейских *k'* и *g, gh* лишь через посредство шипящих *š* и *ž*.

Изменение общепалтийских шипящих согласных *š* и *ž* в прусские и латышские свистящие *s* и *z* совершилось уже после распада балтийской группы и находится, быть может, в связи с северным русским цоканьем. Что касается перехода шипящих *š* и *ž* в свистящие *s* и *z* в славянской языковой группе, то оно напоминает подобное явление в иранских языках, где именно индоевропейским согласным *k'* и *g, gh* соответствуют *s* и *z*; ср. авест. *dasa* «десять» рядом с санскр. *daśa* и приведенное выше *-zānata* рядом с санскр. *janati*. Возможно ли здесь говорить о территориальном ирано-славянском явлении?

Весьма интересно то, что в литовском языке, где происшедшие из *k'* и *g, gh* шипящие *š* и *ž* сохранились, сочетание *si* превратилось в свистящий мягкий согласный *š*: *siūti* «шить» из **siūti*. Между тем в языках прусском и латышском, с одной стороны, и в славянских, с другой, в которых индоевропейским согласным *k'* и *g, gh* соответствуют свистящие *s* и *z*, сочетание *si* изменилось в шипящий согласный *š* > *š*: прусск. *schuwikis* «сапожник», латыш. *šūt* = лит. *siūti*; ст.-слав. *šiti* из **šyti* < **siūti*. Итак, существование *š* (и *ž*) в литовском языке воспрепятствовало появлению нового *š* из *si*. Наоборот, в прусском, латышском и славянских языках, где вторичные *š* и *ž* уже превратились в *s* и *z*, не было препятствия для процесса *si* > *š*. Здесь следует подчеркнуть особо тот факт, что сочетание *si* изменилось в *š* не только в прусском и латышском языках, но и в славянской языковой группе.

Случается, что индоевропейские согласные *k'* и *g, gh* имеют в балтийских и славянских языках разные соответствия: лит. *klausyti* и латыш. *klāusīt* «слушать», прусск. *klausiton* «erhören»: ст.-слав. *slyšati*; слав. **gōsь* (польск. *gęś*, русск. *гусь* и т. д.): лит. *žąsis* «гусь». Но такие противоречивые данные не могут служить аргументом в споре о взаимосвязях обеих языковых групп. Подобно приведенным примерам имелись и другие слова, которые существовали первоначально, повидимому, в двух разновидностях, с заднеязычным согласным твердым или мягким; только с течением времени в отдельных языках одна из этих двух разновидностей была обобщена. Относительно употребления слова со значением «гусь» я позволю себе представить следующую гипотезу. Обычна была и в славянских языках форма **g(h)ansi-*, с мягким заднеязычным; но рядом с ней употреблялась увеличительная форма **g(h)ansi-*, с твердым заднеязычным, вероятно для обозначения гуся-самца. С течением времени осталась лишь форма с заднеязычным твердым согласным. При этом не следует забывать, что слав. **gōsь* (обычно женского рода) в русском языке является словом мужского рода. Гипотеза о германском происхождении слова **gōsь*, во всяком случае, не заслуживает доверия.

Судьба индоевропейского *kh*

Многие ученые придерживаются мнения, высказанного впервые, кажется, Педерсеном, что индоевропейскому придыхательному *kh* соответствует в славянских языках *ch(x)*, в то время как в балтийских — *k*.

Это двоякое отражение первоначального *kh* считается одним из главных различий между обеими группами языков, несмотря на то что достоверные данные для установления этого различия, в сущности, отсутствуют. В славянских языках — так же, как и в балтийских, — придыхательные согласные совпали с непридыхательными. Почему же придыхательное *kh* должно в этом отношении составлять исключение?

Но самое важное то, что гипотеза о переходе индоевропейского *kh* в славянское *ch* зиждется на очень сомнительных сопоставлениях. Главным примером, который свидетельствует будто бы об этом переходе, является наличие *ch* в слове *socha*: русск. *соха* и т. д. Это слово сопоставляется с лит. *šakà* «ветвь» и с санскр. *śakha* «ветвь», где, повидимому, сохранилось первоначальное *kh*. Нет оснований сомневаться в том, что это сопоставление правильно, но соответствие *k* (*śakà*): *ch* (*socha*) должно быть объяснено иначе.

Прежде всего, обратим внимание на то, что в литовском языке от того же корня, что *šakà*, образованы: *šaknis*, *-iēs* «корень» и прилагательное *šakañnis* «ветвистый» (ср. название реки *Šakárnė* и название местности *Šakañniai* в уезде Биржай), которому в латышском языке соответствует *sakarñis* «опрокинутый пенёк дерева». Однако значением «соха» обладает в литовском языке слово не от корня **šak-*, а от **žag-*: *žagrė*. В родстве с этим словом состоит употребляемое обычно во множественном числе слово *žagaraĩ* «хворост».

Полагаю, что **šak-* в *šakà*, *šaknis*, *šakañnis* и **žag-* в *žagrė*, *žagaraĩ* — это две разновидности одного и того же корня, одна из которых (**šak-*) имеет глухие, другая же (**žag-*) звонкие согласные. Чередование глухих и звонких согласных — обычное явление в литовском и вообще в балтийских языках (равно как и в славянских). Это чередование наблюдается главным образом в глаголах, но также и в других частях речи, существительных и прилагательных. Приведу здесь несколько примеров из литовского языка: *purkūoti* «ворчать (о коте)»: *burhūoti* «ворчать (о кошке)»; *virpėti*, *virpa*, *virpėjo* «дрожать, трястись»: *virbėti* «дрожать, шевелиться»; *keĩpti*, *keĩpsta*, *keĩpo* «дохнуть»: *geĩbti* «хворать»; *klebỹs* «объятие; охалка»: *glebỹs* с тем же значением.

Как видим, чередование глухих и звонких согласных представлено как в начале, так и в конце слова, или же в обоих положениях. Кроме того, следует иметь в виду, что количество примеров на данное явление может быть еще сильно увеличено.

Итак, лит. *žagrė* мы вправе считать звонкой разновидностью слова *šakà*. Слова с звонкими согласными отличаются от слов с глухими согласными по большей части и в отношении значения: они обладают именно увеличительным или пренебрежительным оттенком значения. Таким же образом отличаются друг от друга слова *žagrė* и *šakà*.

Основываясь на этом наблюдении, можно допустить, что славянское слово *socha* является не точным фонетическим соответствием литовского *šakà*, а его разновидностью. Какой — на это указывает лит. *žagrė*. Так как в *socha* начальное *s-* точно соответствует литовскому *š-* в *šakà*, то изменению в звонкий мог подвергнуться только второй согласный, т. е. *k*. Следовательно, слово *socha* надо возвести к более древней форме **soga*.

Чередование глухих и звонких согласных в славянских языках общеизвестно. Здесь достаточно будет напомнить некоторые примеры из польского языка: *rasnąć*: *basnąć*: «упасть»; *raprać*: *babrać* «пачкать»; *pryskać*: *brzyzgać* «брызгать» и т. д.; рядом с прилагательным *wiel(i)ki* «великий» имеется уже с XIV столетия *wiel(i)gi*. Во всех этих сопоставлениях слова со звон-

кими согласными обладают увеличительным оттенком значения. В связи с этим явлением возникновение формы **soga* из **soka* (=лит. *žakà*) вполне возможно; ср. прусск. *sagnis* «корень» (Voc. 629).

В истории отдельных славянских языков согласный *g* не отличается устойчивостью: в чешском и словацком, верхнелужицком и украинском он превращается, как известно, в звонкий спирант *h*. Однако согласный *g* не был устойчив, повидимому, уже в эпоху совместной жизни славян, но тогда он изменялся в спирант *h* лишь спорадически, в словах с характерным оттенком значения, прежде всего с оттенком увеличительным и пренебрежительным. Звонкий спирант *h*, возникший только в некоторых словах, не сохранился, — он с течением времени совпал, но еще в эпоху совместной жизни славян, с глухим согласным *ch* из *s*. То же самое явление наблюдается и в истории польского языка. И здесь в словах с увеличительным и пренебрежительным оттенком значения из *g* развился звонкий спирант *h*, который, однако, совпал окончательно с унаследованным, происшедшим из *s* глухим спирантом *ch*: *ganba* > *hanba* (уже в XV в.), в современном произношении *chanba*; *golota* > *hotota*, в современном произношении *chotota*; *poganin* > *pohaniec* > *pochaniec*.

Далее мы приведем некоторое количество славянских слов с *ch*, которые можно считать позднейшими формами слов с изменением *g* > *h*:

русск. *хохотать*, словенск. *hohotáti*: русск. *гоготать*, польск. *gogotać*; греч. γογγύζειν, γογγύζω «роптать», «шуметь»; словенск. *hohnjáti* «говорить в нос» из **chachnati*: др.-русск. *гуенати*, *гуенивый*, словенск. *gognjáti* «говорить в нос» из **gagnati*;

серб. *húkati*, ст.-чешск. *chuk*: русск. *гукать*, чешск. *houkati*;

польск. *charkać* «хрипеть, картавить, откашливаться», укр. *хоркати* из **charkati*: чешск. *hrkati* «грохотать, картавить» из **garkati*.

Все это сопоставления слов так называемых звукоподражательных. Но вот сопоставления другого рода:

русск. *хватать*, польск. *charać*: белорусск. *габачь*, означающее между прочим «хватать»; ср. также междометие: русск. *xan!*, польск. *char!*;

ст.-польск. *chynać* «склонить, нагнуть», *chynać się* «наклониться; броситься», русск. диалект. *хинуться* «нагнуться»: польск. диалект. *gibnać się*, русск. *с-гивать* из **gy(h)ṇati*; **gybati*; ср. еще польское междометие *chy-с* и производный от него глагол *chynać*;

чешск. *chovati*, польск. *chować*, русск. диалект. *ховать*: ст.-слав. *gověti*, русск. *говеть*;

русск. *хлопать*, словенск. *hlópati* «ударять»: чешск. диалект. *hlobit'* «ударять, ковать», польск. диалект. *głobić* «обивать (бочку) обручами; вгонять (клин)»;

польск. *cholewa*, русск. диалект. *холява* «голеньце»: ст.-слав. *golěнь*, русск. *голень*, польск. *goleń*;

польск. *pa-chole* «мальчик» и *pa-cholek* «батрак», чешск. *pa-chole* и *pa-cholek* с теми же значениями: чешск. *holec*, *holek* «молодой парень» из **golьсь*, **golькь*.

Закономерно, по моему мнению, только соответствие *k*: *g* > *h*, *ch*. Но с течением времени, когда обычным стало соответствие *k*: *ch* (из *g*, *h*), возникло новое соответствие *k*: *ch*. Таким образом, например, рядом с **ptakъ* (польск. *ptak*) появилась уменьшительная форма **ptach-ткъ*: польск. *ptaszek*, русск. *пташка*.

Из сказанного явствует, что славянское слово *socha* возможно и следует возвести к **soga* и сопоставить с литовским словом *žag-rė*, которое является звонким вариантом литовского *žakà* (санскр. *śakha*).

Коль скоро мы согласимся с этим толкованием, у нас не остается ни одного мало-мальски достоверного примера, который мог бы служить до-

казательством, что индоевропейскому придыхательному *kh* соответствует в славянских языках глухой спирант *ch*. Тем самым устраняется одно из главных предполагаемых различий между славянской и балтийской языковыми группами.

Сочетание согласных с *i*

Сочетания *li*, *ri* и *ni* дали в славянской языковой группе, как известно, мягкие *l'*, *r'*, *n'*. Так же изменились эти сочетания в литовском и латышском языках: *mĵliu* «люблю» из **mliō*; *duriū* «колю» из **duriō*; *miniū* «вспоминаю», «припоминаю» из **miniō*.

О судьбе сочетания *si* мы уже говорили выше (см. «Индоевропейские согласные *k'*, *g'*, *gh*»).

Сочетания *vi*, *mi*, *pi*, *bi*. В славянской группе сочетание *pi* дало в начале слова всюду *p'l'*: ст.-слав. *p'l'ujŕ*, русск. *плюю*, польск. *pluię*. В середине слова сочетания губных согласных с *i* изменились в различных языках разным образом. В южных и восточных языках получились такие же сочетания, как в начале слова: ст.-слав. *l'ubl'ŕ*, русск. *люблю*; в западных языках получились мягкие согласные: польск. *lubię*.

Что касается балтийских языков, то в литовском языке первоначальные сочетания *pi*, *bi* являются в начале слова в виде *pj*, *bj*: *spĵautiū* «плюю», *bĵaurūs* «отвратительный», но в середине слова в виде *p'*, *b'*: *verpiū* «пряду» из **verpiō*; *srebiū* «хлебаю» из **srebiō*. В латышском языке из сочетаний губных согласных с *i* получились в начале слова сочетания с *l*, внутри слова с *j*: *spĵaīt* рядом с лит. *spĵauti*, *bĵaĩrs* рядом с лит. *bĵaurūs*; род. падеж ед. числа *cĵrva* (: *cĵvis* «топор») рядом с лит. *kiŗvio* (: *kiŗvis*).

Ученые полагают, что латышские формы с *j* внутри слова являются новообразованиями; раньше эти формы содержали в себе *l'*. Итак, ход развития сочетаний губных согласных с *i* в балтийских языках, в основном, тот же, что и в славянских, причем особенного внимания заслуживает сходство латышского языка с русским.

Первоначальные сочетания *tiŕ*, *di* дали в восточнославянских языках, как известно, *ч*, (*ѡ*) *ж*: *свеча* из **svętiŕ*, *вожу* из **vodiŕ*. Литовский и латышский языки не отличались в этом отношении существенным образом от восточнославянских. В литовском языке сочетания *ti*, *di* изменились в *ĉ*, *dĵ*, тогда как в латышском в *š*, *ž*: лит. род. падеж ед. числа *vŕkieĉio* (: *vŕkietis* «немец»), *brĵedžio* (: *brĵedis* «лось»), латыш. *vācieša*, *brĵēža* из **vākietĵā*, **brĵediā*. Следует полагать, что сочетания *ti*, *di* изменились и в восточнославянских языках, и в литовском, и в латышском сначала в слитные согласные *ĉ*, *dĵ*. В литовском языке они сохранились, но в восточнославянских языках и в латышском они изменились впоследствии в спиранты, причем в восточнославянских языках этому изменению подверглось только *dĵ* (ср. русск. *вожу*), в латышском оба сочетания: *ĉ* > *š*, *dĵ* > *ž*. Кстати сказать, в восточнолитовских диалектах согласные *ĉ*, *dĵ* изменились в *ć*, *dź*, которые напоминают польские *c*, *dz* из *ti*, *di*.

Сочетания заднеязычных согласных *k*, *g* с *i* изменились в литовском языке в мягкие *k'*, *g'*: *lekiū* «летаю» из **lekiō*; *regiū* «вижу» из **regiō*. В латышском языке мягкие согласные *k'*, *g'*, возникшие из сочетаний *ki*, *gi*, изменились дальше в *c*, *dz*, т. е. таким же образом, как и те *k'*, *g'*, которые получились из *k*, *g* в положении перед первоначальными гласными переднего ряда: *ļęcu* из **lekiō*, *ŗęzdu* из **regiō*; *tecĵi*: лит. *tekĵi* «течь», *ŗęzĵi*: лит. *regĵi*. Условия латышского процесса *k'*, *g'* > *c*, *dz*

поразительным образом напоминают происходившую в тех же условиях славянскую палатализацию $k', g' > \acute{c}, (d) \acute{z}$, но этот вопрос мы должны здесь оставить в стороне.

Сочетания *-tt-* и *-dd-*

На границе двух морфем иногда входят в соприкосновение конечные согласные *t, d* предшествующей морфемы и начальный согласный *t* следующей морфемы. Возникающее таким образом сочетание *-tt-* изменяется в славянской и балтийской языковых группах одинаково, а именно в *st*: ст.-слав. *metq*: инф. *mesti*; *vedq*: инф. *vesti*; лит. *metù* «бросаю»: инф. *mèsti*; *vedù* «веду; женюсь»: инф. *vèsti*. Переход *tt, dt* в *st* совершается в обеих группах по правилу, которое не знает исключений.

Говоря здесь о сочетании *dd(h)*, мы имеем в виду его судьбу только в литовском и латышском языках. К сожалению, данные, которыми мы располагаем, не позволяют решить этот вопрос окончательно.

В качестве доказательства в пользу гипотезы о переходе *td, dd > zd* (соответственно переходу *tt > st*) приводятся обычно причастия на *-damas* и прошедшее время на *-davau*: лит. *mèsdamas, mèsdavau; vèsdamas, vèsdavau*; латыш. *mēzdams, vēzdams*.

Однако ценность этих примеров сомнительна, между прочим, и потому, что они не отличаются большой древностью. Притом сочетание *zd* в приведенных выше формах может быть объяснено иначе: морфемы *mes-, ves-*, которые получились сначала в положении перед *t*, с течением времени стали разновидностью морфем *met-, ved-* в положении перед взрывными согласными вообще.

Я полагаю, следовательно, что *s(z)* перед *d* в приведенных выше примерах может быть такого же аналогического происхождения, как *s* в формах литовского повелительного наклонения: 2-е лицо ед. числа *mèšk(i), vèšk(i)* рядом с инф. *mèš-ti, vèš-ti*.

Особенно убедительным мне кажется предположение об аналогическом происхождении сочетания *zd* в литовских глаголах типа *ėsdinti* «давать есть, жрать, кормить», которые также приводятся в пользу гипотезы о переходе *dd > zd*. Первоначальная, и сейчас еще употребляемая, форма этого глагола была *ėdinti = *ėd-in-ti* с суффиксом *-in-ti*. Ввиду наличия других глаголов на *-d-in-ti* с действительным суффиксом *-d-in-* (ср. *siūdinti* «заказывать платье»: *siūti* «шить»), форма *ėdinti* казалась недостаточно прозрачной и была преобразована на основании инф. *ėsti*. Преобразование *ėdinti* в *ėsdinti* было возможно, конечно, потому, что в сознании говорящих *s* являлось нормальным вариантом *t, d* в положении перед взрывными согласными, а следовательно, и перед *d*.

Сочетания *tl, dl*

Как известно, сочетания *tl, dl* сохраняются лишь в западнославянских языках, в южных же и восточных эти сочетания подвергаются упрощению в *l*:

польск. *plótt* из **plet-lъ*: ст.-слав. *pletъ*, русск. *плёл*;

польск. *wiódt* из **ved-lъ*: ст.-слав. *velъ*, русск. *вёл*;

польск. *mydło* из **my-dlo*: ст.-слав. *mylo*, русск. *мыло*.

Сочетания *tl, dl* не употребляются и в балтийских языках, но здесь представлена не утрата согласных *t, d*, а изменение их в *k, g*. Сочетания *kl, gl* вместо *tl, dl* обычны в литовском и латышском языках; в прусском языке сочетания *tl, dl* отчасти сохраняются, подобно тому как в соседних западнославянских языках:

лит. *žėnklas* «знак» из **žen-tlo-*, где *-tlo-* является вариантом славянского суффикса *-dlo-*; слово, соответствующее литовскому *žėnklas*, имелось и в прусском языке, но в форме **žentlas*, что видно из встречающегося в диалекте катехизисов производного слова *ebsenliiuns* «указанный, обозначенный»;

лит. *ėglė* «ель», латыш. *egle* рядом с прусск. *addle*; польск. *jodła*.

Если я говорю в настоящей статье о судьбе сочетаний *tl*, *dl*, то только для того, чтобы указать на общую для славянских и балтийских языков тенденцию избегать этих сочетаний. Вопрос о том, каким образом изменяются эти сочетания, является уже второстепенным.

Сочетания гласных с носовыми согласными

В славянской языковой группе тавтосиллабические сочетания гласных с носовыми согласными не сохранились; они дали носовые гласные *o* и *e*, которые в отдельных славянских языках, например в восточнославянских, превратились в гласные *u* и *'a* (т. е. *a* с предшествующим мягким согласным).

Что касается балтийских языков, то тенденция к устранению тавтосиллабических сочетаний с носовым согласным наблюдается лишь в восточной группе, причем здесь устраняются только сочетания с *n*. Однако литовский и латышский языки расходятся относительно условий, в которых происходил рассматриваемый процесс.

В литовском языке этот процесс совершался всегда в конце слова, в середине же только в положении перед *j*, *v*, *l*, *r*, *m*, *n*, *s*, *z*, *š*, *ž*; результатом этого процесса является то, что прежним сочетаниям с *n* соответствуют долгие гласные. Значительное количество примеров представляют сложения с приставкой *sa-* и формы настоящего времени с носовым инфиксом: *sajūdis* «движение, волнение; поспешность» из **san-jūdis*; 3-е лицо наст. времени *lįja* из **li-n-ja* рядом с инф. *lįti* «лить (о дожде)»; мн. число *savalkos* «сброд, толпа, чернь» из **san-valkos*; 3-е лицо наст. времени *pįva* из **pu-n-va* рядом с *pūti* «гнить» и т. д.

В латышском языке процесс устранения тавтосиллабических сочетаний с *n* был значительно шире, так как внутри слова он распространялся и на те сочетания с *n*, которые находились перед взрывными согласными. В силу этого процесса сочетания *an*, *en* превратились в дифтонги *uo*, *ie*, а сочетания *in*, *un* в долгие гласные *ī*, *ū*: *luōgs* «окно» = лит. *lāngas*, *pieci* «пять» = лит. *penkī*, *krītu* «падаю» = лит. *krinīu*, *jūtu* «чувствую» = лит. *juntū*. В конце слова дифтонги и долгие гласные, возникшие из тавтосиллабических сочетаний с *n*, сократились: *uo* и *ū* > *u*; *ie* и *ī* > *i*: виш. падеж ед. числа *rūoku* «руку» = лит. *rañka*; *alu* «пиво» = лит. *ālu*; *biti* «пчелу» = лит. *bīte*; *avi* «овцу» = лит. *āvi*.

Невыясненным до сих пор остается процесс преобразования тавтосиллабических сочетаний с *n* в восточнобалтийских языках. Я. М. Эндзелин полагает, что эти сочетания теряли *n*, в связи с чем предшествующий гласный становился долгим. Но это предположение нуждается в проверке, в особенности на основании данных старолитовских текстов.

Значительное сходство балтийских языков с славянскими в преобразовании индоевропейского наследия говорит скорее в пользу противоположной гипотезы, а именно, что тавтосиллабические сочетания с *n* в восточнобалтийских языках по направлению к неносовым гласным продвигались тем же путем, что и соответственные сочетания в славянской языковой группе, т. е. через промежуточную стадию носовых гласных.

Как бы то ни было, несомненным является то, что подобно тому как в славянских языках сочетания гласных с носовыми согласными, упро-

щаясь, превратились в носовые гласные, упрощению подверглись и восточнобалтийские сочетания с *n*, но они в конечном итоге стали неносовыми гласными. Положение вещей в жемайтских диалектах, отличное от представленного выше, нуждается в особом рассмотрении.

Сочетания *pv*, *bv*

В литовском и латышском языках согласный *v* в положении после губных взрывных *p*, *b*, как известно, исчезает: лит. *apalūs* «круглый», латыш. *apaļš* из **ap-valus*; лит. мн. число *arūniai* «хмель», латыш. *arīņi* из **ar-vyniai*;

лит. *Labardziai*, латыш. *Labārdis* (топографическое название) из **Labvard-jo*.

Потеря *v* в положении после губного *b* наблюдается и в славянских языках: слав. **obolkъ*: русск. диалект. *оболоко*, ст.-слав. *oblakъ*, польск. *obłok* и т. д. из **ob-vol-kъ*.

Примеры, обнаруживающие общую для балтийских и славянских языков тенденцию к упрощению сочетаний *pv*, *bv*, это или слова с приставками, или настоящие сложения. Так как эти слова по большей части прозрачны по своему составу, то они часто восстанавливаются в своем прежнем, неизменном виде: лит. диалект. *apalūs*: литер. *apvalūs* и т. д.

Переход *sr* > *str*

В славянских языках в сочетании *sr* появляется переходный согласный *t*; так возникает новое сочетание *str*. Тот же процесс наблюдается в прусском и латышском языках; в литовском языке *str* вместо *sr* встречается только в диалектах.

Ст.-слав. *struja*, русск. *струя*; латыш. *strauja* рядом с лит. *srauja* «быстрое течение»; ср. санскр. *sraṇati* «течет». Из славянских языков в качестве примера на *str* из *sr* приводится еще ст.-слав. *sestra*, русск. *сестра* рядом с лит. *sesuō*, *sesėrs*. В прусском языке примерами на вторичное *str* могут служить некоторые топографические названия, как, например, *Strewe*, образованное от того же корня, что ст.-слав. *struja*, и т. д. В литовских диалектах встречаются такие формы, как *str(i)ovė*: *srovė* «течение»; *strėbti*: *srėbti* «хлебать» и т. д.

Упрощение геминированных согласных

Славяне и балты превращают геминированные согласные в простые: ст.-слав. род. падеж мн. числа *nasъ*, *vasъ* из **nōs-sōn*, **vōs-sōn* (ср. прусск. *nūson*, где *ū* вторичного происхождения); ст.-слав. 1-е лицо ед. числа аор. *něsъ* из **nēs-son*; лит. 1-е лицо ед. числа будущ. времени *vėsiu* из **ves-siō*: инф. *vėsti*; 2-е лицо ед. числа повел. накл. *bėk* из *bėg-ki*: *bėg-ti* «бежать» и т. д.

Перенос ударения

Ученые, занимавшиеся вопросом о древнейших славяно-балтийских языковых связях, уже давно обратили внимание на общий для обеих групп пережитый ими процесс переноса ударения. Процесс этот состоял в том, что ударение перемещалось с предыдущего слога с кратким гласным или циркумфлексом на следующий акутированный слог:

русск. *добр*, жен. род *добрá* рядом с литовским соответствием *gėras*, жен. род *gerà* из **gerā* (ср. форму сложного склонения *geró-jì*);

русск. *рукá*, вин. падеж *рúку* рядом с лит. *rankà* из **rankã*, вин. падеж *raĩka*.

Некоторые ученые полагают, что мы имеем здесь дело не с одним общим славяно-балтийским процессом, но с двумя не зависимыми друг от друга процессами, славянским и балтийским. Такому пониманию переноса ударения на с л е д у ю щ и й акутированный слог противоречат случаи переноса ударения на п р е д ы д у щ и й акутированный слог, опять-таки наблюдаемые в языках обеих групп; ср. русск. *дым*, род. падеж *дыма*: лит. *dĩmai* рядом с санскр. *dhĩmã-h* (с первоначальным ударением на втором слогѣ).

В дальнейшем я остановлюсь на тех морфологических явлениях, которые также указывают на наличие славяно-балтийского языкового единства⁶.

⁶ Анализ морфологических явлений, указывающих на наличие славяно-балтийского языкового единства, содержится в статье Я. С. Отрембского, помещаемой в следующем номере. (Ред.)

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. М. ДЬЯКОНОВ

О ЯЗЫКАХ ДРЕВНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

I

В связи с привлекающими большое внимание научной общественности проблемами этногенеза народов Закавказья и — более широко — современного Востока существенное значение получил вопрос о связи их с народами древних восточных цивилизаций. В литературе вопрос об этой связи обычно решается положительно, как в культурно-историческом, так и в чисто лингвистическом плане¹.

В ряде учебников и в специальных этногенетических работах² можно встретить утверждение о наличии прямого родства как между самими вышеуказанными народами, так и непосредственно между их языками, т. е., с одной стороны, кавказскими или «иберийско-кавказскими» языками, с другой — теми языками народов Древнего Востока, которые не входят ни в семитскую, ни в индоевропейскую языковую семью и которые, по этому негативному признаку, объединяются под одним общим названием. Название это различно в зависимости от конкретных установок того или иного автора и от научного направления, которого он придерживается. Наиболее обычно обозначение этих языков как «азианических» (П. Кречмер), «яфетических» или «третьего этнического элемента» (Н. Я. Марр). В последнее время большое распространение приобрел термин «хеттско-иберийские» («хетто-иберийские») языки (С. Н. Джанашиа, А. С. Чикобава и др.)³.

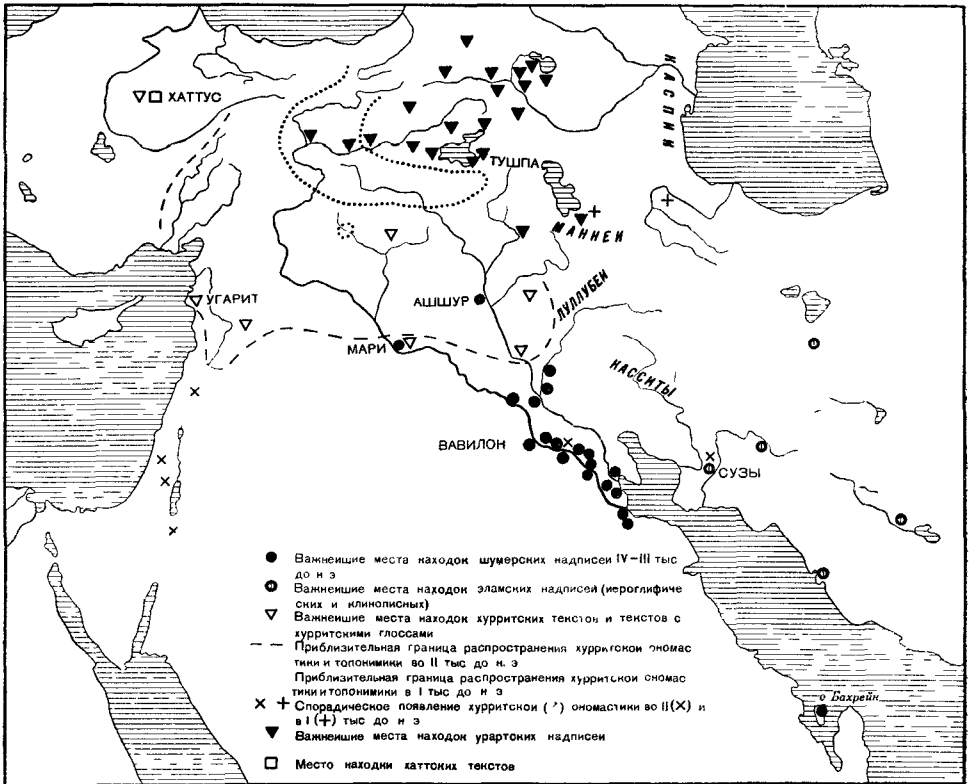
Объем последнего термина не всегда мыслится одинаково. Типичным,

¹ См. статью Е. А. Бокарева «Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков» («Вопросы языкознания», 1954, № 3), которая ставит вопрос о проверке правильности такого решения.

² См., например: С. Н. Джанашиа, Тубал-табал, тибарен, ибер, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры [Груз. филиала АН СССР]», I, Тбилиси, 1937 [на груз. языке, резюме на рус. языке]; е го же, Древнейшее национальное известие о первоначальном расселении грузин в свете истории Ближнего Востока, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры [Груз. филиала АН СССР]», V—VI, Тбилиси, 1940 [на груз. языке]; Г. А. Меликишвили, О происхождении грузинского народа, Тбилиси, 1952; е го же, Урарту. Научно-популярный очерк по истории предков грузинского народа, Тбилиси, 1951 [на груз. языке]; Г. К а п а н ц я н, Хайаса — колыбель армян, Ереван, 1947 [обл.: 1948], стр. 247 и сл.

³ Встречаются также термины «алародийские» или «каспийские» языки. (Последний термин введен Г. Хюзингом и поддержан Э. Херцфельдом.) Объем этих терминов довольно неопределенен. Нам приходилось встречать в таком обобщающем смысле даже термин «хурритские языки» (с включением в них, например, эламского, хотя между хурритским и эламским нет ничего общего). Что касается термина «хеттско-иберийские языки», то его следует признать крайне неудачным уже потому, что в громадной лингвистической литературе «хеттским» называется индоевропейский неситский язык. Если отказываться от термина «кавказские языки» на том основании, что на Кавказе имеются отдельные языки индоевропейской и тюркской семьи, то следует отказаться и от применения столь многозначного термина, как «хеттский», для обозначения

однако, следует считать подход к понятию «хеттско-иберийских языков», например, в определении термина «Иберийско-кавказские языки» в БСЭ² (статья К. В. Ломтатидзе и А. С. Чикобава): «Группа родственных самобытных языков, пережиточно сохранившихся ныне лишь на Кавказе и являющихся живыми представителями обширного круга хеттско-иберийских (или азианических) языков, не родственных ни индоевропейским, ни семитическим, ни туранским (тюрко-татарским) языкам. Хеттско-иберийские языки были распространены на



территории Передней Азии и Средиземноморья задолго до появления здесь народов, говорящих на семитических, индоевропейских и туранских языках» (разрядка моя.— И. Д.). Это определение, из которого следует отождествление «хеттско-иберийских» языков с «третьим этническим элементом» и включение в это понятие всех несемитских и неиндоевропейских языков древней Передней Азии, по существу имеется в виду и в статье БСЭ² «Грузинский язык» (А. С. Чикобава), и в ряде других работ. Оно вызывает сомнение во многих отношениях. В частности, семитские языки засвидетельствованы в Передней Азии приблизительно столь же рано, как и «азианические»⁴, а есть основание (ср., например, работы

языковой семьи, включающей в лучшем случае лишь один из «хеттских» языков. Как известно, в древневосточных текстах «хеттами» называются все вообще народы Малой Азии, а позже — также народы Сирии, Финикии и даже Палестины, в том числе — говорившие на индоевропейских и семитских языках.

⁴ Во всяком случае, с начала III тысячелетия до н. э., а семито-хамитский египетский язык известен в Средиземноморье уже и в IV тысячелетии.

В. Георгиева) предполагать столь же большую древность в районе Средиземноморья и для индоевропейских языков.

Под названием «азианических», «яфетических» или «хеттско-иберийских» языков понимается некое единство (не всегда восприимчивое как семья языков: на позднем этапе развития теории Н. Я. Марра оно считалось «языковой стадией»), включающее, с одной стороны, основные языки Кавказа и Закавказья (кроме индоевропейских и тюркомонгольских языков этого района), а с другой, упомянутые языки Древнего Востока, не входящие в семитскую и индоевропейскую семьи.

Песмотря на широкую распространенность представления о существовании такого языкового единства, нам это представление кажется не соответствующим известным до сих пор фактам. Конечно, вряд ли может подвергаться серьезному сомнению антропологическая и в не малой мере также и культурно-историческая преемственность между древними народами Передней Азии и Закавказья, с одной стороны, и, с другой, такими современными народами, как грузины, армяне и другие народы, населяющие закавказские территории (в том числе, например, и азербайджанцы). Однако вопрос о лингвистической преемственности и о лингвистическом родстве — это вопрос совершенно особый. Нам представляется, что не только безоговорочное отнесение современных кавказских языков и различных языков Древнего Востока к одной общей языковой группе на основе их предполагаемого материального родства не может в данное время считаться обоснованным, но и сами так называемые «азианические» языки Древнего Востока также вовсе не представляют единства. Последнее положение является в данном случае наиболее важным, потому что если сравниваемые с кавказскими языками языки Древнего Востока порознь не родственны между собой, то очевидно, что они не могут быть все вместе родственны какой-либо ныне существующей языковой семье.

Мы считаем, что утверждение о наличии «азианического» или «хеттско-иберийского» языкового единства основано в некоторых случаях на недостаточном знании фактов древневосточных языков, в других — во всяком случае, на недостаточно строгом подходе к языковому сравнению⁵.

Нельзя отрицать, что имеется ряд черт, общих для всех или большинства языков Древнего Востока. Сюда относятся, например, такие фонетические явления, как отсутствие долгих звуков, кроме некоторых чисто комбинаторных случаев (это характерно, повидимому, для языков шумерского, хурритского, урартского и, может быть, эламского), большее значение деления согласных звуков по степени напряженности артикуляции, чем по звонкости (хурритский, может быть, эламский, хеттский-неситский и, возможно, хаттский, в какой-то мере и шумерский), или же выделение звуков с напряженной артикуляцией в третий ряд параллельно рядом глухих и звонких согласных (так в аккадском и других семитских языках и в несколько ином виде — в урартском)⁶.

⁵ О взаимном родстве древневосточных языков весьма осторожно высказывается в последнее время, например, А. В. Десницкая [см. ее статью «Вопросы изучения древних языков Малой Азии и сравнительная грамматика индоевропейских языков» («Вопросы языкознания», 1952, № 4)]. Положение о родстве этих языков отсутствует в новых советских изданиях учебников по истории Древнего Востока. За рубежом твердо воздерживается от всяких поспешных сопоставлений древневосточных языков между собой, например, один из лучших специалистов в области редких языков древней Передней Азии И. Фридрих.

⁶ В урартском, так же как в семитских языках и ряде кавказских, имелись, повидимому, напряженные согласные наряду с глухими и звонкими, хотя артикуляция их отличалась от артикуляции соответствующих семитских типов согласных. В хурритском различие между глухими и звонкими, в основном, комбинаторное.

Сюда относятся также такое (распространенное и во многих других языках) грамматическое явление, как эргативная конструкция, и связанные с ним вторичные явления: формальное деление глаголов на переходные и непереходные, отсутствие четко выраженной системы залогов (противопоставления актива и пассива), наличие одного (эргативного) падежа для субъекта переходного глагола и другого (абсолютного, обыкновенно неоформленного) падежа одновременно для субъекта непереходного глагола и объекта переходного глагола, а также для выражения обращения, категорического утверждения, определяемого, стоящего перед определением, и т. д. Весь этот комплекс явлений наблюдается в шумерском, хурритском (как кажется, не по всем видо-временным категориям глагола), урартском и, частично, эламском. Но характерно, что явственные пережитки эргативной конструкции наблюдаются и в наиболее рано засвидетельствованном из семитских языков — аккадском (ассиро-вавилонском) ⁷. В то же время в наиболее близком к семитской ветви из других языков семито-хамитской семьи — в древнеегипетском наблюдаются пережитки не эргативной, а possessивной конструкции ⁸.

К чертам, общим для большинства языков Древнего Востока, относятся также некоторые лексические явления, как, например, обозначения терминов родства «отец» и «мать» [шумер. *a*, *a(d)* «отец», *ama* «мать»; хуррит. *atta(i)* «отец», *amma* «мать»; хет.-несит. *attas* «отец», элам. *atta* «отец», *amma* «мать»; ср. также за пределами древней Передней Азии — греч. *ἄτα*, лат. *atta*, гот. *aita*, алб. *at*, ирл. *aite*, русск. *om-eц* < **att-*, а также турецк. *ata* и многие другие] ⁹.

Как видно из приведенных примеров, многие из явлений этого рода объединяют не только так называемые «азиатические» языки, но захватывают и область распространения семитских и индоевропейских языков. Поэтому данная группа явлений, даже в той мере, в какой она выходит за пределы чисто структурных сходств и захватывает область лексики, не может служить критерием родства рассматриваемых языков и принадлежности их к одной группе. Что касается эргативной структуры предложения, то очевидно, что наличие ее в двух каких-либо языках может считаться свидетельством их материального родства не более, чем наличие номинативной структуры предложения свидетельствует о родстве финно-угорских, семитских, индоевропейских, тюрко-монгольских языков.

Если же говорить не о родстве данных языков, в смысле принадлежности к одной языковой семье, а более неопределенно — о «круге» языков, как это делают К. В. Ломтатидзе и А. С. Чикобава в цитированной выше формулировке, то, не говоря о расплывчатости этого понятия, легко

⁷ Эти предположительные пережитки заключаются в следующем: а) падежное окончание *-i(m)* выражает в древнейшем аккадском только субъект глагола и локативное отношение; обращение, категорическое утверждение, определяемое перед определением, именное сказуемое и т. д. выражаются не этим (именительным) падежом, а неоформленной основой; б) наряду со спрягаемой формой глагола с личными префиксальными субъектными показателями, повидимому восходящими к косвенным падежам личного местоимения, имеется глагольная форма с суффиксальными личными местоимениями в прямом падеже, первоначально выражавшая только состояние; в) отсутствуют залого.

⁸ См. М. Э. М а т ь е, Основные черты древнеегипетского глагола, «Ученые записки [ЛГУ]», № 128, Серия востоковед. наук, вып. 3, 1952, стр. 220.

⁹ Тот или иной отдельный изолированный факт морфологии того или иного древневосточного языка также может порой обнаруживать сходство (скорее всего, внешнее и случайное) с каким-либо фактом другого языка Древнего Востока или какого-либо кавказского языка; однако эти сходства не составляют никакой системы. Следует также учитывать возможность лексических заимствований.

увидеть, что на основе тех черт, которые действительно являются общими для данных языков, в этот круг можно включить и заведомо семитские, индоевропейские и другие языки. Тем самым встанет под вопрос целесообразность самого терминологического объединения данных языков, ибо не ясно, в чем же заключается это единство и является ли оно генетическим. Кроме того, в этом случае нельзя ни определить границы этого «круга», ни утверждать, что «иберийско-кавказские» языки являются его единственными живыми представителями. Очевидно, речь идет все же не об этом, а о действительном, так называемом материальном, родстве «иберийско-кавказских» языков с «азиантическими» языками Древнего Востока.

В качестве критерия такого родства возможно рассматривать только факты материала основного словарного фонда, а также материальные элементы морфологии. При таком подходе известные нам древневосточные неиндоевропейские и несемитские языки ясно распределяются по трем группам, не считая хаттского, иначе «протохеттского», выделяемого в особую группу.

Хотя нельзя совершенно отрицать возможности того, что между этими четырьмя группами при дальнейшем накоплении материала и более глубоким анализе будут обнаружены в материальном отношении те или иные точки более или менее близкого соприкосновения, однако, на основании имеющихся пока данных, языки, принадлежащие к какой-либо из этих групп, представляются резко прогивостоящими языкам других групп, как языки различных языковых семей.

Если между хеттским-неситским и другими индоевропейскими языками обнаруживается явственная связь, несмотря на тысячелетия, разделяющие их во времени, то шумерский, эламский, хурритский пока не обнаруживают достаточно определенного материального схождения — ни друг с другом, ни с какими бы то ни было ныне существующими языками. Лишь хаттский язык, который столь же обособлен от других древневосточных языков¹⁰, все же являет, по видимому, известные черты схождения с иберокартвельскими и, возможно, с абхазо-черкесскими языками¹¹.

К сожалению, данные, которые могли бы послужить для сравнения тех или иных современных языков с теми или иными древневосточными, не входящими в известные до сих пор языковые семьи, разбросаны частично по трудно доступным для лингвиста изданиям или изданы в таком виде, что изучение материала требует предварительной подготовки в смысле знания законов клинописной графики и ее транслитерации и т. п. Во всяком случае, для правильного суждения об этом вопросе далеко не лишним было бы дать в руки нашей более широкой лингвистической общественности в сводном виде, с учетом новейших полученных в этой области данных, конкретные сведения о языках, относительно которых высказывается столь много разнообразных суждений.

Ниже мы приводим краткое описание основных древневосточных языков, не входящих ни в индоевропейскую, ни в семитскую семью языков.

¹⁰ Следует подчеркнуть резкое различие в грамматическом строе, в частности между хаттским и хуррито-урартской группой; так, хаттский, по видимому, не имеет показателей падежных отношений, изменение глагола строится в нем преимущественно на префиксации, в то время как в хурритском и урартском языках падежные показатели многочисленны, а префиксы совершенно не применяются. Фонетика и лексика хаттского, с одной стороны, и хурритского и урартского, с другой, также, по видимому, существенно различны.

¹¹ На этом основании, если бы родство хаттского с указанными языками подтвердилось, его можно было бы включить прямо в число кавказских, но это не дает повода для постулирования особой «хетто-иберийской» семьи.

II

1. Шумерский язык¹²

Наши сведения о фонетическом составе шумерского языка зависят от довольно несовершенной передачи звучания шумерских слов средствами аккадской клинописной графики. Приблизительный фонетический состав его таков:

Г л а с н ы е: *a, e, i, u*. Дифтонгов нет. Конечные гласные имеют тенденцию к отпадению.

С о г л а с н ы е: *m, b, p; n, d, t, z, s, š; ʒ, g, k, ʔ (= ʕ?)*; *l* (=, вероятно, *l*), *r*. Взрывные и, реже, щелевые согласные в конечном положении отпадают.

Основа — как имени, так и глагола — неизменяемая и первоначально, повидимому, обычно двусложная, позже часто односложная. В пределах одной основы возможно употребление только одного определенного гласного; наличие в основе двух или более различных гласных указывает на ее составной характер.

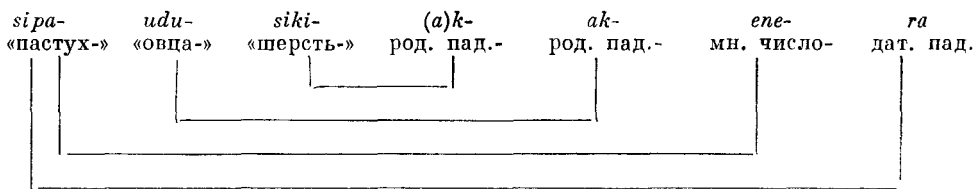
В словарном составе шумерского языка имелось весьма много омонимов, различавшихся, вероятно, при помощи музыкального ударения. Сильного экспираторного ударения в шумерском, во всяком случае, не было.

Форманты присоединяются к основе по агглютинативному принципу, как суффиксально, так и в особенности префиксально.

Различаются имена класса людей и класса вещей.

Имя имеет единственное и различные виды множественного числа: коллективное, определенное, обобщающее, обобщающее-определенное, выражаемые путем удвоения основы или суффиксации различных показателей именного или местоименного происхождения. Система множественного числа неодинакова для класса вещей и класса людей.

Падежные отношения выражаются отделимыми показателями («постелогам»). Они помещаются после целой синтагмы, например после определяемого и определений или после определяемого и определительного придаточного предложения и т. п.; в конце такой синтагмы может скапливаться несколько падежных показателей («поселогов»), при этом в порядке, обратном порядку слов, к которым они относятся, например: «пастухам рунных овец»:



¹² Обобщенная основа грамматического изучения шумерского языка дана в книге А. Пёбеля (A. Pöebel, Grundzüge der sumerischen Grammatik, Rostock, 1923), в освещении некоторых частных вопросов ныне уже устаревшей. Грамматика А. Деймеля (A. Deimel, Sumerische Grammatik, Roma, 1924), позже переизданная, в обоих изданиях не отвечает необходимым требованиям, так как построена почти исключительно на скудном грамматическом материале хозяйственных документов, причем автор в ряде случаев упорно цепляется за устаревшие толкования некоторых форм. Лучшей грамматикой в настоящее время, несмотря на ее формалистичность и неприемлемость некоторых морфолого-этимологических построений, является грамматика А. Фалькенштейна (A. Falkenstein, Grammatik der Sprache Gudeas von Lagas, I, Roma, 1949).

Показатели падежей:

Эргативного падежа:	-e	Исходного падежа:	-ta
Родительного падежа:	-a(k)	Направительного падежа:	-šə
Дательного падежа:	-ra	Совместного и орудийного падежа:	-da
Местного падежа (инессив):	-a	Падежа сравнения:	-gim
Местного падежа (адессив):	-e		(-dīm?)

Субъект непереходного глагола, объект переходного глагола, обращение и т. п. особыми показателями не оформляются.

Наиболее сложной и не во всех частностях еще ясной категорией грамматики является глагол. Спрягаемая форма глагола должна содержать, по крайней мере: показатель направления(?) действия (*i-*, *tu-*, *al-* и некоторые другие), показатель субъекта и основу глагола.

Однако, помимо этих необходимых элементов глагольной формы, в ней могут присутствовать, преимущественно в виде цепочки префиксов¹³, показатель наклонения, показатель, повторяющий отраженные в предложении пространственные и некоторые другие отношения, показатель объекта действия (для переходных глаголов), показатель незавершенности (?) действия (*-ed*). Так, например: *ha-tu-na-ne-b-dū-e* «пусть он ему там его построит» [*ha-* — префикс пожелательного наклонения; *-tu-* — префикс направления действия; *-na-* состоит из местоименного элемента *-n-* и локативного или дательного послелога *-a* или *-(r)a*; *-ne-* состоит из того же местоименного элемента *-n-* и локативного (адессивного) послелога *-e*; *-b-*, повидимому, является показателем объекта при несовершенном виде глагола; *-dū* — основа; *-e* — показатель субъекта переходного глагола несовершенного вида].

Различается спряжение глаголов: а) переходных (два вида — совершенный и несовершенный), б) непереходных (без различения видов).

Глаголы переходные (<i>lal</i> «отвещивать»):		Глаголы непереходные (<i>gin</i> «ходить»):	
Вид совершенный			
Ед. число	Мн. число	Ед. число	Мн. число
1-е лицо	<i>tu-lal</i>	<i>tu-gin-en</i>	<i>tu-gin-enden</i>
2-е лицо	<i>tu-e-lal</i>	<i>tu-gin-en</i>	<i>tu-gin-enzen</i>
3-е лицо (люди)	} <i>tu-b-lal</i>	<i>tu-gin</i>	<i>tu-gin-eš</i>
3-е лицо (вещи)			
Вид несовершенный			
1-е лицо	<i>tu-lal-en</i>	<i>tu-lal-cnden</i>	
2-е лицо	<i>tu-lal-en</i>	<i>tu-lal-enzen</i>	
3-е лицо	<i>tu-lal-e</i>	<i>tu-lal-ene</i>	

Особо следует отметить спряжение связки «быть», обычно приобретающей характер энклитики *-m*, которая спрягается как непереходные глаголы (*-men*, *-men*, *-(ā)m*; *-menden*, *-menzen*, *-meš*).

От глагольной основы образуются: имя действия, состояния или объекта действия (основа + *a*), причастие и инфинитив долженствования (основа + *ed*, основа + *ed-a*). Чистая глагольная основа, повидимому, должна

¹³ Для повелительной формы — цепочки суффиксов.

рассматриваться как именная основа, от которой образован данный глагол.

Порядок слов в шумерском языке — строго определенный (определение после определяемого; субъект — косвенный объект — прямой объект — предикат). Для образования придаточного предложения предикат номинализуется путем присоединения локативного послелого *-a*, к которому затем могут присоединяться и другие послелогии, играющие в этом случае роль подчинительных союзов¹⁴, например: *inim, lugal-ane-e i-na-dug₄-a* «слово, которое господин его сказал ему»; *NN-e nam-lugal šu-ba-b-ti-a-ta* «после того, как NN взял царскую власть» (дословно: «NN царственность рукой-там-ее-взял-в-от»).

В качестве характерной черты шумерского языка следует отметить наличие особого женского говора, отличающегося от мужского главным образом в фонетическом отношении (замена $\eta > m$, иногда также $d > z$, $z > š$, $g > b$ и др.).

Примеры из лексики (основного словарного фонда):

Личные местоимения (ед. число): *ḡá (má)*, *za*, *ene*; притяжательные местоимения: *-mi*, *-zu*, *-ane* (для класса людей), *-be* (для класса вещей).

Имена существительные: *a*, *ad(a)* «отец», *ama* «мать», *šes* «брат», *dumi* «сын» и «дочь» (дочь обозначается как «сын-женщина»), *pá(b)* «старший дядя по отцу, дед», *dam* «супруг(а)»; *saḡ* «голова», *ugi* «темн», *ka* «рот», *igi* «глаз», *šū* «рука, кисть», *á* «рука, бок, сила», *gír(i)* «нога», *eger* «спина», *muru(b)* «живот», *šà(g)* «сердце»; *ki* «земля», *an* «небо», *lú* «человек», *nita(h)* «мужчина», *diġir* «бог», *uru* «поселение», *kur* «гора, чужая страна, восток», *kanan*, *kalam* «(своя) страна», *é*, *èš* «дом», *íd(i)* «река, канал».

Глаголы: *ag(a)* «делать», *dù* «строить», *gin*, *ára* «ходить», *gub* «стоять», «класть», *ná(d)* «лежать», *ḡar* «класть», *du₁₁*, *dug₄* «говорить», *siġ*, *sim*, *sut* «давать», *è(d)* «выходить», *tu(r)* «входить», *tu(d)* «рожать».

Прилагательные: *gal(a)* «большой», *tur* «малый», *dùg* «хороший», *hul(u)* «злой», *húl(u)* «радостный», *tur-a* «больной, одержимый» — от глагола *tu(r)*.

Отрицания: *ni-*, *nam-* (входят в состав глагольных формантов).

Числительные: *aš*, *dili* «один», *min*, *min-a* «два», *eš* «три», *limu* < **lim*, **lim-a* «четыре», *i*, *i-a* «пять», *i-aš* «шесть», *i-min* «семь», *ussu* (?) «восемь», *i-limu* «девять», *(h)u* «десять», *šūš*, *geš* «шестьдесят», *ner* «шестьсот», *šár* «круг, 3600».

Характерно использование комплексов «объект-предикат» для выражения одного понятия, например: *igi-du₈* «глядеть» (*igi* «глаз», *du₈* «открывать»); *šū-ti* «брат», например: *šū-ba-n-ti* «взял», дословно: «рукой-там-он-взял» (*šū* «рука»); *igi-ḡar-ag* «проверять» (*igi* «глаз», *ḡar* «класть», *ag* «делать»); *saḡ-ġiš-ra* «убивать» (*saḡ* «голова», *ġiš* «дерево», *ra*, *raḥ* «ударять»); *gab-šū-ḡar* «соперник» (*gaba* «грудь», *šū* «рука», *ḡar* «класть»).

Очень характерно также использование значащих слов как словообразовательных элементов: *níg* «вещь», *en* «жрец», *níg-en-a(k)* «храмовая земля»; *nam* «судьба», *lugal* «царь», *nam-lugal-(ak)* «царская власть»; *ki* «земля, место», *sikil* «чистый», *ki-sikil* «девушка»; *ama* «мать», *siki* «шерсть», *ama-siki(-ak)* «пряжа».

Ср. также служебную роль значащих слов: *igi lugal-a(k)*, дословно: «глаз хозяина» = «перед хозяином»; *ki-lú-ta*, дословно: «место-человека-из» = «от человека» и многое другое.

¹⁴ Роль относительного местоимения «который» могут играть имена *lú* «человек» и *níg* «вещь».

Число заимствованных слов (из аккадского) ничтожно.

Следует сказать несколько слов о вероятном происхождении шумерийцев. Нет почти ни одной языковой семьи, с которой не пытались бы связывать шумерский язык¹⁵, но все выдвинутые до сих пор теории лишены убедительности.

Что касается происхождения самого народа, то, следуя Э. Мейеру, предполагают, что шумерийцы пришли в Южное Двуречье с востока или северо-востока¹⁶. Но хотя это предположение стало общим местом, те посылки, на которых оно первоначально базировалось, давно уже отвергнуты археологической наукой¹⁷. Сами шумерийцы считали, что они проникли в аллювиальную долину Тигра и Евфрата с юга, и у нас есть ряд оснований думать, что в течение III тысячелетия родственное шумерийцам население было распространено далеко по обоим берегам Персидского залива. Во всяком случае, оно засвидетельствовано на Бахрейнских островах. По видимому, шумерийцы были первыми насельниками аллювиальных наносов в низовьях великих переднеазиатских рек¹⁸.

Начиная со второй четверти III тысячелетия до н. э., шумерский язык постепенно вытесняется у населения Двуречья семитским-аккадским — первоначально языком окрестного скотоводческого населения, затем оседающего среди северных шумерийцев. Новый язык распространяется с севера на юг¹⁹ и в первой половине II тысячелетия до н. э. окончательно вытесняет шумерский. После этого шумерским языком продолжали пользоваться как мертвым литературным еще около полутора тысяч лет.

¹⁵ О связи шумерского языка с «урало-алтайской» семьей говорили исследователи главным образом XIX века, т. е. периода, когда еще шумерские тексты не получили научной грамматической интерпретации: Н. Л. Вестергорд, Г. Раулинсон, Э. Норриэ, Ж. Опперт, Ф. Ленорман, Ж. Менан, Дж. Смит, А. Г. Сэйс, Ф. Делич, Э. Шрадер, Ф. Хоммель; о связи с «африканскими» семьями языков — Х. Кларк (1872), точнее с суданскими — А. Дрексель; с дравидскими — Г. Хюзинг, А. Дрексель; с китайским — Болл; с индоевропейскими — Э. Хинкс, С. Лэнгдон, Ш. Отран; с кавказскими — В. Крамарж, Ф. Борк, Г. Хюзинг, М. Цертели, А. Тромбетти, Н. Я. Марр; с баекским — А. Г. Сэйс; с малайско-полинезийскими Штуккен; по В. Христиану, в шумерском словарный запас и отчасти морфология — семито-хамитские, фонетика и отчасти морфология африканская, тибето-дравидская и финно-угорская, грамматический строй — кавказский! Лет 50 назад Ж. Галеви и в России П. К. Коковцов совершенно отрицали реальное существование шумерского языка, считая его тайнописью («аллографией») ассирио-вавилонского языка.

¹⁶ См.: E. Meuser, *Sumerier und Semiten in Babylonien*, Berlin, 1906; **е г о ж е**, *Geschichte des Altertums*, 3-e Aufl., Stuttgart — Berlin, 1913, § 362. См. также опубликованные в недавнее время работы Б. Грозного (например: В. Н. Грозный, *Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty*, [Praha, 1948]; Б. Грозный, *Доисторические судьбы Передней Азии*, «Вестник древней истории», 1940, № 3—4).

¹⁷ Обычные доводы сводятся к следующему: а) обозначение одним и тем же словом *kur* понятий «страна», «гора» и «восток»; б) строительство храмов в виде искусственной горы (зиккурата); в) название зиккурата и вообще храма *é-kur* «дом горы» — свидетельство горной и восточной природы шумерийцев. На это следует заметить, что: а) *kur* обозначает «гора», «восток» и «чужая страна»: своя страна так никогда не обозначается; б) зиккурат — не искусственная гора, а первоначально храм, возвышающийся на платформе над заливаемой болотистой низменностью; в) *é-kur* обозначало первоначально только храм бога Энлиля в Ниппуре; зиккурат так никогда не назывался.

¹⁸ Очевидно, низовья Тигра и Евфрата долго были необитаемы. Достоверных археологических памятников старше IV тысячелетия до н. э. там нет.

¹⁹ Аккадские имена начинают встречаться на севере Южного Двуречья со второй четверти III тысячелетия до новой эры, на юге — с последней его четверти; часто в одной семье встречаются шумерские и аккадские имена. Ко II тысячелетию до н. э. число аккадских имен на крайнем юге Двуречья значительно; к XVIII в. число шумерских имен здесь не превышает 5—6%. Последние шумерские (диалектные) имена принадлежат царям династии Приморья, правившей на крайнем юге с XVIII по XVI в. до н. э.

2. «Алародийские» языки — хурритский и урартский

Хурритский и урартский языки²⁰ составляют явно родственную между собой группу. Однако систематического сравнения хурритского с урартским не производилось²¹. Предлагавшийся ранее в числе других обозначений для несемитских и неиндоевропейских языков Передней Азии термин «алародийские» языки лучше всего подходит именно к этой языковой группе, так как «алародии», повидимому, древнегреческое название урартов. Мы можем оба языка рассматривать вместе, несмотря на известные различия между ними.

В фонетическом отношении эти два языка, насколько можно судить по несовершенной клинописной графике²², различны. Хурритские гласные (а, е, і, о, u) имелись, повидимому, и в урартском; обоим языкам свойствен ряд дифтонгов. Но согласный состав их не совпадает: хурритские: *m, p, pp, v* (?), *f; n, t, tt, ts, z, s̄, z̄; k, kk, h, γ* (?); *l, r* (=увулярное *R*?) и неслоговые гласные *i, u*. (Удвоенные взрывные — это, повидимому, напряженные, не удвоенные — не напряженные, слабо озвонченные, после гласных — звонкие, вероятно с придыханием; вопросы долготы в хурритском не вполне ясны); урартские: *m, b, p, pʰ* (?), *v* (?); *n, d, t, tʰ, ts, dz* (?), *z, s; g, k, kʰ, γ* (?), *h'*, (*h*?) ; *l* (и *lʰ*?) , *r* (глухое, слабо вибрирующее, с придыханием (?); может быть, существовало и второе, сильно вибрирующее *r*) и, повидимому, *j, w* (= *u*?). Возможно наличие и некоторых других звуков²³. Долгих нет — ни гласных, ни согласных. Характер ударения неясен, но, повидимому, сильным экспираторным оно не было.

Основа — как имени, так и глагола — неизменяемая. Характер огласовки основы произвольный. Основа, как правило, оканчивается на гласный²⁴.

В хурритском в основу, помимо корня, могут входить некоторые суффиксы, уточняющие значение основы и употребляемые обыкновенно при образовании прилагательных. Все форманты присоединяются к основе — преимущественно по агглютинативному принципу — только суффиксально.

Ни родов, ни классов нет. Имя имеет единственное и множественное

²⁰ Грамматический очерк хурритского языка см.: E. A. Speiser, Introduction into Hurrian, «Annual of the American schools of oriental research», XX, 1941; ср. J. Friedrich, Kleine Beiträge zur Churritischen Grammatik, Leipzig, 1939, и др. Наилучший пока грамматический очерк урартского языка принадлежит Г. А. Меликишвили [«Урартские клинообразные надписи» («Вестник древней истории», 1953, № 1)]. См. также: И. И. Мещанинов, Язык Ванской клинописи. II — Структура речи, Л., 1935; J. Friedrich, Einführung ins Urartäische, Leipzig, 1933.

²¹ Наиболее подробно об этом см. в указ соч. Г. А. Меликишвили «Урартские клинообразные надписи», стр. 292 и сл.; о лексике этих языков см. пока статью И. М. Дьяконова «Заметки по урартской эпиграфике» («Эпиграфика Востока», IV, М.—Л., 1951, стр. 113, прим. 8), а также ряд замечаний в работах Г. А. Капанджяна и др.

²² Несколько совершеннее передача звуковой стороны хурритского языка (только «согласных!») в своеобразном клинописном варианте финикийского алфавита (угаритское письмо или письмо Рас-Шамры). Кое-что выясняется также из сопоставления различных орфографических систем, применявшихся хурритами в разное время и в разных местах. О фонетике хурритского языка см.: E. A. Speiser, указ. соч.; его же, Notes on Hurrian phonology, «Journal of the American oriental society», vol. 58, № 1, Baltimore, Md., 1938, стр. 173 и сл.; о фонетике урартского языка автор статьи готовит специальную работу для «Трудов Института востоковедения АН СССР».

²³ В дальнейшем транскрипцию урартских слов даем традиционную, согласно вавилонскому произношению соответствующих знаков, т. е. соответственно: *m, b, p, r, h; n, d, t, s, z, s, s; g, k, k, h, h; l, r, j, u*; гласные — *a, e, i, u, i*.

²⁴ В урартском чаще всего на *-i* (графически; в действительности, повидимому, за редуцированное *-ə*).

число. В хурритском обычный показатель множественности $-(a)\bar{z}$, сохраняющийся в урартском, повидимому, лишь пережиточно²⁵.

В урартском система падежей в единственном и множественном числах приобрела разные формы в результате взаимодействия падежных окончаний с показателем множественности $-a$ ²⁶. В абсолютном падеже, как не оформленном, признаком множественного числа служит $-li/e$, по происхождению — хурритское энклитическое личное местоимение 3-го лица множественного числа $-lla$ «они», выражавшее субъект именного сказуемого.

Важнейшие типы прилагательных (а также причастия) образуются при помощи специальных суффиксов: хурритских $-ye$, $-hhe$, $-ne$, $-(u)zzi$, $-ae$; урартских: $-he(ne)$, $-ini/e$, $-usi$, $-a(j)e$.

Падежные отношения выражаются в хурритском отделимыми частями типа послелога. Эти частицы могут присоединяться не только к основе, но и к основе + притяжательное энклитическое местоимение²⁷.

Послелоги имеют тенденцию превратиться в падежные окончания. Эта тенденция нашла полное выражение в урартском, где послелоги превратились в настоящие падежные окончания, причем дифференцировались особые формы для единственного и множественного числа.

Формы выражения падежных отношений в обоих языках таковы:

	Хурритский		Урартский	
	Ед. число	Мн. число	Ед. число	Мн. число
Эргативный падеж	$-\bar{s}$	$-a\bar{z}-us$	$-\bar{se}$	$-a-\bar{se}$
Абсолютный падеж	$-$	$-a\bar{z}$	$—$ ²⁸	$-li$
Родительный падеж	$-ue$	$-\bar{z}-(u)e$	$-(j)e$ ²⁹	$-a-\underline{u}e$
Дательный падеж	$-ua$	$-\bar{z}-(u)a$	$-e(\text{т.е.}=\bar{e}?)$	$-a-\underline{u}e$
Местный падеж	$-(i)a, -(u)a$?	$-a$	$-a$
Падеж состояния	$-a$ ³⁰	?	$-a$ ³⁰	?
Инструментально-отложительный падеж	?	?	$-ni$	$-a-ni$
Направительный падеж . .	$-t/da$	$-a\bar{z}-ta$	$-edi$ ³¹	$-a-idt$ ³¹ $-a\bar{s}te$
Совместный (сравнительный) падеж	$-ra$		(нет)	(нет)

Характерной чертой хурритского языка является так называемый «перенос показателей»: для выражения связи внутри группы слов в пределах предложения конечный показатель (или показатели) грамматических отношений одного слова повторяется при определениях и других словах, связанных с данным словом.

Имеет также специальная атрибутивная (соотносительная) частица (ед. число $-ne-$, мн. число $-na-$), указывающая на связь между словами, например: «боги отца царственные...»:}

²⁵ В падежном окончании направительного падежа множественного числа $-a\bar{s}te?$

²⁶ Формы послелогов комбинаторно изменяются и в хурритском.

²⁷ Притяжательное местоимение: хурритское: ед. число $-if$, $-o$, $-(i)ja-$ (или $-di$), мн. число $-if-a\bar{z}$, $?$, $-i\bar{i}-a\bar{z}$; урартское: ед. число 1-го лица $-uki-$, 3-го лица $-ija-$ ($-je-$); другие неизвестны.

²⁸ Наблюдается еще формант на $-ni/e$; это не особый падеж, так как не выражает никакого особого, отличного падежного отношения; роль его — либо детерминирующая (из указательного местоимения ini), либо «соотносительная», как у хуррит. $-ne$.

²⁹ Родительный падеж нередко заменяется образованием притяжательного прилагательного на $-ini$, $-he(ne)$.

³⁰ С поглощением гласного основы: например, урарт. $guni\bar{s}a$ (от $guni-\bar{s}e$ «битва») «битвой, в состоянии битвы».

³¹ Из значащего хурритского edi «ради».

<i>en(e)-</i> «бог»-	<i>-na-</i> атр. част.-	<i>-z̄-</i> мн. число-	<i>-uš-</i> эрг. падеж-	<i>atta(i)-</i> «отец»-	<i>ne-</i> атр. част.-
<i>-ne-</i> род. падеж-	<i>-na-</i> атр. част.-	<i>-z̄-</i> род. падеж-	<i>-uš-</i> мн. число-	<i>zarrā-</i> «царь»-	
<i>-šē-</i> суфф. абстр.-	<i>-he-</i> суфф. притяж.-		<i>-ue-</i> род. падеж-	<i>-na-</i> атр. част.-	
<i>-z̄-</i> мн. число-	<i>-uš-</i> эрг. падеж- (следует переходный глагол).			

В урартском частица *-ni/e*, повидимому, также наличествует, хотя ее употребление еще не уточнено. Что касается до «переноса показателей», то это явление сохраняется, может быть, только пережиточно, в застывших выражениях.

Хурритский глагол еще более сложен и менее изучен, чем шумерский. Спрягаемая форма глагола, всегда начинаясь с основы, принимает целую цепочку суффиксов разнообразного значения. Урартский глагол значительно проще (правда, нам известны далеко не все его формы), но органическое родство обоих языков видно и на материале этой грамматической категории.

Строго различается спряжение глаголов переходных и непереходных. Существует особый показатель переходности [хуррит. *-i-*, *-u-*, встречающееся перед отрицанием *-ue-* и перед итеративным (?) показателем *-kk-*; урарт. *-i-*, *-i-*] и непереходности (хуррит. *-o-*, *-a-*, урарт. *-a-*). В хурритском глаголе условно различаются «презенс», «перфект» и «футурум», но не вполне ясно, действительно ли это времена, а не виды. «Перфект» и «футурум» имеют показатели *-ōz-*, *-ed-* для переходных, *-ōst-*, *-citt-* для непереходных глаголов. После показателя времени в хурритском глаголе могут быть суффиксы *-št-*, *-imbu-*, *-id(o)-*, значение которых неясно. Далее следует показатель переходности или непереходности, суффикс итеративности (?) или отрицания (*-kk-* и *-ue-*). Затем может следовать еще новый суффикс (*-i/el*, *-ol-* или *-i/en-*, *-on-*) неясного значения и, наконец, — показатель субъекта (эти показатели различны для непереходного и переходного глаголов; последний может иметь еще и показатель объекта, который совпадает с субъектным показателем непереходного глагола). Субъектные показатели переходного глагола различны в изъявительном наклонении и в желательном наклонении. Повелительное наклонение совпадает с желательным, с той разницей, что свойственное ему окончание 1-го и 2-го лица *-i/e* примыкает здесь непосредственно к основе.

Сослагательное наклонение, или наклонение вероятности (?), имеет неизменяемый по лицам и числам показатель *-eua*, и если данный глагол — переходный, то субъект при нем может стоять в абсолютном, а не в эргативном падеже. Может следовать также отрицательный суффикс (*-ki*), а затем и энклитический союз (*-an*, *-ma*, *-tan*, *-ma-an*).

В урартском нам хорошо известно только одно «время» (или вид) — повествовательное, совпадающее по форме с хурритским «презенсом». Форма «будущего времени» (или, скорее, наклонения вероятности) характеризуется (в 3-м лице) окончанием *-lie*, *-le*. Известны отдельные формы других времен и различных наклонений. Повелительная форма совпадает с хурритской.

Из разнообразных глагольных суффиксов хурритского языка в урартском выжили суффикс *-ul[-ol]*, столь же неясный, как и в хурритском, и показатели переходности и непереходности. Кроме того, как суффиксы

основы встречаются $-\check{s}t-$ (= хуррит. $-\bar{s}t-$) и др. Отрицание выражается отдельным словом $u/(e)$, которому соответствует хурритское категорическое отрицание uia . Внутри глагола отрицание, повидимому, не выражается.

Форманты, выражающие субъект и объект в глаголе, в хурритском и урартском следующие:

Субъектные при переходном глаголе:

Хурритский	Ед. число	Урартский
1-е лицо	$-(a)f$	$-bi$ (чит. $[-v\check{s}^?]$)
2-е лицо	$o-$	$?$
3-е лицо	$-(i)a$	— ³² (но $-a$ при объектном показателе 3-го лица мн. числа)
Мн. число		
1-е лицо	$-af-\bar{z}a$	$-\check{s}e?$ ($<[-v-\check{s}\check{s}]?$)
2-е лицо	$?$	$?$
3-е лицо	$?$	$-(i)tu$

Субъектные при непереходном глаголе ³³:

Хурритский	Ед. число	Урартский
1-е лицо	$-ta$	$-di$
3-е лицо	—	$-bi$
Мн. число		
1-е лицо	$-t/di-lla$	$?$
3-е лицо	$-lla$	$-li/e$

Хурритские объектные (при переходном глаголе) и субъектные (при непереходном глаголе) ³⁴ показатели суть не что иное, как энклитические личные местоимения, которые могут присоединяться и к именному сказуемому; вообще непереходный глагол стоит генетически в тесной связи с именным сказуемым. Наиболее наглядно это видно на примере спряжения связки $tanp-$ «быть» ³⁵, где основа может выступать почти в чистом виде (лишь с прибавлением показателя $-a$, $-i$ или $-u$) ³⁶.

Причастные формы образуются по-хурритски на $-i$ (причастие — имя действия от переходного глагола), на $-u$ (причастие — имя состояния от переходного глагола) и на $-a$ (причастие непереходного глагола). В некоторых случаях причастия получают дополнительный суффикс $-b/p$. Форма

³² Показатель $-li$, обычно считающийся за субъектный, в действительности, повидимому, объектный.

³³ В основном, совпадают с объектными показателями при переходном глаголе.

³⁴ Ряд западноевропейских исследователей, хотя и с некоторыми оговорками, рассматривает эргативную конструкцию как пассивную. Однако рассматривать эргативную конструкцию в древневосточных языках как пассивную нельзя: для данных языков типичным является именно отсутствие противопоставления активного и пассивного залогов. Характерно, что не только в шумерском и хурритском, но и в аккадском исследователями различаются, как активные и пассивные, только части, т. е. именные формы, которые в действительности могут и должны рассматриваться как причастия действия и причастия состояния.

³⁵ Наряду со связкой «быть» предикативный характер имеет, повидимому, местоименный (?) суффикс $-n(n)-$, часто присоединяемый в хурритском к имени. Явно местоименное происхождение связки $tanp-$ в хурритском (урарт. $tan-$) очевидно.

³⁶ Происхождение этого показателя неясно; скорее всего показатель $-a$ в хурритском есть показатель непереходности, а $-i$ связано с местоимением 3-го лица, но понято как показатель переходности (поэтому соответственно и закономерно в урартском $-u$, обобщенное на все формы). Или в урартском надо читать $-o-$?

причастий может быть предикативной и в качестве таковой принимать не только личные, но и «временные» показатели.

Инфинитив образуется при помощи суффикса *-um(mi)*.

Имя абстрактное образуется при помощи суффикса *-še*. Тот же суффикс служит как номинализующий показатель придаточного предложения (См. выше об образовании придаточных предложений в шумерском языке.)

Система глагольных имен в урартском не вполне ясна. Повидимому, инфинитив выражается суффиксом *-di/e*, причастие действия — суффиксом *-uri*, причастие состояния — суффиксом *-a(j)uri*. Имя абстрактное выражается при помощи суффикса *-še*. Придаточное предложение вводится подчинительными союзами и особого оформления не получает.

Порядок слов в хурритском твердый, закрепленный агглютинацией цепочек значащих слов, частиц и различных показателей (определение по слове определяемого, субъект впереди предиката): «Я слышал, что Келия и Мане ушли»:

<i>Keliya-an</i>	<i>Mane-nn-an</i>	<i>ḥāz-ōz-af</i>	<i>itt-a-še-a</i>
«Келия-и	Мане-он-есть-и	ḫ слышал-я	ушел-он-что-в состоянии».

В урартском порядок слов более свободный.

Сочинение — в хурритском главным образом при помощи энклитических союзов (*-an*, *-man* и т. д.), в урартском — при помощи союза *e'i* и др.

Примеры из лексики.³⁷ Личные местоимения (кроме хурритских энклитических): ед. число: 1-е лицо хуррит. *ište* (эрг. *iṣa-š*)³⁸, урарт. *ješe*, 2-е лицо хуррит. эрг. *ḫe-š*, 3-е лицо хуррит. *ma(ni)*, урарт. *mani(?)*; ср. *masi* «свой».

Указательные местоимения: хуррит. *andi*, урарт. *ini*³⁹ и мн. др. Относительные местоимения: урарт. *ali* и др.; ср. также хуррит. *oli*, урарт. *uli* «другой».

Имена существительные: хуррит. *attai* «отец», *amma (?)* «мать», *am-mati* «дед», *pudgi* «сын», *šala* (урарт. *sila*) «дочь», *zēna* «брат», *ela* «сестра», *ašti* «жена, женщина», урарт. *lutu*, *ḫedia* «женщина»; урарт. *kuri* «нога», хуррит. *tiṣa* «сердце», *uthuru* «сторона, бок»; хуррит. *ḫawer*⁴⁰ (м.б. = урарт. *ḫiṣra*) «земля», хуррит. *eze* «небо», *taršūca* (урарт. *taršua*) «человек», хуррит. *tur(u)-* «мужчина» (?), *ene* «бог», *omini*, урарт. *ebani* «страна», урарт. *patari* «город», *baba-* (хуррит. *paba-*) «гора», хуррит. *šije*, *šice* «река», урарт. *šuce* «озеро, море», хуррит. *šali* (*zali?*) «дом», хуррит. *purna* «дом», хуррит. *aḫ(a)ri* «поле», урарт. *šari* «роща, сад», хуррит. *keldi* «лес».

Глаголы: хуррит. *tan-* «делать» (урарт. «создавать?»), урарт. *šad-* (*zad-?*) «делать», *šid-* [хуррит. *pīz-* (?)] «строить», *itt-* (урарт. *ušt-* из **un-št-?*) «выходить», *un-* «приходить», урарт. *ul-*, *nun-* «приходить», хуррит. *ar-* (урарт. *ar-*) «давать», *ag-* (урарт. *ag-*) «направлять», хуррит. *par-* (урарт. *par-*) «(за)братъ», *kul-*, *kad-*, урарт. *ti-*, *tia-* «говорить» (ср. хуррит. *tiṣe* «слово»).

Прилагательные: хуррит. *teae* (урарт. *ṭeae*) «большой», урарт. *tara(j)e* «большой», хуррит. *fahr-*, *fahrae* «хороший», *keḫ-ar-* «истинный», *fant-* «правильный», *ašḫu-* «высокий», *tubuae* «сильный» и др.

Числительные: хуррит. *šin* (*zin?*) «два», *kig?* «три», *tumni* «четыре».

³⁷ Известно (по звучанию и значению) около сотни хурритских и около 250 урартских слов.

³⁸ Супплетивно: косв. падеж *zu-ḫe*; ср. урарт. *šuki?*

³⁹ В урартском существует целая система указательных местоимений, модифицируемых для указания на близкие и далекие предметы присоединением местоименного суффикса *-uki* «мой» и др.

⁴⁰ Хуррит. *ḫ||k*, поэтому вполне вероятно, что хуррит. *ḫawr-* равно урарт. *ḫiṣra*.

šinda (*zitta* ?) «семь», *nīzi* ? «девять», *etan* «десять», *nubi* (урарт. *atubi*) «10000».

Число заимствованных слов (из аккадского, отчасти из шумерского) в хурритском и урартском довольно велико, например: хуррит. *zilupra* < аккад. *sulurpu* < шумер. *su₁₁-lum* «финик», урарт. *hubuše* < аккад. *hubšu* «шлем» и др.

Несколько слов о названии, месте и времени обитания хурритов⁴¹. Хурритские диалекты (очень близкие между собой) были распространены в III—II тысячелетиях до н. э. в обширной области к северу от Южного Двуречья — от гор Загроса на окраине Иранского плато до северной Сирии и гор Тавра. Северная граница их обитания в это время не может быть установлена. Эта область носила по-шумерски в III тысячелетии до н. э. название *Su-bir₄* (*bir₄* «степь»), у аккадцев — *Subartum*, *Šubartu*, а племена, населявшие ее, назывались по-аккадски субарскими. В I тысячелетии до н. э. «Субарту» — условный географический термин для Ассирии, Северной Месопотамии и т. д. Важнейшее из государств, образовавшихся на этой территории (вторая четверть II тысячелетия до н. э.), носит в некоторых документах название «*Mitanni*, *Mitāni*, *Maitēni*», в других — «*Hanigalbat*, *Haligalbat*». Полузависимая часть его (вероятно, на верхнем Евфрате и близ верховий Тигра) называлась в хеттских документах того же времени *Hurri*. Язык, распространенный на всей этой территории, носил у хеттов и у самих хурритов (?) название хурритского (хетт.-несит. *hurilili* «по-хурритски», хуррит. *hurrohe* «хурритский»).

Помимо немногочисленных надписей и документов конца III—первой половины II тысячелетия до н. э. (в том числе литературных текстов и глосс из богаз-кёйского архива), хурритский язык засвидетельствован в глоссах — в документах из Нузу около Керкука и письмах из Сирии в тель-эль-амарнском архиве, а также в топонимике и собственных именах (см. карту). За исключением отдельных сомнительных случаев, хурритская топонимика и ономастика не встречается к востоку от западной окраины Иранского плато.

В I тысячелетии до н. э. незначительная часть хурритов, судя по топонимике и ономастике, сохранилась главным образом в долине верхнего Евфрата и в горах Армянского Тавра, вплоть до озера Урмии. Грекам они были, повидимому, известны под именем матиенов.

3. Эламский и другие «каспийские» языки

Эламских текстов несравненно меньше, чем шумерских, но все же количество их сравнимо с количеством урартских и значительно превосходит число хурритских; несмотря на это, эламский язык изучен пока гораздо слабее описанных выше языков Древнего Востока, и, в частности, до сих пор нет ни одной грамматики эламского языка⁴².

⁴¹ Соответствующие сведения об урартах см. в работах Г. А. Меликишвили и Б. Б. Пиотровского. Следует заметить, что старое чтение *Harri* основано на неправильно прочтенном знаке.

⁴² Грамматический очерк позднеэламского языка Вейсбаха (F. H. Weisbach, *Die Achämenideninschriften zweiter Art*, Leipzig, 1890) грешит произвольным схематизированием по нормам индоевропейской грамматики и должен считаться безнадежно устаревшим. Отдельные вопросы см.: G. G. Cameron, *The Persepolis Treasury Tablets*, Chicago, 1948; G. Hüsing, *Die Sprache Elams*, Breslau, 1908; его же, *Die elamische Iteration*, «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», Bd. XVIII, 1904; F. Bork, *Elam. B—Sprache*, «Reallexikon der Vorgeschichte», III, 1925; W. Hinz, *Elamisches*, «Archiv orientální», vol. XVIII, № 1—2, 1950; R. Labat, *Note sur la conjugaison élamite*, «Journal of Cuneiform Studies», vol. I, New Haven, 1947, и др.

Памятники эламского языка по характеру резко разделяются на две группы: старо-, средне- и новоэламские (2500—1600, 1600—700, 700—550 гг до н. э.), с одной стороны, и позднеэламские (у Н. Я. Марра «мидские») — с другой. Последние представлены эламскими переводами надписей ахеменидских царей Персии (VI—IV вв. до н. э.) и деловыми документами из Суз (VI в. до н. э.) и Персеполя (конец VI — начало V в. до н. э.). По письму позднеэламские тексты практически не отличаются от новоэламских; в языковом отношении позднеэламский язык является также продолжением новоэламского. Однако для характеристики эламского языка позднеэламские тексты, несмотря на обилие билингв, могут быть привлечены лишь с большой осторожностью. Дело в том, что эти тексты — даже одноязычные — представляют собой подстрочные переводы с древнеперсидского, с сохранением иранского синтаксиса и, повидимому, с большими искажениями в морфологии. К тому же позднеэламские тексты наводнены иранской лексикой, преимущественно древнеперсидской, в меньшей мере мидянской. Что же касается более ранних эламских текстов, то среди них билингв фактически не имеется, и это обстоятельство приводит к тому, что ранние тексты понимаются с трудом.

Приблизительный фонетический состав эламского языка:

Г л а с н ы е: *a, e, i, u*, возможно *o*; имея в виду частое графическое чередование *i* и *u*, некоторые исследователи предполагают наличие губного гласного переднего ряда, но это явление, может быть, имеет другое объяснение. Возможно наличие назализованных гласных.

С о г л а с н ы е: *p, t, c* (аффриката неясного качества, транслитерируется так же как *ç, z*), *s, š, k, h, j, m* (читать также и *v*), *n, l, r*. Вопрос о наличии в эламском языке звонких не может считаться разрешенным.

Основа — как имени, так и глагола — неизменяемая. Форманты присоединяются по агглютинативному принципу, только суффиксально; однако суффиксация эга в материальном отношении существенно разнится от хурритской. Роды и классы в имени не различаются.

Для имени характерны следующие основные четыре показателя: показатель неопределенной единичности $-(i)r$; показатель определенной единичности $-(i)k$; показатель коллективности или абстрактности $-(um)te$; показатель множественности $-(i)p$. К этим показателям иногда присоединяются гласные $-a, -i/e$, но функция последних неясна.

Указанные показатели подвержены правилу «переноса показателей» (они повторяются при словах, грамматически связанных с данными, и выражают тем самым эту связь). Отличие от «переноса показателей» в хурритском — то, что там переносятся «падежные» и атрибутивные показатели, здесь же — показатели определенности и числа: «О боги, управляющие всеми богами»:

<i>e napp (-ip)</i>	<i>paḥa-p</i>	<i>ak-p-ip</i>	<i>napp-ip-ip³</i>
«о боги	управляющие (много)	все (много+много)	бог (много+много)»

Падежных окончаний, даже в полуразвитой форме, как в шумерском или хурритском, эламский язык не знает. Как видно и из приведенных примеров, определительные отношения, а равно и субъектно-объектные получают чисто синтаксическое выражение (с этим связана малая употребительность в эламском притяжательных местоимений)⁴³. Определение стоит после определяемого.

⁴³ Эламский имеет энклитические притяжательные местоимения: ед. число 1-го лица $-mi$, 2-е лицо $-ne$, 3-е лицо $-nita(-me)$, мн. число 1-го лица $-nika(-me)$, но притяжание выражается в эламском и постановкой личного местоимения в синтаксическое положение определения.

Существует, однако, целое множество энклитических п о с л е л о г о в, выражающих пространственные отношения, например: *-ikki*, *-ikka* «к», «на», «у»; *-ma* «на»; *-atima* «в»; *-mar* «из», *-itaka* «с», *-appuka* «перед», *-ahia* «для» и другие. Многие из них — составные (*-atima*, *-itaka* и т. д.). Бесспорно составные: *-ikkimar* «от», *-šatamatak* «рядом», *-intikkak* «по причине» и многие другие. Иногда возникает целое нагромождение послелогов, сливающееся функционально в один послелог (явление, отличное от шумерского скопления показателей падежных отношений разных имен в конце синтагмы): *kapnuške sunki-na-ma-mar* «изнутри казны царя». Пространственного же происхождения, повидимому, и послелог *-na*, употребляемый иногда для выражения отношения родительного падежа. В среднеэламском эту функцию несет и послелог *-ma*.

Несмотря на отсутствие падежных окончаний, эламский — язык эргативного строя. Это видно из строгого различия переходных и непереходных глаголов. Непереходный глагол в простейшем виде состоит из основы (в сущности, именной) с именным показателем (*-r*, *-k*, *-p*), в синтаксической позиции предиката. К этой форме может присоединяться суффикс *-t(a)*, *-t(i)* неясного значения (повидимому, на место *-t* могут помещаться и некоторые другие простейшие суффиксы); между основой и именным показателем может помещаться перфективный (?) показатель *-ma(n)*.

Немногим сложнее и переходный глагол. В наиболее распространенной финитной (повествовательной) форме к основе, повидимому, присоединяются личные субъектные показатели [*-hu*, *-h* или ноль для 1-го лица ед. числа, *-(h)ši*, *-š(u)* — для 3-го лица; в отношении отождествления других форм возможны колебания]. Перфективное *-ma(n)* и неясное *-t(a)*, *-t(i)* могут присоединяться и здесь, но, кроме того, повидимому, возможно и включение в глагольную форму объектного показателя (особой объектной формы местоимения), в частности, после основы и перед перфективным показателем.

Общее число глагольных форм незначительно. Некоторые из них не объяснены. Повелительная форма образуется при помощи суффикса *-š(i)*, *-š(u)*; имя действия — при помощи суффикса *-man(a)*. Другие глагольные имена представляют чистую основу с именными показателями и в синтаксическом положении имени.

Примеры из лексики⁴⁴. Личные местоимения: ед. число: 1-е лицо (*h*)*u*, 2-е лицо *ni*, *ni*, 3-е лицо (= указ. местоимение) (*h*)*e*, *i*; мн. число: 1-е лицо *nika*-(*me*), 2-е лицо *nun*(?), 3-е лицо (= указ. местоимение) *ar*. Относительные местоимения: *akka* (о людях), *appa* и др.

Имена существительные: *atta* «отец», *amma* «мать», *šak* «сын», *pa*-(*r*) «дочь», *ike* «брат», *šut* (?) «сестра», *ruhu-šak* «внук, потомок», *rutu* «жена»; *kirpi*, *kurpi* «рука, сторона, сила», *siri* «ухо», *urte* «глаза», *muri* «земля» (кассит. *miri-jaš*, *jaš* «земля»), *hal* «страна», *patin* «область», *humaniš* «город (заимств.?)», *kik* «небо», *ruhu* «человек», *nap(pi)* «бог», *sapa* «госпожа, богиня», *sunki* «царь».

Глаголы: *catu*- «делать» (?), *cikki*- «ставить», *hali*- «делать, работать», *huma*- «брат», *hutta* «делать», *en*-(?) «быть», *eta-me* «выход, ворота» (кассит. *ete* «выходить»), *lappu*- «приходить, прибывать», *marri*-, *mauri*- «брат, схватывать», *na*- «говорить», *pattu*- «держаться, ставить», *tu*(*nu*)- «давать», *šinni*- «выходить, прибывать».

Прилагательные: *ukku*, *aca*, *irša*(*rra*), *riša*(*rra*) «большой», *haha* «хороший».

Числительное: *ki*-(*r*) «один».

Отрицательные: *inri*, *inne*.

⁴⁴ Известно (по звучанию и значению) до 300 эламских слов разных языковых родов.

Число заимствованных слов уже в старо- и среднеэламском велико: *salmu* < аккад. *salmu* «изображение, статуя», *erini* < аккад. *erīnu* «кедр», *karaš* < аккад. *karāšu* «войско», *puhur* < аккад. *puḫru* «собрание», *man-nat* < аккад. *mandattu* «дань», *melku* < аккад. *malku* «правитель», *palak-me* «работа» < аккад. диал. *palāhu* «работать», *tahu-* «помогать» < шумер. *taḫ-* «помогать» (?).

В позднеэламском очень велико число иранских заимствований (на-пример, *tajauš* < др.-перс. *dahyauš* «страна», *kancaparra* < др.-перс. *ganⁿzabara* «казначей», *tatta* < др.-перс. *data-* «закон», *šijatiš* < др.-перс. *šiyatiš* «благо» и др.). Есть заимствования из арамейского.

Памятники эламской письменности были в III тысячелетии распростра-нены по крайней мере от центрального Ирана (Тепе Сялук) и Фарса (Бендер-Бушир, Накш-и-Рустем, Фахлиун) до равнины рек Керхи и Каруна в ны-нешнем Хузистане, где и был расположен собственно Элам с его столицей Сузами. Древнейший читаемый памятник эламского языка — договор с аккадским царем Нарам-Сином — восходит к XXIII в. до н. э.

До нас дошло в вавилонской передаче около 50 слов, а также несколько десятков собственных имен из касситского языка — языка соседнего с эламитам горного племени; хотя материал очень невелик, все же есть основания предполагать родство этого языка с эламским⁴⁵.

К той же группе, возможно, относился распространенный в горах Западного Ирана III—I тысячелетий до н. э. луллубейский язык, для кото-рого, как полагают, можно (на основании чередования форм *lullu*, *lullu-p/b-* и *lullu-mê*) установить наличие эламских суффиксов множествен-ного числа *-p* и *-me*. Предполагают, что сюда же следует отнести известных древнегреческим авторам в юго-западном Прикаспии (и, возможно, в раз-ных частях Иранского плато) каспиев, которых предлагается считать соименными касситам — **kašš-* (ср. аккад. *kašš-û* «кассит» с аккадским же суффиксом *-û*) плюс эламский суффикс множественности *-p*.

Если эти предположения оправдались бы, то мы имели бы основание говорить о довольно обширной «каспийской» группе языков, предшество-вавших индоевропейским в Иране и Азербайджане. Есть сведения и о раз-ных древних языках южного Азербайджана и Курдистана — кутийском, мехранском, маннейском, но данных для суждения об их характере пока нет.

Следует вкратце остановиться на странной теории, имеющей в послед-нее время хождение в Азербайджане и нашедшей место в работах члена-корр. АН Аз. ССР М. Ширалиева⁴⁶, которая представляет собой попытку вывести современный азербайджанский язык из «одного из древних мидий-ских диалектов», причем под мидийским языком имеется в виду в данном случае не иранский язык, известный под этим названием древним, а язык неиранского населения Южного Азербайджана — древней Мидии (оно за-свидетельствовано по крайней мере до VII века до н. э.). Язык этого на-селения автором произвольно отождествляется с позднеэламским языком.

Для доказательства своего положения М. Ширалиев приводит несколько «мидийских» (на самом деле — эламских) слов, в какой-то мере похожих на некоторые азербайджанские слова, не делая даже попытки сопоставить их на основе закономерных соответствий. Это же положение приводилось ранее и в его статье «Азербайджанский язык» (в БСЭ²) в доказательство

⁴⁵ См. G. Hüsing, Die Sprache Elams. Он даже считает касситский северо-эламским диалектом. Примеры касситских слов: *mašhu* «бог», *da-gigi*, *ilulu* «небо», *ulat* «дита», *barḫu* (*barpak?*) «голова», *da-kaš* «звезда», *kukla* «раб», *turuḫna* «ветер», *miri-zir* «земля», *saḫ* «солнце», *mali* «(зависимый) человек», *jaš* «страна».

⁴⁶ См. М. Ш и р а л и е в, Труды И. В. Сталина о языкознании и вопросы истории азербайджанского языка, «Известия АН Азерб. ССР», 1953, № 2, стр. 70 и сл. [на азерб. языке].

стадиальной перестройки (по Н. Я. Марру) «мидийского» языка в азербайджанский, а в новой статье оно используется уже для освещения вопросов истории азербайджанского языка в свете трудов И. В. Сталина.

Оставляя в стороне тот факт, что некоторые «мидийские» слова, приводимые М. Ширалиевым, либо вовсе не существуют⁴⁷, либо не существуют в такой форме и с таким значением⁴⁸, замечательно, что в качестве объекта сопоставления с «мидийскими» М. Ширалиев избрал не специфически азербайджанские слова, а такие, которые существуют и в других тюркских языках, например, в турецком, узбекском и прочих. Отсюда можно бы, как будто, вывести, что от пресловутого «мидийского» диалекта происходит не только азербайджанский язык, но и все те прочие тюркские языки, которые сохраняют данные слова. Другими словами, теория, выдвигаемая М. Ширалиевым, ведет к сомнительной идее древнего переднеазиатского происхождения всех тюркских языков.

В действительности, как показывает приведенный выше очерк эламского языка, между этим языком и тюркскими, кроме принципа агглютинации, известного столь многим языкам мира, очень мало общего. В структурном отношении к эламскому ближе даже корейский⁴⁹, чем тюркские. В материальном же отношении близость между эламским и современным азербайджанским не идет далее случайных сходств, какие встречаются в любых двух языках. Если когда-либо можно будет поставить вопрос о конечном родстве различных семей языков, при данном состоянии наших знаний выступающих как неродственные, тогда вопрос о родстве между эламским и тюрко-монгольскими языками, быть может, встанет в каком-то ином плане. Но совершенно очевидно, что даже в случае установления отдаленного родства между ними ни один из тюркских языков (ни, тем более, все тюркские языки в целом) не может быть прямо возведен ни к одному из предполагаемых диалектов эламского языка.

III

Подводя итог сделанному нами обзору языков Древнего Востока, не входящих в число семито-хамитских или индоевропейских, мы должны прийти к выводу, что разница между тремя установленными группами (или четырьмя, если считать халтский язык) в материальном отношении — разительная, да и структурно, несмотря на известные общие черты, они проявляют столько черт различия, что нет пока никакого основания сводить их в одну «хеттско-иберийскую» семью языков. Различие между шумерским, эламским и хурритским языками — не меньше, чем между любыми тремя языками трех разных языковых семей, объединяемых лишь общностью принципов синтаксической конструкции и связанных с нею грамматических явлений, например между языками индоевропейской, семитской и финно-угорской семей с их номинативной конструкцией. Можно, пожалуй, в немногих случаях установить внешнее сходство между отдельными лексико-морфологическими элементами, но вряд ли пока возможно говорить о закономерности звуковых соответствий. Нет общего языкового материала, нет единообразия закономерного расхождения в формах выражения грамматических категорий — значит, даже при

⁴⁷ Например, *дайише* «меняться», *кял* «дом», *ури* «большой» и т. д.

⁴⁸ Так, *гуми*, *гумир* — это, вероятно, *kutu-*, *kuti-* «владеть, овладевать», а не «приносить»; «небо» по-эламски *kik*, а не *gug*, *gög*. Есть слово *kuk*, но оно значит «защита».

⁴⁹ Грамматическая структура корейского языка имеет много общего с эламским и еще более — с шумерским. Разумеется, что отсюда не вытекает родство этих языков. Вообще аналогии древневосточным языкам в отношении грамматического строя можно найти не в одних кавказских языках.

наличии известного сходства структурных принципов языка, нет языкового родства.

Правомерно ли в данном случае говорить, скажем, не о семье, а о «круге» языков, и чем объясняется известное структурное сходжение неродственных языков — вопросы, которые подлежат решению лингвистов-теоретиков. Нам важно лишь установить, что родства в обычном его понимании нет.

Конечно, и сравниваемые с древневосточными кавказские языки также представляют не менее четырех групп, настолько резко различающихся между собой по грамматическому строю, что для некавказоведа они кажутся не ветвями одной семьи, а, скорее, несколькими автономными семьями, между которыми прощупывается лишь родство некоего высшего порядка (поскольку возможно предполагать, что родство, устанавливаемое сейчас лишь в пределах отдельных семей, может быть в дальнейшем прослежено и между семьями). Но если в отношении кавказских языков все же намечаются известные закономерные фонетические и лексико-морфологические соотношения и на очередь ставится составление сравнительно-исторических грамматик (сначала для отдельных групп, а затем и для всех кавказских языков), то для языков Древнего Востока об установлении подобных соотношений пока не приходится думать. Наличный материал недостаточен не только для сравнительно-исторических изысканий, но и вообще для чего-либо большего, чем произвольные и гадательные сопоставления, которые могут лишь запутать вопрос и задержать, а не двинуть вперед развитие науки. На очереди стоит, конечно, лишь конкретная разработка древневосточных языков, а не построение априорных генетических схем⁵⁰.

Если расхождение между отдельными группами «хеттско-иберийских» и в том числе кавказских языков — лишь «...результат сложного исторического пути, пройденного в своем развитии этими языками»⁵¹, восходящими, однако, к общей основе, то, чем дальше вглубь времен, тем меньше должно быть расхождение и тем больше общности; это, однако, отнюдь не наблюдается.

Если учесть историческую сторону дела, то станет ясно, что даже труд но ожидать образования в древней Передней Азии больших, широко распространенных языковых семей с четкими генеалогическими соотношениями.

Главной исторической предпосылкой образования языковых семей⁵² является, в условиях первобытно-общинного, родо-племенного строя, фи-

⁵⁰ Крупнейший исследователь кавказских языков А. С. Ч и к о б а в а указывает (см. «Введение в языковедение», ч. I, М., 1952, стр. 227), что «попытки сближения с иберийско-кавказскими языками азиатических языков... пока что лишены, к сожалению, должного методического обоснования...» (т. е. общность иберийско-кавказских языков с древневосточными пока ничем не доказана), но в то же время заранее считает, что основная задача кавказоведов — в том, чтобы «...показать историческую общность хеттско-иберийского языкового мира ...п о к а з а т ь генетическую связь грузинского и других иберийско-кавказских языков с древними языками Передней Азии» (см. статью А. С. Ч и к о б а в а «Сталинское учение о языке и наши задачи в области сравнительно-исторического языковедения», цитировавшуюся в указанной выше работе Е. А. Бокарева (см. «Вопросы языковедения», 1954, № 3, стр. 51); разрядка моя. — И. Д. I. Но не подкашивается ли здесь решение прежде, чем рассмотрены свидетельства? Не предвосхищается ли желаемый, но еще ничем не гарантируемый результат исследования? А что, если эта общность не будет обнаружена?

⁵¹ А. С. Ч и к о б а в а, Введение в языковедение, ч. I, стр. 223.

⁵² На необходимость учитывать конкретную историческую обстановку языкового развития указывал еще М. Г. Д о л о б к о в в статье «Основная языковая закономерность коммунизма родовой стадии» (сб. «Советское языковедение», I, Л., 1935). В этой, несмотря на отдельные неприемлемые положения, весьма замечательной для своего времени статье автор, как известно, выступал против метафизико-идеалистического, каутскианского положения Н. Я. Марра о развитии языков «от множества к единству».

лиация племен. Но дело тут не только в том, что характерная для данной формации филиация племен ведет и к филиации языков, которую можно изобразить в виде генеалогического древа. Для того чтобы дело происходило таким образом, необходима еще одна предпосылка: подвижность разделяющихся племен. Проще всего это для кочевников, которым, к тому же, легче и естественнее поддерживать связь между далеко расселившимися филированными частями первоначального племени. Естественно, что у кочевников и у народов, недавно перешедших к оседлости, генеалогическая связь языков будет наблюдаться наиболее четко, а степень взаимопонимания отпочковавшихся племен долго будет велика (сошлемся на семитов, на тюркоязычные народы, на народы—носители иранской ветви индоевропейских языков: последние на огромном пространстве от Дуная до Индийского океана говорили в древности на весьма близких между собой языках). В разной степени и форме возможны отселение и генеалогическая филиация племен и их языков и при разных других видах производства, например, у лесных, охотничьих и подсечно-земледельческих племен. Большое значение имеет тот факт, что кочевые и лесные племена обычно расселяются за счет не освоенных или мало заселенных территорий, при наличии же старых насельников—иногда полностью вытесняют их, и лишь в незначительной мере поглощают их в своей среде.

Однако для собственно земледельческих племен отселение, а равно и регулярное поддержание связей между племенами представляет уже значительные трудности. В особенности это касается племен в районах древнего, прежде всего ирригационного (как речного, так и горно-ручьевого) земледелия⁵³. Здесь всякое передвижение населения возможно только в пределах определенных, уже и ранее густо населенных территорий. В результате происходит наслоение разноязычных групп населения на одной и той же территории⁵⁴, и в то же время наблюдается длительно изолированное языковое развитие в пределах замкнутых земледельческих очагов

Как показывают антропологические данные, вытеснения коренного населения здесь обычно не происходит, и оно остается по своему составу, в основном, прежним, независимо от победы того или иного языка. Складывающееся в этих условиях продолжительное (нередко в течение многих столетий) двуязычие приводит к унаследованию от перодогвенных языков их фонетических и синтаксических систем, а также многообразных элементов лексики. Образование территориально широко разбросанных языковых семей затруднено; генеалогические связи становятся менее четкими, а иной раз и вовсе недоступны выявлению, зато усиливаются «межсемейные» языковые связи и роль субстратов. Само собой разумеется, что победа одного языка над другим и здесь ведет к сохранению морфологического каркаса и основного словарного фонда языка-победителя; однако можно проследить — даже в пределах уже установленных языковых семей, — что чем раньше на данной территории население перешло к земледельческой цивилизации, тем больше наблюдается своеобразия в соответствующих языках (прежде всего, в фонетике, в общем словарном запасе, в синтаксисе) и тем труднее проследить генеалогические отношения.

Как мы уже указывали, вся масса исторического, археологического, этнографического и антропологического материала указывает на генетиче-

⁵³ Напомним, что оседлое земледелие на Ближнем Востоке восходит еще ко временам мезолита.

⁵⁴ Следует при этом еще отметить, что сопротивляемость языка ассимиляции растет вместе с общественным развитием и возникновением национального самосознания. В древнейшие периоды эта сопротивляемость иногда бывает еще довольно слаба.

ские связи большинства современных народов Ближнего Востока, в особенности народов Закавказья, с народами Древнего Востока. Несомненно, что выявление тех или иных связей лингвистического характера между несемитскими и неиндоевропейскими языками Древнего Востока, с одной стороны, и кавказскими языками, с другой, представляет важную и интересную задачу. Но тем не менее нам кажется бесспорным вывод, что при существующем уровне развития науки положение о единстве всех этих языков носит априорно-декларативный характер⁵⁵. На очереди стоит разработка вопросов условий их развития; в дальнейшем предстоит задача — выявить наличие или отсутствие связи между каждым в отдельности из языков древней Передней Азии и кавказскими, в том числе установить, имеется или нет в каком-либо случае генетическое родство. Но нельзя и сходить (как из данного) из того, что, возможно, лишь будет (или не будет) установлено в результате такого исследования.

⁵⁵ И уже во всяком случае, рано давать название «кругу» или семье языков, само единство которых весьма и весьма сомнительно. Это — опять-таки предвосхищение результата исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ СТИЛИСТИКИ

А. В. ФЕДОРОВ

В ЗАЩИТУ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ СТИЛИСТИКИ

Одно из важнейших достижений советской филологии — утверждение принципа историзма в подходе к разнообразным языковедческим проблемам, в том числе — к проблемам стилистики. Сама стилистика как научная языковедческая дисциплина сложилась в нашей стране совсем недавно, а методологическая основа, на которой она развилась и окрепла, определила и принципиальное ее отличие от концепций зарубежной филологии. Одним из характерных отличительных моментов нашего подхода к проблемам стилистики является именно принцип историзма.

Три десятилетия тому назад Шарль Байи в своем «Трактате о французской стилистике» — труде, характерном для общелингвистических концепций школы Ф. де Соссюра, — отрицал возможность исторического изучения стилистических явлений. «Что существует историческое языкознание, — писал он, — это само собою разумеющаяся истина; стилистика же не может быть исторической в том смысле, как обычно понимается этот термин в применении к языку, т. е. основанием для ее исследований не могли бы служить ни факты, поддающиеся наблюдению, взятые в отдельности, ни даже целые комплексы фактов... Говорящий субъект, непосредственно пользующийся своим родным языком, всегда осознает лишь определенное его состояние, но отнюдь не его эволюцию или перспективу во времени»¹.

Работы советских филологов (В. В. Виноградова, Л. А. Булаховского, Г. О. Винокура), посвященные исследованию русского литературного языка в его сложных стилистических функциях, в его связях с творчеством писателей, а также изучению индивидуального стиля в его отношении к развитию литературного языка, показали пример того, как путем привлечения разнообразных объективных данных известное языковое явление может быть освещено со стороны той роли, которую оно играло в системе определенного стиля. Как позволяют судить памятники литературы, деловой письменности, отражение устной разговорной речи в составе литературных произведений, само развитие языка непосредственно связано с изменениями в стилистической роли и оттенках отдельных языковых элементов. Совершенно прав Р. Г. Пиотровский, когда отмечает, что «стилистические нормы языка изменяются неизмеримо быстрее, чем звуковая система языка, его словарный состав и тем более грамматический строй»². Но следует подчеркнуть, что само изменение всех этих сторон языка происходит в формах смены стилистических систем или смены

¹ Ch. B a l l y, *Traité de stylistique française*, vol. I, 2-e éd., Heidelberg, 1921, стр. 21.

² Р. Г. П и о т р о в с к и й, О некоторых стилистических категориях, «Вопросы языкознания», 1954, № 1, стр. 55.

отдельных стилистических оттенков, если понимать под стилем систему конкретного использования языка (во взаимодействии всех его элементов) и вместе с тем средство, выражающее отношение говорящего или пишущего к содержанию высказывания в определенной ситуации.

Тезис о необходимости исторического принципа в стилистике сформулирован и в статье Ю. С. Сорокина «К вопросу об основных понятиях стилистики»³. Однако этот тезис не только не находит здесь никакого развития, но, напротив, опровергается всем ходом изложения автора. Отрицая существование «стилей языка» в составе современного русского языка (начиная с Пушкина), Ю. С. Сорокин видит причину этого в высокой степени развитости языка и не отрицает существования «стилей» в более ранние периоды⁴. Таким образом, предполагается, что за промежуток времени, отделяющий Пушкина от Ломоносова, ликвидировались, исчезли, растворились друг в друге стили русского литературного языка. Это положение противоречит объективным данным исследований по истории русского литературного языка и по языку и стилю отдельных писателей, — исследований, которые убедительно и плодотворно оперируют вполне реальным понятием разных языковых стилей как систем, сосуществующих в пределах русского языка на различных этапах его развития и в разных сочетаниях используемых писателями в их произведениях.

Разумеется, не приходится говорить о каком-либо едином стиле новой, новейшей или современной художественной русской (и не только русской) литературы как о четко отграниченной и замкнутой системе. В этом отношении мысли Ю. С. Сорокина, равно как и Р. Г. Пиотровского, не вызывают возражений. Но в отличие от Р. Г. Пиотровского, Ю. С. Сорокин отвергает целесообразность разграничения стилистики литературоведческой и стилистики лингвистической. Это непосредственно связано с отрицанием стилей языка: снимая грань между двумя видами стилистики, Ю. С. Сорокин как бы распространяет на всю область языка положение, справедливое применительно к языку художественной литературы, где, правда, широко используются отдельные стили языка (или хотя бы их элементы), но где нет своих особых языковых стилей, а есть только стили индивидуальные. Это косвенно подтверждается и тем, что Ю. С. Сорокин связывает существование стилей языка в XVIII в. с именем Ломоносова, т. е., по видимому, с теорией трех штилей, имеющей, правда, общелингвистическое содержание, но точнее всего отражающей фактическое состояние именно языка художественной литературы XVIII в.

Статья Ю. С. Сорокина не богата фактическим материалом, исторически мало аргументирована. Между тем подтверждение негативного положения всегда представляет большие трудности, и доказательство положения об отсутствии стилей языка в наше время, об их исчезновении ко времени Пушкина требовало бы приведения убедительных фактических данных, исследовательского показа хотя бы некоторой части исторического материала. Этого, однако, нет. Принцип историзма, вернее ссылка на характер развития русского литературного языка, на исчезновение (не на видоизменение и усложнение, а именно на исчезновение) языковых стилей в ходе этого развития используется автором голословно для подтверждения того, что в современном русском языке языковых стилей не существует. Но положение, на которое ссылается Ю. С. Сорокин для доказательства основного тезиса, как мы уже сказали, само нуждается в доказательстве.

³ «Вопросы языкознания», 1954, № 2.

⁴ См. там же, стр. 81.

Своеобразием стилистической концепции Ю. С. Сорокина является отрицание понятия «стиль языка» во всех его вариантах, отрицание «стиля языка» как реально существующей системы языковых средств, используемых с определенной функциональной направленностью. Ю. С. Сорокин признает существование лишь «стилей речи» как индивидуально конкретных, не требующих обобщения и, повидимому, не поддающихся обобщению, систем пользования языком. Таким образом, по мнению Ю. С. Сорокина, между общенародным языком и языком литературным, с одной стороны, и стилем речи, т. е. стилем индивидуальным (будь то стиль писателя, журналиста, вообще — всякого говорящего или пишущего), с другой, нет никаких промежуточных категорий.

Невозможность проследить и признать такие промежуточные звенья связана для Ю. С. Сорокина, очевидно, с невозможностью найти типичные и повторяющиеся черты в бесконечно разнообразных речевых стилях, объединить эти речевые стили в более общие группы. Дело, конечно, не в термине самом по себе — «стиль языка» или «стиль речи»; между этими двумя обозначениями есть даже некоторая синонимическая связь: «стиль языка» мог бы быть назван и «языковым» или «функционально-речевым стилем» (имея в виду общность черт, свойственных разным формам пользования языком в связи с их близостью по функции, одинаковостью условий или обстановки⁵). Вопрос именно в содержании, которое Ю. С. Сорокин вкладывает в понятие «стиль речи», ограничивая его областью конкретно-единичного, делая упор на многообразии его проявлений, отвергая возможность обобщения, подчеркивая неудовлетворительность сделанных попыток описать «стили языка». При этом индивидуальное своеобразие стилей, которое трудно переоценить, когда мы говорим о художественной литературе и об особенностях авторской манеры (хотя и здесь фактически используются типические черты общеязыковых или, по нашей терминологии, функционально-речевых стилей), оказывается явно преувеличенным по отношению к таким разновидностям, как официально-деловой, или газетно-информационный, или даже научный стиль. Ведь совершенно ясно, что индивидуальность пишущего сказывается в чрезвычайно слабой степени, а фактически часто бывает равна нулю в таких жанрах письменной или книжной речи, как деловая бумага, техническая или служебно-административная инструкция, информационное сообщение в газете, даже передовая, что индивидуально-стилистическое здесь отстает (иногда полностью) перед стандартом, или нормой, или хотя бы основной тенденцией данного речевого стиля⁶.

Наряду с упразднением понятия «стиль языка», другим новшеством, предлагаемым в статье Ю. С. Сорокина, является деление стилистики на

⁵ В целях чисто стилистического удобства автор этих строк предпочитал бы пользоваться термином «функционально-речевой стиль» (или даже просто «речевой стиль») во избежание таких сочетаний, где слишком часто сталкивались бы слово «язык» и образованное от него относительное прилагательное [ср., например, заглавие статьи Н. Н. Амосовой в «Вестнике Ленингр. ун-та» (1951, № 5): «К проблеме языков в их стилях в английском языке в связи с учением И. В. Сталина об общенародном характере языка»; разрядка наша. — А. Ф.].

⁶ Автором этих строк сделан опыт описания или характеристики основных языковых признаков отдельных видов или жанров книжно-письменного материала — от официально-делового до художественно-литературного, причем многие виды материала (такие, как газетная информация, специальная научная литература, деловой документ, даже газетная передовая) соответствуют и определенному речевому стилю, другие же представляют слияние нескольких стилей на основе устно-разговорного или книжно-письменного начала в их «чистом» виде или их сочетания в той или иной пропорции (См. А. В. Федоров, Основные вопросы теории перевода, «Вопросы языкознания», 1952, № 5, стр. 8—12; его же, Введение в теорию перевода, М., 1953, стр. 196—205.)

«аналитическую» и «функциональную» взамен широко принятого до сих пор деления ее на стилистику лингвистическую и литературоведческую. Членение стилистики на «аналитическую» и «функциональную» означает, что должны изучаться, с одной стороны, отдельные стилистические элементы языка в их взаимоотношениях и соответствиях (т. е. в синонимических связях) и область их применения, а с другой стороны — их функции с точки зрения разных возможностей взаимодействия в конкретных контекстах.

Такое деление представляется крайне искусственным и внешним. Теоретической предпосылкой его является отрыв функции от ее носителя — конкретного языкового элемента или отрыв языкового элемента от функции. Впрочем и эта предпосылка реализуется не до конца: как можно говорить об определении «границ общенародного употребления слов и форм языка при определенном состоянии его синонимической системы»⁷, отвлекаясь от конкретного функционирования этих слов и форм в разных контекстах, в разных стилях речи?

Из предложенного Ю. С. Сорокиным деления стилистики может быть сделан лишь вывод о необходимости существования единой стилистики как лингвистической науки. В этом отношении мысль Ю. С. Сорокина безусловно заслуживает самого серьезного внимания: он правильно вскрывает то несоответствие, которое существует между содержанием стилистики лингвистической, с одной стороны, и так называемой литературоведческой стилистики, с другой. В том виде, как дается, например, разграничение между этими двумя дисциплинами в «Очерках по стилистике русского языка» А. Н. Гвоздева, оно сбивчиво и, как правильно отмечает Ю. С. Сорокин, отражает отождествление или смешение лингвистической стилистики с семасиологией, а литературоведческой стилистики — со стилистикой лингвистической. Вместе с тем, хотя стилистика литературоведческая обычно определяется как часть науки о литературе, как отдел поэтики, она не может не быть лингвистичной. Основные удачи советских филологов в их исследованиях о языке и стиле отдельных писателей достигнуты на лингвистической основе. Отсутствие лингвистической основы грозило бы литературоведческой стилистике весьма реальной опасностью — превратиться в совокупность беспредметных рассуждений о «приемах» и «образах» вне их языкового выражения, или — что не лучше — в описание образов «своими словами» либо — в более благоприятном случае — словами самого автора, или, наконец, в ряд импрессионистических характеристик и оценок. С другой стороны, так называемая лингвистическая стилистика широко пользуется материалом художественной литературы, рассматривая его, правда, в общезыковом разрезе. Таким образом, для противопоставления литературоведческой и лингвистической стилистик с точки зрения как метода, так и материала по всей видимости нет основания. Однако, если нет основания для противопоставления, то значит ли это, что нет основания для разграничения?

Между стилем функционально-речевым и индивидуально-литературным авторским стилем при всей их качественной разнице (об этом ниже), как нам представляется, нет непроходимой пропасти. Во-первых, в стиле литературного произведения используются, по-разному сочетаясь, различные функционально-речевые стили общенародного языка. Во-вторых, стиль функционально-речевой и стиль индивидуально-литературный имеют целый ряд общих признаков: и тут и там — определенный отбор элементов языка, наличие системы, организующего принципа в этом отборе и сочетании элементов, далее — осязательность степени при-

⁷ Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 82.

вычности или непривычности данного сочетания по отношению к норме общенародного языка или к сложившейся традиции данного стиля, наличие конкретизирующих или даже индивидуализирующих черт, выделяющих данную речь на фоне общенародного языка, в ряде случаев — конкретизация образа говорящего или пишущего, наконец — факт гораздо более быстрой изменчивости, подвижности, меньшей устойчивости по сравнению с языком в целом⁸.

С точки зрения таких общих признаков стилей функционально-речевого и индивидуально-литературного рассмотрение их в рамках одной лингвистической дисциплины казалось бы оправданным. Смысл предлагаемого Ю. С. Сорокиным деления стилистики состоит именно в том, чтобы все многообразие синонимических ресурсов языка и их функционального использования могло изучаться вместе, в одном лингвистическом плане, хотя бы и в двух отдельных аспектах (состава и функций).

Однако Ю. С. Сорокин не учитывает признаков различия между стилем функционально-речевым и стилем индивидуально-литературным. На недооценку этого факта Ю. С. Сорокиным уже обратил внимание Р. Г. Пиотровский, подчеркнув специфику использования языка в художественной литературе как искусстве⁹. К соображениям, высказанным Р. Г. Пиотровским, надо добавить еще и следующее.

Если справедливо положение о том, что «основной предпосылкой для лингвистической постановки вопроса о стиле является проблема отношения средства выражения к выражаемому содержанию»¹⁰, то из него следует вывод также и в отношении стилистики литературоведческой (если придерживаться принятого до сих пор термина), поскольку последняя строится на лингвистической основе и ставит вопрос о стиле лингвистически.

Выражаемое средствами языка содержание, в том числе и содержание литературного произведения, само по себе не служит и не может служить предметом изучения для той или иной лингвистической дисциплины, в том числе и для стилистики. Предметом исследования стилистики является именно о т н о ш е н и е средства выражения к выражаемому содержанию. И именно в этом разрезе содержание, которое может черпаться из самых разнообразных сфер действительности, становится объектом внимания языковеда.

Само содержание, хотя бы и выражаемое средствами языка, представляет категорию нелингвистическую, но язык с этой категорией соотносится, неразрывно связан с нею, и состав языковых средств (слов в прямых вещественных значениях или в значениях переносных, грамматических конструкций и т. д.) в том или ином речевом стиле или в индивидуальном стиле автора зависит от содержания и от характера отношения к нему со стороны говорящего или пишущего. Поэтому стилистика не должна и не может отвлекаться от содержания высказывания (как это, например, возможно в фонетике); ориентирами для стилистики не могут служить только формальные приметы (например, принадлежность слов к определенной части речи, типы предложений, параллелизмы или контрасты между ними и т. д., наличие архаизмов, неологизмов, варваризмов и т. п., употребление слов в прямом или переносном значении). В стилистике отказ

⁸ Подробнее об этом см. в моей статье «О понятии стиля в языкознании» (сб. «Вопросы германской и романской филологии», Л., 1954).

⁹ См. Р. Г. Пиотровский, указ. статья, стр. 66—68.

¹⁰ В. В. Виноградов, Содержание и задачи курсов по языковедческим дисциплинам в свете работ И. В. Сталина по языкознанию, сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина», [М.], 1950, стр. 198.

от изучения роли содержания, от различных форм соотношения с ним языковых средств так же неуместен, как, например, отказ от изучения значений слова в лексикологии.

Роль содержания как господствующего и объединяющего начала во всяком высказывании необыкновенно велика также и с точки зрения жанрово-стилистической. Если бы не роль содержания, то всякого рода отступления от основной стилистической линии (например, использование фамильно-разговорных элементов в полемически-иронических целях в составе специального научного труда) несомненно нарушали бы единство изложения, вносили бы резкий диссонанс. Между тем мы нередко видим, — в частности, в трудах классиков марксизма-ленинизма, — как введение языковых элементов, контрастирующих с обычным тоном научного изложения, не разрушает стилистического единства, а создает новое, более сложное органическое единство, нужный — и часто очень острый — смысловой эффект. Контраст при этом не перестает быть контрастом и ощущается на фоне научного стиля изложения как яркое проявление индивидуальности автора.

В связи с тем, что было сказано о месте содержания в системе понятий стилистики, становится ясным различие задач и объема исследования стилистики лингвистической и литературоведческой.

В функционально-речевых стилях, являющихся объектом изучения лингвистической стилистики, отношение средств выражения к выражаемому содержанию отличается определенным единообразием, устойчивостью для значительного по объему материала и вместе с тем часто может быть установлено на основании небольшого отрывка, поскольку здесь и небольшой отрывок показателен для целого. В индивидуально-литературных стилях — предмете исследования стилистики литературоведческой — это отношение может отличаться чрезвычайным разнообразием внутри одного произведения.

В стилях функционально-речевых содержание часто, так сказать, «локализуется» в рамках определенной ситуации (например, в деловом или дипломатическом документе) или намечается в связи с характером научной темы, как бы значительна она ни была сама по себе и как бы обширен ни был труд, ей посвященный. В стилях художественной литературы содержание, отражая во множестве образов многообразие действительности, вырисовывается в масштабе всего произведения и раскрывается в смене и чередовании различных функционально-речевых стилей, привлекаемых автором, в сочетании различных языковых средств. Тем самым стилистическая роль отдельного языкового средства в составе художественного произведения определяется лишь по отношению к обширному целому. Так, например, роль просторечия в начале и в конце «Стихов о советском паспорте» Маяковского никак не может быть определена в масштабе первых четырех или восьми заключительных строк стихотворения. Взятое само по себе, просторечие здесь — только просторечие; его стилистическая, т. е. художественно-смысловая, роль определяется лишь по отношению к содержанию всего стихотворения: оно, именно как просторечие, по контрасту еще более усиливает и подчеркивает патристический пафос знаменитого стихотворения. Связь с содержанием произведения в целом наделяет иногда некоторые (конечно, далеко не все) слова добавочными значениями, заставляет воспринимать их в более сложной и глубокой перспективе. И, напротив, примеры отдельных словосочетаний и предложений из художественной литературы, используемые вне контекста в пособиях по стилистике, неизбежно теряют эту перспективу, утрачивают свою художественно-смысловую насыщенность, оказываются обедненными, ибо они замкнуты в узкие рамки и могут служить только

для иллюстрации какого-нибудь отдельного явления, интересующего лингвистическую стилистику и характерного для того или иного функционально-речевого стиля.

Можно сказать, что индивидуальные стили художественной литературы отличаются от стилей функционально-речевых: 1) широкой идеологической обусловленностью; 2) особым богатством языковых средств, выражающих отношение автора или героев к содержанию высказывания; 3) использованием и сочетанием элементов различных функционально-речевых стилей общенародного языка на основе объединяющего их идейно-художественного принципа; 4) исключительной качественной сложностью этого сочетания и особым разнообразием составляющих его частей (в том числе черпаемых за пределами общенародного языка диалектизм, варваризм, иногда — жаргонизм, архаизм и т. п.), а тем самым — ярким индивидуальным своеобразием. Отсюда и большая трудность, для каждого конкретного случая, в поисках и определении принципа, объединяющего все многообразие языковых средств литературного произведения. И эти поиски, весь путь исследовательской работы по определению данного принципа возможны только на основе лингвистического анализа рассматриваемых фактов.

Разумеется, этот анализ мыслится как всесторонний, охватывающий явления, относящиеся ко всем сферам языка — фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, в той мере, в какой они характеризуют индивидуальную специфику их отбора и использования автором. Звуковая сторона языка в громадном большинстве случаев, за исключением поэзии, где закономерностью является чередование языковых единиц разной силы и где нередко наблюдается преимущественное использование определенных звуков, многократно повторяемых, — представляется наиболее нейтральной с точки зрения возможностей индивидуально-характерного ее использования. Отбор определенных грамматических средств (предпочтение тех или иных форм, типов предложения, соотношений между ними) так или иначе всегда характеризует индивидуальный стиль писателя; но всего ярче и непосредственнее индивидуальность писателя сказывается в области лексики, где в некоторой, пусть слабой степени возможно новотворчество, в сфере фразеологии и особенно — в сфере сочетания слов, где для новых и неожиданных связей между отдельными элементами словарного состава открывается исключительный простор.

Несмотря на безграничность, казалось бы, многообразие возможных сочетаний, допускающих самые неожиданные связи и столкновения слов (ср., например, у Маяковского в «Стихах о советском паспорте» — «с двухспальным английским лёвою», «краснокожую паспортину» и др.), весь этот круг явлений нельзя относить к области абсолютного авторского «произвола» или «новотворчества»: последнее, с одной стороны, ограничивается некоторыми лексическими нормами словосочетаемости, с другой стороны, требует мотивировки широким контекстом произведения, общими принципами его построения, допускающими, например, большие контрасты в чередовании стилистических окрасок, и контекстом более узким, т. е. предметом данного конкретного высказывания, его вещественным содержанием. Как бы то ни было, именно здесь — в вопросе о словосочетаемости, о возможностях соединения и сочетания слов с точки зрения их семантики и стилистической окраски, — широкое, еще почти нетронутое поле для исследования в разрезе литературоведческой стилистики на основе стилистики общенародного языка; только эта последняя может дать надежный критерий для выявления новизны, свежести тех или иных сочетаний и для суждения об их оправданности.

В плане литературоведческой стилистики как дисциплины, имеющей

лингвистическую основу, раздел о словосочетаемости приобретает особую важность еще и потому, что именно в нем — место для рассмотрения вопроса о тропах, явлении столь важном для характеристики индивидуально-художественных стилей. Учение о тропах в том виде, как оно обычно дается до сих пор в пособиях по теории литературы, — едва ли не самый архаический по своим традициям раздел стилистики. Классификация и характеристика тропов строится обычно на признаках не столько языкового, сколько предметно-логического характера: вместо слов, как категории лингвистической, здесь часто анализируются обозначаемые вещи или понятия — вне специфики семантических оттенков или стилистических окрасок, свойственных словесному обозначению этих вещей или понятий в данном национальном языке.

*

Следует подвести некоторые итоги. Хотя нет оснований для ретивого предложения стилистики лингвистической и стилистики литературоведческой и хотя обе эти дисциплины частично затрагивают общий материал, р а з г р а н и ч е н и е все же возможно и нужно. Поскольку художественная литература оперирует материалом общенародного языка, который здесь, правда, несет специфические функции, постольку стилистика литературоведческая в той мере, в какой ее основа лингвистична, образует как бы особую область в пределах стилистики лингвистической, внутри ее, но на грани с областью литературоведения. Правильнее, пожалуй, было бы говорить о стилистике общенародного языка, с одной стороны, и о стилистике художественной речи, или о стилистике языка художественной литературы, с другой. При такой номенклатуре характер их соотношения становится более ясным.

В круг задач стилистики художественной речи должно войти рассмотрение вопросов стиля не только художественной литературы, но и таких произведений общественно-политической литературы, публицистики, ораторской речи, которые по характеру сочетания в них элементов разнообразных функционально-речевых стилей, по богатству смысловых оттенков, по яркой индивидуальной окраске, наконец, по широте своей идеологической обусловленности родственны именно художественной литературе. Эту ветвь стилистики — стилистику художественной речи — с «функциональной стилистикой» Ю. С. Сорокина будет сближать одна особенность — необходимость считаться с чрезвычайным многообразием различных случаев отбора, выбора и использования языковых средств, с гораздо большей трудностью обобщения и рубрификации, чем в стилистике общенародного языка.

Стилистику художественной речи (иначе — литературоведческую стилистику) мы в праве считать реально существующей научной дисциплиной, поскольку она представлена серьезными и глубокими исследованиями о языке и стиле отдельных писателей. Но систематического обобщающего труда или пособия в этой области, даже попытки обобщения — вроде, например, «Очерков по стилистике русского языка» проф. А. Н. Гвоздева, посвященных разработке стилистики языка общенародного, — мы еще не видели: ведь нельзя считать подобными попытками то немногое, что дается, притом в очень рутинной форме, в учебниках по теории литературы, в главах или разделах, посвященных «стилистике» или «языку художественных произведений».

Обобщающий труд по стилистике художественной речи — дело будущего и, может быть, даже не очень близкого. Создание такого труда во многом зависит от успешной разработки вопросов стилистики общена-

родного языка и от дальнейших специальных исследований о стиле писателей. Контуры этого будущего труда еще туманны. Ясно, повидимому, то, что начало его составит углубленная разработка понятия функционально-речевых стилей общенародного языка в связи с их использованием в языке художественной литературы, уточнение понятия стилистической окраски языковых элементов; отправляясь от этих понятий, уточненных и углубленных, можно будет исследовать и обобщить различные типы авторского повествования и речи героев и на их фоне выявить функциональное значение отдельных языковых средств, по-разному применяемых в разных контекстах. Ясно и другое: такой труд должен быть историчен. Историческая обусловленность языковых и, в частности, стилистических явлений, изменение стилистической окраски одних и тех же элементов выступает особенно ярко при наблюдениях над материалом художественной литературы. Отсюда — особая важность прослеживания всех путей стилистического развития языка художественной литературы в творчестве отдельных писателей, в деятельности школ и направлений, необходимость изучать даже самые тонкие оттенки языковых средств в их постепенных изменениях. Но отсюда же — серьезные трудности и опасности работы, состоящие в том, что внимание исследователя может расплыться, что многообразие частных может помешать обобщению. В преодолении этих трудностей огромную помощь исследователю должно оказать понятие стилей языка (или — в нашем понимании — функционально-речевых стилей) — категории, которая, вопреки утверждению Ю. С. Сорокина, не перестала существовать, а развивалась и развивается вместе с русским общенародным языком.

В. Д. ЛЕВИН

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТИЛИСТИКИ

Пафос статьи Ю. С. Сорокина¹ «К вопросу об основных понятиях стилистики»¹ направлен на отрицание объективного существования в условиях развитого национального языка языковых стилей как определенных систем средств выражения, обладающих семантической и экспрессивной замкнутостью и характеризующихся своими языковыми приметам. Таким образом, Ю. С. Сорокин пытается ликвидировать основное понятие стилистики как лингвистической дисциплины. Если быть последовательным до конца, то такая точка зрения должна привести к ликвидации самой этой дисциплины, теряющей свой объект исследования. Ведь нельзя же всерьез говорить о том, что предметом стилистики должен стать каждый отдельный контекст, каждое отдельное высказывание в его своеобразии и неповторимости. Изучение лишь единичных фактов и явлений, без их обобщения, никогда не может создать научной дисциплины. Между тем — хотел этого автор статьи или не хотел — объективный смысл его рассуждений именно таков: поскольку объектом стилистики объявляется стиль индивидуального высказывания, постольку в концепции Ю. С. Сорокина не оказывается той стилистической категории, которая могла бы объединить, систематизировать все «конкретное многообразие стилистических применений элементов языка».

Положение Ю. С. Сорокина об отсутствии языковых стилей подверглось справедливой критике в статьях Р. Г. Пиотровского, Р. А. Будагова, И. Р. Гальперина, В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, напечатанных в журнале «Вопросы языкознания»². Однако не всё в этой критике удовлетворяет. Так, Р. А. Будагов, отстаивая реальное существование стилей языка, основное свое внимание сосредоточивает на том, каковы функции выразительных средств языка в том или ином языковом стиле. Поэтому он смог, в самой общей форме, указать на своеобразии лишь «стиля художественного повествования» (принадлежность которого к языковым стилям вообще сомнительна, о чем — ниже), отграничив его от стилей нехудожественных, которые берутся при этом нерасчлененно, недифференцированно. Своеобразие этих последних, лингвистическое содержание их остается нераскрытым.

Одним из основных понятий стилистики как лингвистической дисциплины является понятие стилистической окраски языковых элементов: слов, выражений, форм, конструкций. Понятие стиля языка и понятие стилистической окраски языковых элементов не только соотносительны, но и немислимы одно без другого. Нельзя, как это делает Ю. С. Сорокин, признавать наличие у языковых явлений стилистической окраски и одновременно отрицать

¹ «Вопросы языкознания», 1954, № 2.

² См.: Р. Г. Пиотровский, О некоторых стилистических категориях (1954, № 1); Р. А. Будагов, К вопросу о языковых стилях (1954, № 3); И. Р. Гальперин, Речевые стили и стилистические средства языка (1954, № 4); В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, Отбор языковых средств и вопросы стиля (1954, № 4).

существование стилей языка. Ведь стиль языка как лингвистическая категория представляет собой совокупность обладающих определенной окраской языковых средств, которые образуют здесь цельную, законченную систему. Тот или иной языковой стиль существует постольку, поскольку можно в языке выделить такие факты, которые обладают данной стилистической окраской (это не исключает того, что в характеристику стиля языка входят и негативные признаки, а также и сами способы, принципы объединения и организации языкового материала); с другой стороны, определение стилистической окраски элементов языка означает не что иное, как их отнесение к тому или иному языковому стилю. Не следует поэтому бояться говорить об ограниченности и замкнутости языковых стилей. Ведь стилистическая окраска языкового элемента в каком-либо направлении неизбежно суживает сферу и возможности его употребления; следовательно, и стиль языка, как совокупность таких элементов, не может не оказаться определенным образом ограниченным и замкнутым. Замкнутость стиля означает лишь то, что ему, с одной стороны, свойственны определенные, составляющие его специфику языковые средства и, с другой стороны, не свойственны некоторые другие языковые средства, обладающие другими стилистическими качествами.

Отрицание замкнутости, ограниченности стиля (что неизбежно означает отрицание самих стилей) связано у некоторых исследователей с подменой стиля языка, т. е. определенного языкового типа, конкретной формой его реализации в отдельном высказывании, контексте или произведении — тем, что Ю. С. Сорокин называет «стилем речи» и неправоммерно объявляет единственной стилистической реальностью, заслуживающей изучения («функциональная стилистика»)³.

Но стиль отдельного высказывания или произведения письменности относится к стилю языка как частное к общему. Отмеченное в статье Ю. С. Сорокина недостаточно выдержанное соблюдение норм или особенностей стиля языка в стиле конкретного произведения не может, разумеется, служить основанием для отрицания объективного существования языковых стилей. Более того, тот факт, что эти отклонения с той или иной степенью отчетливости ощущаются, с несомненностью свидетельствует о наличии у нас представления об относительно устойчивых нормах стиля как внутренне организованной системы средств выражения. Употребление в произведении того или иного стиля несвойственного ему речевого факта всегда воспринимается как нечто чужеродное для него, как «цитата» из другого стиля. Это ощущение неорганичности, «цитатности» слова, выражения, формы может служить вполне объективным стилистическим критерием.

Отрицание стилей языка и замена их индивидуальными «стилями речи» связаны в статье Ю. С. Сорокина с неправильным, с моей точки зрения, представлением о соотношении контекста и стилистической окраски языковых элементов.

³ Смешение понятий «языковой стиль» и «стиль отдельного произведения или высказывания» обычно приводит к неточным или прямо ошибочным формулировкам. Характерно в этом отношении следующее рассуждение Ю. С. Сорокина. Обнаружив в отрывке из «Рефлексов головного мозга» И. М. Сеченова языковые «...признаки того, что обычно характеризуется как особый научный стиль языка», Ю. С. Сорокин замечает при этом, что «признаки этого особого «стиля» выступают эпизодически, их нужно выискивать в общем контексте, нарушая его индивидуальность, целостность, т. е. именно то, что и создает понятие стиля» (стр. 76; р а з р а д к а м о я. — В. Л.). Ясно, что здесь слово «стиль» употребляется в разных смыслах, причем в последнем случае именно как индивидуальный стиль, стиль данного произведения.

Ю. С. Сорокин развивает мысль о том, что «полная и конкретная стилистическая характеристика слова может быть дана только в контексте речи», что «реальная окраска» и «конкретное назначение» слова в речи определяется прежде всего его отношениями с другими словами в речи, «той смысловой перспективой, в которую слово оказывается „вдвинутым“ в каждом отдельном случае» (разрядка моя.— В. Л.). Другими словами, элементы языка — слова, выражения, формы — сами по себе лишены «реальной окраски» и приобретают ее каждый раз в зависимости от контекста. Очевидно, что вопрос о стилистической окраске слова подменен здесь вопросом о возможных выразительных функциях его в контексте. Не случайно поэтому «конкретное назначение» слова в контексте и его стилистическая окраска ставятся в один ряд. Характерен в этом отношении и один из приводимых в статье примеров: Ю. С. Сорокин отмечает, что устарелые слова типа *очи*, *чело* и т. д. «... в одних условиях могут быть реализованы как средства поэтически-возвышенной характеристики предмета.., в других — как средства иронически-сатирической его характеристики» (стр. 80). Но очевидно, что стилистическая окраска этих слов в обоих случаях одинакова, хотя и используется с различными целями; способность этих слов придавать высказыванию сатирическую окраску основана на тех же их стилистических качествах, что и их способность придавать высказыванию окраску «высокую», риторическую.

Организация контекста, действительно, определяет конкретные функции стилистически окрашенного языкового факта. Употребление разно-стильных элементов, например в художественном произведении, может играть различную роль: оно создает нарочитое, нередко комическое или сатирически заостренное столкновение и противопоставление; оно может служить и средством создания многопланового, «многоголосого» повествования, в котором стилистическая окраска слова, не выделяясь так ярко и отчетливо, как в первом случае, тем не менее активно участвует в создании общей стилистической характеристики целого. Ведь нельзя же забывать, что контекст не есть нечто заранее данное, в которое «вдвигается» тот или иной языковой элемент; что сам контекст конструируется из этих обладающих определенной стилистической окраской элементов языка. Так, объединение книжных и разговорных элементов в авторском повествовании в художественном произведении не только не является аномалией, но представляет собой скорее норму; одностороннее же преобладание тех или иных скорее воспринимается как искусственно-книжное повествование или как стилизация (бытовой сказ). Способы и приемы употребления тех или иных языковых средств у больших художников слова, особенно в переломные для истории литературного языка периоды, приемы организации повествования могут даже оказать влияние на стилистическую систему языка⁴, но может ли все это свидетельствовать о том, что в системе литературного языка определенной эпохи стилистическая окраска языковых элементов не самостоятельна, а зависит каждый раз от контекста?⁵

⁴ См., например, В. В. Виноградов, *Язык Пушкина*, М.—Л., 1935, стр. 173—174.

⁵ Разумеется, еще меньше могут поколебать положение о наличии у слов независимой от контекста стилистической окраски те примеры, где различная стилистическая характеристика связана с употреблением слова в различных его значениях или оттенках или в составе различных фразеологических оборотов. Ведь та или иная стилистическая окраска слова присуща нередко слову не во всех его значениях. Мне представляется в этой связи, что неверно интерпретирован в статье Ю. С. Сорокина пример со словом *водиться*. Автор считает, что разная стилистическая окраска этого слова в случаях типа *В реке водятся щуки* и *У батюшки Ипата водились деньги* обусловлена лишь

Преувеличение роли контекста неизбежно приводит к отказу от определения стилистической окраски языковых элементов, которая оказывается изменчивой и непостоянной. Такой взгляд на стилистическую окраску сродни попыткам отказать слову в значении на основании того, что значение реализуется только в контексте.

*

Как уже отмечалось выше, стилистическая окраска языковых средств ближайшим образом связана и соотносена со «стилем языка». Определив и описав разные типы стилистической окраски в каком-либо языке, мы тем самым определяем и систему стилей этого языка. В этой связи важно отметить, что стилистическая окраска языковых средств может исходить из разных признаков, и, соответственно этому, сами стили языка могут оказаться расположенными в разных плоскостях, разных планах. Отчетливо выделяются два ряда стилистических окрасок: стилистическая окраска, раскрывающая экспрессивно-эмоциональное содержание речи (экспрессивно-стилистическая окраска и, соответственно, экспрессивные стили языка), и стилистическая окраска, указывающая на область общественного применения языкового средства (функционально-стилистическая окраска и, соответственно, функциональные стили языка)⁶.

Экспрессивно-стилистическая окраска языковых средств, кажется, никем не оспаривается, и ее реальное существование ни у кого не вызывает сомнений. Что касается функциональных стилей, то бесспорным здесь признается только деление на книжную и разговорную разновидности языка; стили же книжной речи, связанные с тем или иным видом письменности — научной литературой, официально-деловой письменностью, публицистикой, ставятся нередко под сомнение или безоговорочно отрицаются, как это имеет место в статье Ю. С. Сорокина.

Ю. С. Сорокин прав, говоря о том, что в нашем языкознании нет удовлетворительного описания стилистической системы языка, не раскрыты языковые приметы тех или иных стилей. Но можно ли на этом основании утверждать, что таких примет вообще нет? Думается, что это неправомерно. Функционально-стилистическая окраска многих языковых средств очевидна. Так, нельзя отрицать наличия окраски официально-делового стиля у сложных предлогов типа *по линии, в части, в целях* и т. п., у сочетаний *за неимением, за отсутствием*, у союза *а равно* и др.; только в особом типе деловых документах (преимущественно, в дипломатических актах) встречаются своеобразные периоды, где выстраивается цепь обособленных оборотов, выделенных при помощи предлогов (например, *в целях*), причем каждый из таких оборотов обладает относительной законченностью и самостоятельностью. Можно назвать и много специфических слов, характерных для официально-делового стиля, например: *предписать, предписание* (не в значении «указание врача»), *предварить, вышеизложенный*; отглагольные существительные на *-ние*,

тем, что оно сочетается с разными словами. Между тем мы имеем здесь дело с различными значениями слова (которые в словаре под ред. Д. Н. Ушакова даны не расчленинно): в первом случае *водиться* — значит «жить, проживать» и употребляется только применительно к животным; во втором случае — «иметься, бывать» и употребляется более свободно; так, в сочетании *водится рыба* можно с некоторым усилием представить себе и второе из этих значений (например, *У хозяина водилась рыба, и мы часто заходили к нему пообедать*), и стилистическая окраска слова здесь будет та же, что и в сочетании *водились деньги*.

⁶ Поэтому вполне оправдано то, что стилистические пометы в словарях, в частности в словаре под ред. Д. Н. Ушакова, опираются на разные классификационные принципы (ср. Р. Г. П и о т р о в с к и й, указ. соч., стр. 62—63).

с отрицательной частицей: *невозвращение, ненахождение, неиспользование, несоблюдение* и т. д., *лицо* в значении «человек» (например, *посторонним лицам вход запрещен* и т. п.), названия людей по признаку, связанному с каким-либо действием или состоянием, например специфическое употребление слова *астор* в издательской документации, *абонент, анонсодатель, контрагент* и т. п. Официально-деловой стиль кое в чем смыкается с научным стилем. Например, общим для них является широкое употребление глагольно-именных конструкций типа: *подвергнуть обработке, наказанию; сделать попытку; оказать помощь; нанести удар, обиду; совершить кражу, нападение* и др.⁷ (ср.: *обработать, наказать, помочь, пытаться, ударить, обидеть, украсть, напасть* и др.).

Официально-деловой и научный стили объединяются некоторыми своими негативными признаками, которые противопоставляют их другим стилям. К таким признакам относится в первую очередь стремление избежать слов и выражений, на которых лежит печать переносного употребления; ср., например, такие типичные для публицистического стиля слова (в их переносно-расширительном значении), как *палач, водораздел, панацея, панегирик, плакатный* (в значении качественного прилагательного) и многие другие. Не характерны для научной и официально-деловой литературы и некоторые грамматические формы и конструкции, такие, например, как притяжательные прилагательные на *-ов* и *-ин*, элитив, бессоюзный способ связи сложных предложений.

Неправомерно, как мне представляется, исключать специальную научную терминологию из числа стилистически окрашенных средств языка и причислять ее, как это делает Ю. С. Сорокин, к нейтральной лексике. Наличие двух рядов стилей — экспрессивных и функциональных — означает, что и понятие нейтрального должно быть дифференцированным: нейтральное с точки зрения экспрессивной может оказаться стилистически окрашенным с точки зрения функциональной; как раз так и обстоит дело с научной терминологией.

Следует признать, что функционально-стилистическая окраска обнаруживается в языке значительно менее ярко и отчетливо, чем та стилистическая окраска, которая связана с разного рода экспрессиями. Экспрессивно-стилистическая окраска присуща слову или выражению непосредственно, она такой же неотъемлемый его признак, как лексическое или грамматическое значение. Нет необходимости исследовать какие-то реальные контексты, чтобы определить экспрессивно-стилистическое «значение» того или иного слова современного языка: непосредственное стилистическое чутье является здесь для нас достаточно надежным руководителем. Иное дело тогда, когда речь идет о функциональных стилях; здесь стилистическая характеристика слова (или конструкции, формы) не столь очевидна и непосредственна. В процессе общественного функционирования какого-либо вида письменной литературы в нем вырабатываются определенные языковые приметы, как позитивные, так и негативные. Определение функционально-стилистической окраски языковых элементов в этих случаях предполагает значительную начитанность в литературе, наличие представления о всей системе литературного языка в целом, понимание отличий в способах словесной организации произведений разного жанра. Другими словами, если в экспрессивных стилях стилистическая характеристика контекста определяется стилистической окраской составляющих его элементов, то в функциональных стилях стилистическая окраска генетически обусловлена преимущественным употреблением дан-

⁷ См. В. В. Виноградов, *Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.*, М., 1938, стр. 414.

ного языкового факта лишь в определенных условиях, в определенных контекстах. Этими отношениями между характером целого — высказывания, контекста и составляющих его элементов объясняется меньшая яркость, определенность и устойчивость и большая историческая изменчивость функционально-стилистической окраски языковых элементов. При этом у разных функциональных стилей историческая изменчивость их языковых примет неодинакова. Здесь существенны роль и значение данного вида литературы в общественной жизни, его жанровая определенность, степень влияния стиля на общелитературный язык и т. д. Так, очевидно, наименее устойчивы признаки стиля публицистики в силу ее особой роли в жизни общества. Почти вся вновь возникающая общественно-политическая терминология и фразеология первоначально несет на себе яркую окраску публицистического стиля; постепенно эта окраска может ослабевать и соответствующая лексика и фразеология переходит в разряд общекнижной или даже нейтральной.

Все это, однако, не может служить основанием для отрицания объективного существования функционально-стилистической окраски и, следовательно, соответствующих языковых стилей. Ведь связь общественной функции и языковых средств в каждом функциональном стиле обладает все же для данной эпохи определенной устойчивостью, будучи социально обусловлена речевой практикой говорящего на данном языке коллектива⁸.

Таким образом, стилистическая характеристика включает в себя выражение как определенной экспрессии, так и сферы общественного применения того или иного языкового факта. Экспрессивные и функциональные стили лежат в разных планах (хотя до некоторой степени и взаимообусловлены); но важно отметить, что в обоих случаях речь идет о совокупности элементов, обладающих определенной стилистической окраской, совокупности позитивных и негативных языковых признаков. В обоих случаях, следовательно, выделение стиля опирается на два взаимообусловленных фактора: 1) на наличие специфических фактов языка, обладающих определенной стилистической окраской и поэтому составляющих своеобразие данного стиля; 2) на относительную стилистическую «замкнутость», ограниченность стиля, т. е. на неуместность употребления в нем таких языковых средств, которые воспринимаются как принадлежащие другим стилям. Последовательное и выдержанное сочетание указанных факторов и создает определенный языковой стиль. Это позволяет нам применять термин «стиль» по отношению к обеим названным выше стилистическим системам, хотя они, строго говоря, по своим признакам и не соотносительны.

К функциональным стилям языка обычно причисляют и так называемый «стиль художественной литературы». Однако очевидно, что язык художественной литературы не обладает признаками языкового стиля, поскольку он не представляет собой системы стилистически однородных

⁸ Не может служить основанием для отрицания стилей языка и наличие в современной литературе таких жанров, которые не вполне укладываются в рамки основных типов литературы, например научно-полемических статей, публицистических очерков, тяготеющих к жанрам художественной литературы, научно-популярной литературы и т. д. Уже одно то, что языковое своеобразие этих жанров отчетливо ощущается нами, служит доказательством того, что стили языка как определенные языковые типы являются вполне общественно осознанными.

явлений, принципиально лишен всякой стилистической замкнутости и не опирается на специфическую для него стилистическую окраску языковых средств⁹.

Это сознают и те исследователи, которые относят «стиль художественной литературы» к стилям языка. Так, В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, правильно отмечая, что стиль «обслуживает ту или иную сферу социальной жизни», и признавая далее, что язык художественной литературы решительно отличается в этом отношении от остальных стилей своим «чуть ли не всеобщим характером», тем, что для него не характерна «прикрепленность» к определенной сфере социальной жизни, все же относят «стиль художественной литературы» к «языковым стилям», поскольку здесь «сохраняется зависимое и подчиненное положение... по отношению к единому общенародному языку». Но не слишком ли широким и неопределенным становится в таком случае термин «стиль», и без того многозначный? Точно так же и Р. Г. Пиотровский, сделав правильное замечание о том, что «невозможно говорить о едином литературно-художественном стиле», тем не менее в отдельных местах своей статьи ставит его в один ряд со стилями языка (см., например, стр. 61 и др.).

Язык художественной литературы — явление принципиально иного порядка, чем языковой стиль. И дело здесь не только в том, что в системе современного литературного языка отсутствуют специфические живые «литературно-художественные» языковые элементы, и даже не только в том, что современная художественная литература допускает использование любых стилистических пластов языка, не зная никаких ограничений в этом отношении; дело в том, что язык современной литературы *п р и н ц и п и а л ь н о* разностилен, так сказать, принципиально «нестиль». Всей сущностью своей он протестует против того, чтобы оказаться замкнутым в рамках языкового стиля, хотя бы потому, что язык отдельного художественного произведения представляет собой целую систему стилистических контекстов, целесообразно организованную и воспроизводящую с той или иной степенью полноты систему стилей общенародного языка. «Стилистика» художественного произведения основана на стилистике общенародного языка и вне этой последней не может существовать; выразительность какого-либо языкового факта — слова, выражения, формы — строится прежде всего на учете реальной стилистической окраски его в «общем» языке. Художественность языка произведения, следовательно, — не в отборе каких-то особенных, «художественных» слов или форм, а прежде всего (если говорить о «художественности» в лингвистическом плане) — в целесообразном использовании стилистических качеств элементов общенародного языка. Именно в умении отобрать и синтезировать наиболее типичные, социально-характерные и потому стилистически значимые явления лексики, семантики, фразеологии, грамматики «общего языка» проявляется мастерство художника и его знание жизни.

Варьирование стилистически окрашенных средств языка в зависимости от характера изображаемого способно создать яркий художественный эффект. Особенно выразительно в художественном произведении сопоставление языковых средств с различной стилистической окраской. Ср., например, в романе А. И. Эртеля «Гарденины...» разговор служившего

⁹ Наличие в словарях, например в толковом словаре под ред. Д. Н. Ушакова, пометы «поэтическое» не противоречит этому положению; анализ характеризуемых этой пометой слов показывает, что в данном случае мы имеем дело не с живыми, развивающимися элементами стиля, а лишь с отражением традиции, связанной с поэзией и отчасти художественной прозой начала XIX в. «Поэтическое» здесь — это архаическое (а порой просто метафора, поэтический штамп типа *гневно море, безбрежная екорь* и др.).

ранее у купцов дворника и опытного барского дворецкого: «Ну, пушай, Григорий Евлампич, пушай... Я только вот о чем: с чего они спят-то долго?— А с того и почивают, что господа»¹⁰.

Еще ярче роль стилистической окраски тех или иных явлений общенародного языка в создании «художественности» и образности языка произведения проявляется тогда, когда писатель показывает отношение своего героя к этой стилистической окраске. Вот любопытный пример использования стилистической окраски слова *оформить* в «Буре» И. Эренбурга. Ольга Влахова рассказывает матери о своем замужестве: «Фактически мы с ним уже давно встречаемся так, как если бы расписались. А позавчера у него выяснилось с квартирой, это в новом доме на Можайке. Он предложил оформить...». И далее, внутренний монолог матери: «Может быть, она его любит, только не хотела сказать — она ведь гордая. Но как страшно она сказала: „оформить“! Или это только мне кажется, потому что я состарилась, ничего больше не понимаю?..» (ч. I, гл. 17). На отношении к слову столкнулись здесь два характера, два взгляда на жизнь.

Таким образом, художественная выразительность языковых средств возникает как результат умелого, целенаправленного использования стилистической окраски, как реализация в художественных целях общеязыковых стилистических качеств слов, форм и т. п. Конкретные способы этой реализации могут быть чрезвычайно многообразны, и одни и те же факты могут быть использованы по-разному.

Но общеязыковые стилистические качества языковых средств всегда остаются основой любого художественного приема. Приведенные в статье И. Р. Гальперина и отчасти в статье Р. А. Будагова примеры художественного применения таких стилистически выразительных средств, как эллиптическое построение фразы или эмоциональные повторы, подтверждают это положение: здесь мы имеем дело не с какими-то специфически «художественными» оборотами или конструкциями, а лишь с целенаправленным использованием эмоционально-разговорных средств речи. Ведь и несобственно-прямая речь, на которую ссылается И. Р. Гальперин как на специфическое свойство художественного «стиля», представляет собой прием, построенный на сопоставлении и сталкивании по-разному окрашенных контекстов.

Языковые средства входят в состав художественного произведения, сохраняя присущие им стилистические качества; художественные задачи могут осуществляться именно на основе того, что автор и читатель одинаково воспринимают общенародные стилистические свойства художественно использованных языковых явлений¹¹.

Таким образом, нет никаких оснований причислять язык современной художественной литературы к стилям языка, если понимать под последними семантически замкнутые, экспрессивно-ограниченные и целесо-

¹⁰ Ср. поучение старого лакея Бакая у Герцена: «Ты ешь, а барин изволит *кушать*, ты спишь, шенок, а барин изволит *почивать*» (цит. по кн.: Я. Эльсберг, А. И. Герцен. Жизнь и творчество, М., 1951, стр. 392).

¹¹ Поэтому принципиально неверными представляются мне рассуждения Р. Г. Пиотровского о стилистической нейтральности. Стилистическую нейтральность языковой единицы Р. Г. Пиотровский проверяет через возможность или невозможность ее художественного использования, проецируя ее на языковой фон художественного произведения. Так называемая «литературно-нейтральная» речь, с его точки зрения, не нейтральна, поскольку ее «литературная окраска» может выделяться на фоне диалектной речи или просторечия большинства персонажей данного произведения. Однако очевидно, что стилистическая характеристика речевых элементов опирается не на их функции в отдельном произведении, а на представление о системе языка в целом, как на единый, общий стилистический критерий.

образно организованные системы средств выражения¹². Это не значит, что язык художественной литературы вообще не обладает своей спецификой¹³.

Специфика языка современной художественной литературы определяется той эстетической функцией, которая присуща ему наряду с общей и основной функцией языка — коммуникативной. Эстетическая функция языка художественного произведения раскрывается в его подчиненности идейно-художественному замыслу писателя; ей подчинены, ею определяются те многочисленные конкретные функции, которыми обладают языковые элементы в художественном произведении. В этом заключается глубокое своеобразие языка художественной литературы, которое отличает его от стилей языка; в этом отношении (и только в этом отношении) язык художественной литературы может быть противопоставлен всем другим формам проявления языка как «нехудожественным», не обладающим эстетическими функциями¹⁴.

Употребление стилистически выразительных фактов языка в бытовой речи или в различных книжных нехудожественных жанрах прямо и непосредственно подчинено коммуникативной функции языка, способствуя лишь достижению полноты высказывания; в художественном произведении такое употребление всегда несет и вторую, эстетическую нагрузку. Так, наличие экспрессивных средств языка в речи автора или героя служит не только более полному раскрытию содержания высказывания, но и воспроизводит состояние говорящего, способствует созданию его социальной и индивидуальной характеристики.

Эстетическая функция составляет, следовательно, специфику языка художественной литературы. Только в литературе язык вовлекается в сферу искусства, становится не только формой выражения мысли, но и материалом, «первоэлементом литературы» как «искусства пластического изображения посредством слова» (Горький). Эстетическая значимость слова в художественном произведении выражена в том, что оно, будучи неразрывно связано с другими сторонами произведения — системой образов, композицией, сюжетом, — служит образному, типизированному отражению действительности, подчинено критерию художественности.

Отграничение языка художественной литературы от функциональных разновидностей, стилей языка — существенно для определения задач и направления стилистического исследования. Анализ языка художественного произведения не может быть оторван от анализа идейного содержания произведения, от его системы образов; он предполагает раскрытие

¹² См. В. В. Виноградов, О задачах истории русского литературного языка, преимущественно XVII—XIX вв., «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1946, вып. 3, стр. 225.

¹³ Кроме того, не следует забывать, что отграничение языка художественной литературы от стилей языка сложилось исторически и современное их соотношение нельзя распространять на все времена и эпохи.

¹⁴ Не могу признать обоснованными возражения А. И. Ефимова против признания эстетической функции специфическим признаком только языка художественной литературы (см. «Вопросы языкознания», 1953, № 4, стр. 38—39). Вопрос об эстетической функции А. И. Ефимовым смешивается с вопросом об эмоциональной и экспрессивной сторонах языка. Слово «эстетический» употребляется им не в терминологическом значении, а в житейско-бытовом смысле: «вообще красивый, прекрасный, производящий эстетическое впечатление». Между тем, при том понимании эстетической функции, которое излагается в настоящей статье, лишенная всякой эмоциональности или примитивная речь в составе художественного произведения может оказаться столь же эстетически значимой, как и речь образная, изысканная, эмоциональная. Что же касается того понимания «эстетического», которое находим в статье А. И. Ефимова, то следует сказать, что в таком смысле эстетической функцией язык не обладает ни в одной из сфер его применения, в том числе и в художественной литературе.

той связи, той зависимости, которая существует между содержанием произведения и его языком. Рассмотрение отношения языка произведения к национальному языку, определение стилистического состава произведения — непрерывное предварительное условие такого анализа. Но этого явно недостаточно: требуется еще и рассмотрение стилистических отношений внутри произведения, анализ художественных функций отобранных языковых средств. Ясно, что такой анализ не может брать изолированные факты, он всегда связан с рассмотрением языковых явлений в контексте, иногда в контексте целого произведения.

Изучая отношение языка художественного произведения к стилям национального языка, исследователь, естественно, оперирует теми же стилистическими понятиями и категориями, что и при изучении «общего» языка. Однако при функциональном подходе к языку произведения эти категории и понятия оказываются недостаточными; появляется необходимость в новых понятиях и категориях, которые отразили бы стилистические отношения внутри художественного произведения. Самый факт необходимости таких категорий и понятий — лишнее доказательство глубокого своеобразия языка художественной литературы.

И. С. ИЛЬИНСКАЯ

О ЯЗЫКОВЫХ И НЕЯЗЫКОВЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

В статье «К вопросу об основных понятиях стилистики» Ю. С. Сорокин, отрицая существование языковых стилей в современном русском языке, приходит к мысли о том, что отмечаемые исследователями различия между стилями «...выходят за рамки собственно языковые», что «с точки зрения языковой они обнаруживают исключительное разнообразие и изменчивость»¹.

Мне кажется, что сама постановка вопроса об отношении стиля произведения и вообще любого высказывания к сфере языковой и неязыковой заслуживает серьезного внимания. В многочисленных попытках стилистического анализа последнего времени нет четкого разграничения этих двух сфер: любое явление, характеризующее стиль того или иного произведения, причисляется к явлениям языковым. Совершенно прав поэтому Р. А. Будагов в своем требовании «... разграничить собственно языковые стили, которые обуславливаются самой природой языка, и такие языковые явления, которые непосредственно не определяются природой языка, а скорее зависят от специфики других общественных явлений»².

Действительно, можно ли считать стиль какого-нибудь жанра или отдельного произведения литературы явлением только языковым? Определяется ли он полностью только языковыми факторами? На этот вопрос, как мне кажется, следует ответить отрицательно.

Так, например, для басенного жанра в целом характерно введение животных в качестве действующих лиц. Конечно, «зоологический» сюжет влечет за собой употребление в басне соответствующих слов — названий животных, но тем не менее эту черту стиля нельзя признать собственно языковой. В данном случае автор не производит выбора языковых средств: в соответствии с темой он вынужден употребить именно то, а не другое название животного. Таким образом, стиль здесь создается не языком, а самой темой, характерной для данного жанра.

Общеизвестно, какое значение имело реалистическое направление для русской литературы. В творчестве Пушкина оно привело к изменению стиля поэзии по сравнению с предшествующим периодом ее развития, а также по сравнению с ранним поэтическим творчеством самого Пушкина. Однако эти изменения в значительной мере зависели от изменения тематики, содержания. Та «вода» в «поэтическом бокале», о которой Пушкин пишет в известных «Отрывках из Путешествия Онегина», — это новые реалистические темы, отражающие русскую действительность; они во многом определили собой реалистический стиль новой поэзии.

¹ Ю. С. Сорокин, К вопросу об основных понятиях стилистики, «Вопросы языкознания», 1954, № 2, стр. 74.

² Р. А. Будагов, К вопросу о языковых стилях, «Вопросы языкознания», 1954, № 3, стр. 66.

Таким образом, в понятие стиля входит и сама тема, т. е. явление неязыковое, хотя всегда, конечно, выражаемое языком.

В вопросе о стиле произведения обычно очень большое значение придается художественности, образности изложения; эти качества часто относят всецело к области языка. Образность изложения создается, как известно, применением различного рода художественных приемов — тропов. Постараемся рассмотреть хотя бы некоторые из них с интересующей нас точки зрения. Обратимся снова к Пушкину:

Цветы последние милей
Роскошных первоцветов полей.
Они унылые мечтания:
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час!
Живее сладкого свиданья.

(«Цветы последние милей»)

Перед нами один из приемов художественного сравнения, придающий стихам определенный стилистический тон. Однако образность этих стихов не зависит от языкового материала, от стилистической окраски или изменения значения какого-либо слова: она создается данным сравнением в целом.

Таким образом, если бы в творчестве какого-либо писателя или в каком-либо отдельном произведении был обнаружен прием сравнения как одно из типичных художественных средств, то это указывало бы на одну из характерных черт стиля этого писателя или произведения; но эта черта не могла бы быть привлечена для характеристики его языковых стилистических средств³.

По существу, то же можно сказать и об олицетворении, являющемся также одним из приемов создания образности. Наделение явлений природы, различных конкретных и абстрактных понятий чертами и свойствами одушевленных существ, составляющее сущность этого приема, лежит вне сферы языкового отбора. Например, в олицетворении:

И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста

(Лермонтов, Мцыри)

нет какой-либо специальной языковой черты, необходимой для создания этого приема — он может быть осуществлен любыми средствами языка, так как суть его не в языке, а в тех представлениях, которые им вызываются.

Что касается эпитета, то здесь дело обстоит, повидимому, сложнее. Применение эпитета само по себе еще не составляет характерной черты языкового стиля, хотя, конечно, является элементом стиля произведения. Так, например, эпитеты, указывающие на какую-либо характерную черту предмета, его существенный признак (*темная ночь, синее небо, яркое солнце, блистающие звезды* и т. п.), не содержат чего-либо специфически языкового. Пристрастие к эпитетам или сдержанность в их употреблении, несомненно, характеризует индивидуальную стилистическую манеру писателя. Индивидуальность стилистической манеры может ска-

³ Иное дело, если бы исследование показало своего рода «пристрастие» к различному оформлению вводимых в текст сравнений, допустим, к употреблению определенных союзов (в одном случае — *как*, в другом — *словно, точно* и т. п.); тогда можно было бы говорить о языковых чертах стиля писателя или произведения.

зваться также и в том, какого рода эпитеты подбираются автором. Так, например, обилие «лирических» эпитетов типа *сладостный, ясный, томный, прохладно-голубой, тайный* и т. п. (в прямых, не переносных значениях) было характерной чертой стиля русской романтической поэзии. Однако ни обилие эпитетов, ни их характерный подбор, определяющийся идеологическим и эстетическим моментами, еще не характеризуют стиль писателя в языковом отношении. Иное дело — эпитеты типа *смиранный парус, молчаливый месяц, равнодушная природа* (у Пушкина), *румяный вечер, жемчужный фонтан* (у Лермонтова), *ликующее пламя, стыдливые миледи, горький сон* (у Бальмонта). Эти эпитеты построены не на прямом, хотя и выразительном назывании признака, как перечисленные выше, а на переосмыслении значения слова. Метафоричность этих определений, построенная на сопоставлении двух смысловых планов (прямого и переносного), является чертой, принадлежащей языку как таковому, так как здесь выступает специфически языковой элемент — значение слова.

Таким образом, не всякий эпитет, употребленный писателем, является языковой чертой его стиля, а только такой эпитет, в котором так или иначе проявляется «природа» языка, сознательно использованная писателем. Это может сказаться, конечно, не только в метафорическом переосмыслении значения слова, но также и в использовании других возможностей, заложенных в языке. Так, например, языковой чертой авторского стиля может явиться тяготение к сложным образованиям — эпитетам типа *лазоревосинесквозное тело, страна миллионнолобая, стовёрстая подзорная труба, зверорыбьи морды, непроходимолесый Урал* (Маяковский). Точно так же следует признать языковой чертой и своеобразное синтаксическое оформление экспрессивного образного определения, при котором синтаксически определяемое слово по значению является определяющим, например: *прощальность поцелуя, нескончаемость безжалостных часов, холодность бледная осенних облаков* (Бальмонт).

Поскольку изменение значения слова, служащее средством создания образности, есть явление языковое, постольку метафора как один из тропов, основанный именно на перенесении значения, ближе всего связана с языковой сферой. Действительно, когда мы имеем дело с метафорой, выраженной одним словом или сочетанием, мы по существу имеем дело с языком. При этом часто смысловому изменению сопутствует и внешний формальный показатель (например, для существительного — возможность сочетаться с другим существительным в родительном падеже). Ср., например, у Пушкина метафорические переосмысления слова *мрак*:

Вдруг сокрылись скорби, муки,
Мрак душевный вмиг исчез!

(«Блаженство»)

Твоим огнем душа пала
Отвергла мрак земных свет.

(«В часы забав
иль праздной скуки»)

Уж двадцать лет я здесь один
Во мраке старой жизни вяну.

(«Руслан и Людмила»)

Я подданным рожден и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало...

(«Борис Годунов»)

Наличие двух планов значения — переносного и мыслимого при этом основного, прямого, составляет существо приема метафоризации. Интересно отметить также дальнейшее развитие этого приема, когда в слове совмещаются оба плана значения, прямой и метафорический, например:

Вот села тихо и глядит,
Любуясь шумной теснотою,
Мельканьем платьев и речей.

(Пушкин, Евгений Онегин)

Мельканье здесь выступает одновременно в двух значениях: в прямом (*мельканье платьев*) и в переносном (*мельканье речей*). Ср.: «... слог его бледен, как мертвец» (Пушкин, Письмо Л. С. Пушкину, 4 сентября 1822 г., Кишинев).

Многочисленные перифрастические выражения, которыми изобилует лирика начала XIX века, должны, на мой взгляд, также рассматриваться как языковые черты стиля. Таковы, например, у Пушкина метафорические выражения, связанные с понятием смерти: *могильная сень*, *могильный глад*, *могильный сон*, *могильная ночь* и т. п.

Однако метафора может выходить за пределы отдельного слова или выражения. Метафоричным может быть целое высказывание. В таком случае мы имеем иносказание, которое в целом составляет образ, имеющий переносный метафорический смысл. Примером может служить стихотворение Пушкина «Прозаик и поэт»:

О чем, прозаик, ты хлопочешь?	Взложу на тетиву тугую,
Давай мне мысль какую хочешь:	Послушный лук согну в дугу,
Ее с конца я завострю,	А там пошлю наудалую,
Летучей рифмой оперю,	И горе нашему врагу!

Образность этого стихотворения достигается не переосмыслением значения какого-либо отдельного слова, а теми представлениями, которые вызывает автор у читателя: мысль, претворенная в художественное слово, — это стрела, которой поэт разит своих врагов. Слова *завострю*, *летучей рифмой оперю*, относимые к образу мысли-стрелы, служат как бы связующим звеном между реальным и переносным планом стихотворения и не заключают в себе какого-либо определенного переносного значения. Отдельные стилистически окрашенные элементы придают стихотворению оттенок легкой непринужденности, разговорности языка, но не служат целям создания образа. Примерно то же можно сказать и о стиле приводимого Ю. С. Сорокиным отрывка из рецензии Чернышевского⁴. Стиль его создается образностью, достигаемой в данном случае, как правильно указывает Ю. С. Сорокин, не языковыми средствами.

Анализ отдельных частных явлений поэтического стиля приводит к заключению о необходимости разграничения языкового и неязыкового плана в образовании стиля. Ю. С. Сорокин, несомненно, прав, подчеркивая наличие среди признаков стилей неязыкового момента; но значит ли это, как он полагает, что определенному жанру или определенной сфере речевой деятельности вовсе не соответствует характерная для каждого из них совокупность языковых средств? Ведь признаваемые Ю. С. Сорокиным в качестве единственного объекта стилистики отдельные произведения письменности, частные высказывания и контексты образуют жанры устной и письменной речи, существование которых Ю. С. Сорокин не отрицает. Отдельные единицы, образующие тот или иной жанр, объединяются об-

⁴ См. Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 76—77.

щим характером своего содержания и назначения, а это предполагает наличие у них общих стилистических черт. Стилистическая однородность в свою очередь предполагает подбор определенных языковых средств. Однако Ю. С. Сорокин, признавая содержание и назначение речи определяющими факторами стиля отдельного высказывания, не считает, повидимому, эти факторы определяющими стиль языка всего жанра в целом и, таким образом, отказывает жанру в языковом стиле вообще. Но если признавать существующими стили отдельных частных высказываний, которые определяются их содержанием и назначением, то нельзя не признать наличия стилей языка как совокупности более или менее устойчивых комплексов языковых средств, соответствующих определенным жанрам, типам речи и обусловленных их содержанием и назначением.

Обратимся к примерам Ю. С. Сорокина, которые, по его мнению, должны иллюстрировать отсутствие стилей языка, в частности научного стиля. Один из них — это отрывок из работы И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга»⁵. Действительно, в этом отрывке нет тех специфических признаков, которые обычно связываются в нашем представлении с научным стилем речи. Отрывок этот характеризуется художественностью изложения, применением некоторых выражений, характерных для непринужденной разговорной речи. Такой способ изложения рассчитан, конечно, на восприятие не узкого, ограниченного круга специалистов, а на читателей-неспециалистов, для которых и предназначал И. М. Сеченов свою работу, предваряя изложение научных вопросов необходимым для такого читателя введением. Известно, что работа И. М. Сеченова была написана им для журнала «Современник», который читался всей русской передовой интеллигенцией, и только потому, что цензура воспрепятствовала помещению статьи в этом журнале, она была напечатана в специальном научном органе — «Медицинском вестнике».

При анализе этого отрывка Ю. С. Сорокин совершенно не учел его назначения, т. е. как раз того, что он сам считает одним из факторов, определяющих стиль. Что же касается другого фактора — содержания, то в приводимом тексте И. М. Сеченов вообще еще не касается собственно научных проблем.

В тех частях работы И. М. Сеченова, где излагается сущность его научной теории, стиль языка меняется, и Ю. С. Сорокин вынужден признать, что здесь «...являются отдельные признаки того, что обычно характеризуется как особый научный стиль языка...». Но увидеть в разбираемом тексте проявление научного стиля языка Ю. С. Сорокину мешает то, что признаки этого стиля здесь «... выступают эпизодически, их нужно выискивать...». Однако вопрос количества признаков в данном случае вопрос не принципиальный; важно то, что научное содержание текста вызвало употребление специфических элементов научного стиля; ограниченное же их количество определялось, очевидно, назначением всей работы — дать общедоступное изложение научной теории.

Кроме того, при стилистическом анализе текста необходимо учитывать также не только то, какие элементы того или иного стиля в нем имеются, но и каких элементов в нем нет. Так, анализируемый Ю. С. Сорокиным текст отличается широким применением стилистически нейтральной лексики, некоторым количеством элементов научного стиля и отсутствием просторечных, разговорных элементов или элементов, характерных для языка поэзии, и т. п. Его стиль характеризуется также отсутствием тех неязыковых черт, которые создавали художественность, образность изложения первого отрывка.

⁵ См. Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 75—76

Таким образом, приводимые Ю. С. Сорокиным примеры не подтверждают его положения об отсутствии стилей языка. Скорее они противоречат ему. Даже самый выбор таких отрывков из научной литературы, которые не характерны, не типичны для научного стиля изложения, с целью доказать отсутствие этого стиля свидетельствует о том, что в своем анализе Ю. С. Сорокин опирается на представление о нормах этого стиля. В этом отношении следует согласиться с Р. Г. Пиотровским, который говорит, что речевые стили незримо присутствуют в построениях Ю. С. Сорокина⁶.

Свое отрицание стилей языка Ю. С. Сорокин пытается обосновать также отсутствием строгой закреплённости за теми или иными стилями специфических языковых средств, «невозможных в других стилях или выступающих в этих других стилях как инородное тело»⁷. Действительно, в языке, повидимому, не существует такого строгого закрепления языковых средств за каким-нибудь определенным стилем, хотя все же имеются отдельные элементы очень узкого, стилистически ограниченного употребления (например, некоторые типичные канцеляризмы, отдельные слова поэтического языка.) Однако стиль языка определяется не столько этими закреплёнными средствами, сколько соотношением и комбинированием различных стилистических элементов. Поэтому языковые средства одного и того же стилистического пласта могут участвовать в образовании разных стилей языка в различных комбинациях и соотношениях с элементами других стилистических пластов. Причем, если данное объединение стилистических элементов будет нарушено вторжением в него неоправданного какими-нибудь специальными целями чуждого элемента, то он, действительно, выступит здесь как инородное тело.

Ю. С. Сорокин пишет: «... правильнее было бы говорить не о публицистическом, литературно-художественном, научном и т. д. стиле языка, а о различных принципах выбора, отбора и объединения слов в художественно-литературных, публицистических, научных произведениях данной эпохи»⁸. Признавая, что стиль отдельного высказывания создается в результате выбора, отбора и объединения разнородных стилистических средств и что это не мешает ему быть в то же время целостным, организованным единством, Ю. С. Сорокин, впадая в противоречие с самим собой, не допускает той же возможности в отношении стиля языка.

Таким образом, поставив в своей статье исключительно интересные и актуальные для советского языкознания вопросы, Ю. С. Сорокин не доказал своего основного тезиса и не поколебал существующего представления о стилях языка как о системах средств выражения, соответствующих определенным типам речевой деятельности.

⁶ См. Р. Г. Пиотровский, О некоторых стилистических категориях, «Вопросы языкознания», 1954, № 1, стр. 59.

⁷ См. Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 73.

⁸ Там же, стр. 74.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

А. В. ДЕСНИЦКАЯ

ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ КУРСЕ «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

Действующий в настоящее время на филологических факультетах университетов учебный план в число других общелингвистических дисциплин («Введение в языкознание» и «Общее языкознание») включает также курс «История языкознания». Для изучения истории науки, как и всякого другого общественного явления, основополагающими являются известные указания Ленина: «Самое надежное в вопросе общественной науки и необходимое для того, чтобы действительно приобрести навык подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться в массе мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений, — самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это — не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»¹.

Марксистский курс «История языкознания» не должен быть «академическим» перечнем выдвигавшихся в разное время представителями разных лингвистических направлений точек зрения на вопросы языковедной теории. В этом курсе необходимо дать оценку деятельности языковедов прошлого, исходя из того, в какой мере их общетеоретические построения и конкретно-лингвистические изыскания содействовали выработке правильных взглядов на предмет и метод языковедной науки, установлению объективных закономерностей развития изучаемых языков и этим в той или иной мере подготавливали почву для создания марксистской теории языка. В то же время задачей курса является критика идеалистических концепций, которые во все времена тормозили, отклоняли от правильного пути развитие языковедных исследований. При этом привлекать внимание должны в первую очередь не те идеалистические, примитивные в своей ошибочности построения, которые давно уже никто не пытается воскрешать, а те теории, преемственную связь с которыми до сих пор сохраняют идеалистические концепции современной буржуазной лингвистики, которые до сих пор еще могут служить источником для разного рода ошибок, уклонений от подлинно научного понимания и подлинно научного метода изучения языковых фактов.

В пору засилья антиисторических установок акад. Н. Я. Марра, пытавшегося отрицать достижения предшествующей науки о языке, значение истории языкознания как предмета научного изучения и университетского преподавания явно недооценивалось. Поэтому в течение ряда лет до лингвистической дискуссии 1950 г. курс «История языкознания» редко

¹ В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 436.

читался в наших университетах. После появления трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания положение коренным образом изменилось. Истории языковедной науки обеспечено надлежащее место в системе лингвистического образования.

*

До сих пор еще преподаватель курса «История языкознания» встречается с большими трудностями. К затруднениям организационного порядка относится отсутствие программы и учебника, а также явно недостаточное количество часов, отводимых этому предмету, — всего один семестр на III курсе (36 часов). При таком количестве часов лектор вынужден сильно сокращать объем материала, подлежащего изложению, а это отрицательно сказывается на содержании курса.

Кроме того, не определено соотношение курса «История языкознания» с читаемым после него курсом «Общее языкознание». В официально утвержденной программе курса «Общее языкознание»² сравнительно большое место отводится критическому изложению языковедных теорий прошлого и некоторых современных идеалистических теорий зарубежной лингвистики, что собственно составляет содержание курса «История языкознания». Правда, материал этот предлагается давать выборочно, вне хронологической последовательности, и поэтому характеристика лингвистических направлений будет, если придерживаться программы, не полной. Тем не менее ненужный параллелизм в двух общелингвистических курсах, читаемых один вслед за другим, несомненен; излишние повторения отнимут много времени и могут в известной мере дезориентировать не только слушателей, но и самих преподавателей.

Однако главная трудность, возникающая при чтении курса «История языкознания», состоит в том, что в нашей лингвистической литературе до сих пор не разработана марксистская периодизация истории языковедной науки. С первых же шагов преподаватель сталкивается с вопросом о том, что считать наукой о языке, с какого времени эта наука существует, с чего надо начинать изложение ее истории.

Казалось бы, этот вопрос не должен вызывать особых сомнений. Известно, что изучение языковых явлений началось уже с очень давних пор. Еще в IV в. до н. э. ученые древней Индии создали научную классификацию звуков санскритского языка и описали его сложную морфологическую структуру. Основы классификации слов по частям речи и учения о таких грамматических категориях, как число, время, наклонение, залог и т. д., были разработаны еще учеными античной Греции. Нельзя недооценивать того факта, что наша современная наука о грамматическом строе языка до сих пор оперирует понятиями, выработанными представителями Александрийской школы грамматистов две тысячи лет назад (правда, значительно теперь уточненным, конкретизованными и углубленными в соответствии с успехами, которые были с тех пор достигнуты языкознанием, в особенности за последние 150 лет). И это вполне понятно, потому что александрийским ученым, подходившим к своему родному греческому языку как к предмету научного исследования, действительно удалось открыть некоторые объективные закономерности его структуры, установить ряд правил и законов грамматики.

Дальнейший прогресс науки отнюдь не снял значения этих открытий. Они знаменовали собой решительную победу подлинной науки, исходящей из анализа реальных фактов, над идеалистическими фантазиями, связанными с религиозными представлениями о непознаваемой «божественной»

² См. «Программа курса „Общее языкознание“» [автор А. С. Чикобава, М.], 1952.

сущности языка. Замечательны были также труды китайских филологов эпохи Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.), разрабатывавших вопросы иероглифики, фонетики, грамматики, лексикологии, диалектологии.

В своих исследованиях языковеды древности руководствовались отнюдь не абстрактным любопытством к явлениям языка вообще. Чисто умозрительный подход к языку был характерен лишь для того периода, когда языковедение еще не выделилось в качестве самостоятельной научной дисциплины из философии — этой «универсальной» науки древности, а тем более из различных религиозных систем миропонимания (ср. легендарные представления о создании языка божеством, о происхождении различий между языками и т. п.).

Авторы грамматических, фонетических и лексикологических теорий той эпохи исходили из реальных ее потребностей. В соответствии с этими потребностями создается в то время «филологическая» грамматика. Она строится на изучении конкретных фактов языка, представленных в литературных текстах. Грамматика эта является также и «технической», так как главной задачей науки о языке на первом этапе ее развития было определение минимума грамматических правил, необходимых для понимания древних текстов и для овладения навыками правильного чтения, письма и речи на родном языке (ср. связь грамматики с риторикой в античной Греции).

Современные языковеды нередко склонны упрекать древних в том, что они не выработали исторического подхода к фактам языка, не установили понятия о родстве языков, не оставили описаний целого ряда языков исчезнувших и т. д. и т. п. Действительно, приходится сожалеть, что языковеды Греции и Рима, изучая свои родные языки, не проявили никакого интереса к описанию таких языков, как скифский, этрусский, галльский и др., хотя практическое знание этих языков было несомненно нередким явлением для того времени. Однако нельзя забывать о том, что греческие и римские языковеды стояли на уровне науки своей эпохи, руководились в своих исследованиях теми требованиями, которые предъявляла к ним общественная практика именно этой эпохи, и не могли предвидеть научных проблем, которые были поставлены в порядок дня сравнительным языковедением лишь в XIX в.

Так как в то время объектом изучения являлись только древнегреческий и латинский литературные языки, не было достаточных предпосылок для выработки исторического подхода к языковым явлениям, а живая разговорная диалектная речь не могла тогда стать предметом подлинно научного исследования (к этому европейское языковедение пришло лишь в конце XIX в.).

В тех случаях, когда изучавшиеся литературные памятники далеко отстояли друг от друга в хронологическом отношении и лингвистический анализ естественно должен был обнаружить происшедшие в языке изменения в области фонетики и морфологии, мы встречаемся с некоторыми элементами исторического и даже сравнительно-исторического подхода к анализу языковых фактов. Это было, в частности, характерно для науки о языке древней Индии, имевшей дело с сильно различающимися в языковом отношении ведийскими текстами, текстами на классическом санскрите, а также с широко применявшимися в классической санскритской драме вставками на среднеиндийских языках (так называемые *праkritы*)³.

Однако не это составляло определяющую особенность грамматической теории той эпохи. Главная заслуга ученых древнего мира — это создание

³ См. А. П. Баранников, *Элементы сравнительно-исторического метода в индологической лингвистической традиции*, «Вопросы языковедения», 1952, № 2.

первых образцов описательной грамматики, разработка основ грамматики как науки. Мы должны говорить об огромном превосходстве «исторической» грамматики, созданной в XIX в., над «филологической» или «технической» грамматикой, характеризовавшей состояние языкознания до XIX в., но мы не можем забывать о том, что залогом успехов новейшего языкознания была та огромная работа, которую проделали языковеды прошлого и, в частности, языковеды древнего мира.

Начиная с эпохи Возрождения в различных европейских странах составляются описательные грамматики отдельных национальных языков, которые носят нормативный характер, но не содержат элементов исторического подхода к изучаемым фактам. Нормативная установка непосредственно определялась потребностями общественной практики той эпохи, когда одной из важнейших задач было закрепление грамматических норм слагающегося национального языка. В этих условиях создание и усовершенствование описательных грамматик являлось первоочередной проблемой языковедной науки, и деятельность грамматиков-нормализаторов имела не только практическое, но и теоретическое значение.

По-иному следует, как нам кажется, подойти к вопросу о роли, которую на первых порах играло подражание схеме латинской грамматики Доната. Говоря о «мертвящем» влиянии латинской грамматической традиции, тяготевшей тогда над изучением живых языков, мы обычно не учитываем того, что традиционная латинская грамматика при всей схоластичности ее построения содержала тем не менее сводку грамматической теории, созданной некогда учеными Греции и Рима. Опираясь на эту теорию при описании грамматических правил образующихся национальных языков, впервые явившихся объектом научного исследования, то есть использовать опыт предшествующей науки, было вполне естественно и закономерно.

Конечно, механическое перенесение категорий латинского языка на категории других языков, хотя и родственных латинскому, но тем не менее отличающихся от него конкретными особенностями своей грамматической структуры, отрицательно сказывалось на построении описательных грамматик отдельных национальных языков. Однако в преодолении схематизма при анализе фактов того или иного языка, в совершенствовании грамматических описаний применительно к своеобразию отдельных языков, в установлении новых правил и в уточнении старых как раз и заключался в то время прогресс науки о языке, неуклонно двигавшейся вперед, но сохранявшей при этом преемственную связь с достижениями науки прошлого.

В эпоху становления национальных языков составление нормативных грамматик и словарей являлось первейшей задачей языковедения. Вполне понятен поэтому расцвет данной области исследований в европейской науке XVII—XVIII вв. (например, блестящие исследования по русской грамматике М. В. Ломоносова и аналогичные по заданию и характеру труды языковедов других стран). В то же время в языковедении уже тогда стали возникать предпосылки для дальнейшего углубления исследовательского подхода к фактам языка, для создания сравнительно-исторического метода, дающего возможность понять языковые явления в их становлении и развитии.

К началу XIX в. прежнее направление в лингвистических исследованиях уже перестает удовлетворять развивающуюся научную мысль; принцип исторического подхода к изучению языковых фактов выдвигается на первый план. Старая «филологическая» или «техническая» грамматика, верная своим давно сложившимся и уже отставшим от жизни традициям, становится тормозом на пути научного прогресса. Понятна поэтому та отрицательная оценка, которую дал ей Энгельс в «Анти-Дюринге», противопоставив успехи

исторического языкознания, развившегося в XIX в., старомодной «технической» грамматике «со всей ее казуистикой и произвольностью, порождаемыми отсутствием в ней исторического основания»⁴.

В 70-е годы XIX в. (время написания «Анти-Дюринга») уже сложились прочные традиции сравнительно-исторического изучения языковых фактов, коренным образом изменились требования, предъявляемые к научной грамматике; языкознание, перестроенное на основе принципа историзма, достигло невиданных прежде успехов в отношении широты охвата лингвистических фактов и углубления их теоретического анализа. Однако все эти успехи были подготовлены предшествующим многовековым развитием языковедной науки, начавшейся с описания основных элементов языковой структуры, сделанного языковедами древнего мира более двух тысяч лет тому назад.

Среди современных лингвистов нет, однако, единого мнения по вопросу о том, что считать наукой о языке, с какого времени эта наука существует и с чего надо начинать изложение ее истории. На наш взгляд, наукой о языке может быть названо такое изучение языка, результатом которого является раскрытие сущности и описание различных сторон языка (языка вообще и отдельных конкретных языков в частности), раскрытие объективных закономерностей, определяющих характер и соотношение основных элементов его структуры, исторических законов его развития. Наука о языке зародилась с той поры, когда язык впервые стал предметом научного изучения, т. е. с того времени, когда люди от создания мифов и легенд перешли к описанию языковых фактов и к анализу присущих языку закономерностей.

Следовательно, изложение истории науки о языке должно начинаться с рассказа о замечательных достижениях ученых древнего мира. Дальнейшая история языкознания — это история постепенного усовершенствования методов анализа языковых явлений, расширения охвата изучаемых фактов, история выработки правильных научных взглядов по общим и частным вопросам языковедной теории. Высшим достижением на этом пути является разработка марксистского языкознания, представляющего собой качественно новую ступень в развитии науки о языке и опирающегося на весь положительный опыт, накопленный языкознанием на протяжении ряда веков.

Успехи в познании сущности языковых явлений достигались путем напряженных теоретических исканий. Разного рода идеалистические концепции тормозили выработку правильных взглядов по самым различным вопросам языковедной теории, нередко уводили языковедов от анализа явлений и законов исторической действительности языка в сторону разного рода умозрительных, оторванных от реальных фактов построений. На развитии языкознания во все эпохи отрицательно сказывались также часто наблюдавшаяся косность в применении устаревших методов исследования, слепая приверженность отдельных групп ученых к потерявшей свою актуальность научной проблематике, различные формы борьбы старого, отживающего с новым, прогрессивным.

Путь развития науки о языке чрезвычайно сложен. При освещении его представляется необходимым выделить поворотные, узловыe пункты, такие достижения, которые знаменовали решительную победу материалистического подхода к познанию языковых явлений над разного рода идеалистическими концепциями, победу новых, более совершенных методов лингвистического исследования над старыми. Такими этапами являлись в свое время выработка принципов грамматического описания языка

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 327.

(первое решающее завоевание науки о языке) и затем, уже в XIX в., создание сравнительно-исторического метода языковедных исследований, который совершенствовался и продолжает совершенствоваться в связи с новыми и новыми открытиями в области исторического языкознания и уточнением методики лингвистического анализа.

Выдвижение этих научных задач являлось для своего времени отнюдь не случайным, оно было непосредственно связано с теми требованиями, которые предъявляла к языковедению сама жизнь. Так, и в наши дни перед языковедами как одна из самых насущных, актуальных задач встает задача разработки научных грамматик для сотен национальных языков и языков народностей, многие из которых были в прошлом бесписьменными. Эта задача актуальна не только по отношению к языкам, на которых говорят народы стран победившего социализма, но и для языков народов колониальных и зависимых стран, борющихся за свое национальное самоопределение.

И для решения только этой задачи необходимо использовать все положительное в предшествующей науке, начиная с первых попыток составления описательных грамматик. Ясно, какое большое значение имеют здесь достижения языковедения в области грамматической теории, в области фонетики и диалектологии, так сильно и плодотворно развившейся за последние 60 лет. Немалую роль призван сыграть в этом деле и сравнительно-исторический метод языковедных исследований, дающий возможность углубить историческую перспективу и раскрыть внутренние закономерности изучаемых языков.

Огромное преимущество работы языковедов на новом узловом этапе истории языкознания определяется существованием марксистской теории языка, дающей подлинно научное, материалистическое разрешение вопроса о сущности, характерных признаках и законах развития языка и опирающейся на весь положительный опыт языкознания прошлого.

Для правильной организации борьбы марксистского языкознания со всевозможными идеалистическими извращениями, с разного рода идеалистическими реакционными концепциями современной буржуазной науки также необходимо знание истории науки о языке на всем протяжении ее развития, начиная с древности и кончая современностью.

Всем этим вопросам можно было бы не уделять столько внимания, если бы в нашей лингвистической литературе последних лет не высказывалась точка зрения, дающая совершенно иную и, как нам кажется, неправильную оценку путей развития языковедной науки прошлого. Согласно этой точке зрения, история языкознания подразделяется на «донаучный» и «научный» периоды. При этом начало «научного» изучения языка связывается исключительно с открытием понятия о родстве языков и разработкой сравнительно-исторического метода лингвистических исследований. Таким образом, появление «научного» языкознания и даже языкознания вообще (как научной дисциплины) относится лишь к началу XIX в., к моменту появления первых работ в области сравнительного языкознания — трудов Боппа, Раска, Гримма, Востокова. Все, что создавалось в науке о языке до этого времени, объявляется «ненаучным» или «донаучным».

Абсолютным и единственным критерием в оценке научного значения языковедного исследования любой эпохи объявляется принцип «историзма». Поскольку языковеды древнего мира и нового времени (до XIX в.) не смогли выработать исторического подхода к анализу языковых явлений и не стали на точку зрения сравнительного языкознания, деятельность их определяется как не достигшая уровня подлинной науки и фактически выключается из рамок истории языкознания в собственном смысле слова. Наука о языке считается возникшей лишь в XIX в.

Такая точка зрения проводится и в учебнике по курсу «Введение в языковедение»⁵. Сторонники ее, правильно подчеркивая значение принципа историзма в языковедных исследованиях, сами забывают, однако, о том, что марксизм требует того, чтобы развитие науки рассматривалось как исторический процесс.

Вряд ли можно возражать против того, что в XIX в. наука действительно достигла исключительных успехов в историческом изучении языков самых различных семей. Успехи эти в значительной мере связаны с применением сравнительно-исторического метода исследования фактов языкового родства, что и составило один из важнейших этапов в развитии языковедения. Однако нельзя забывать о том, что достижения языковедения XIX в. были подготовлены всем развитием науки за предшествующий период. В особенности нельзя забывать об исследованиях ученых древнего мира, заложивших основы науки о грамматическом строе языка, а также о том, что эта наука на протяжении ряда веков продолжала развиваться в применении к материалу различных языков, вовлекавшихся в сферу изучения в зависимости от практических потребностей общественной жизни.

Предлагаемое сторонниками вышеизложенной точки зрения определение всего языковедения до XIX в. как «донаучного» представляется необоснованным, не соответствующим марксистскому пониманию процесса развития науки. Вытекающая из этой установки схема периодизации не может быть, как нам кажется, положена в основу построения курса истории языковедения. Этот курс должен, по мере возможности, осветить все основные этапы процесса познания языковых явлений в различных их аспектах, притом начиная с первых шагов развития языковедения, которое зародилось как наука уже более двух тысяч лет тому назад.

*

Принимая во внимание отсутствие программы, позволим себе высказать некоторые соображения по вопросу о содержании курса «История языковедения»⁶. Уже из предшествующего изложения ясно, что сведения о развитии науки о языке в древнем мире должны занять в этом курсе надлежащее место. Представляется необходимым дать характеристику достижений древнеиндийских языковедов в области разработки грамматики и фонетики (грамматика Панини как первое научное описание языковой структуры); в этой связи следует также остановиться на том, какое влияние на развитие взглядов европейских компаративистов первой половины XIX в. (Бопи, Шлейхер и др.) оказало ознакомление с грамматической теорией, созданной учеными древней Индии.

По мере возможности нужно также рассказать о развитии исследований по иероглифике, фонетике, грамматике, лексикологии, диалектологии в древнем Китае, так же как и в Индии, связанных с практикой филологического изучения и комментирования литературных памятников.

При изложении истории языковедных исследований в древней Греции особое внимание надо, как нам кажется, обратить на разработку основ грамматической теории, подчеркнув тесную связь изучения вопросов грамматики с вопросами логики (Аристотель, стоики). В специальном рассмотрении нуждается грамматическая концепция Александрийской школы, а также дискуссия между «аналогистами», утверждавшими наличие за-

⁵ См. А. С. Ч и к о б а в а, Введение в языковедение, ч. I, М., 1952, стр. 15.

⁶ Излагаемый здесь предварительный набросок содержания курса «История языковедения» основывается на опыте чтения этого курса автором в Ленинградском университете. Несомненно, что этот набросок нуждается в целом ряде дополнений, уточнений и исправлений.

кономерностей языковой структуры, и «аномалистами», отрицавшими эти закономерности. Исследования по грамматике латинского языка предстанут как непосредственное развитие грамматических традиций греческих ученых в применении к новому языковому материалу.

Особую линию в развитии языкознания древней Греции и Рима представляло изучение языковых проблем в философском аспекте. Интересен длительный спор о характере связи между наименованием и предметом («по природе» или «по установлению»), а также постановка вопроса о происхождении языка. При анализе этих вопросов особенно наглядно выступает коренная противоположность мировоззрения спорящих: борьба материалистических взглядов с идеалистическими. В целом языкознание древнего мира должно быть оценено в курсе как важный этап на пути развития научных взглядов по ряду вопросов теории науки о языке.

Описание языковедной работы в средневековой Европе не должно занимать много места в нашем курсе. Можно лишь кратко рассказать об использовании латинской грамматики в системе схоластического образования, а также о зачатках филологической работы в области отдельных европейских языков в некоторых монастырских школах (переводы богослужебных текстов, составление кратких глоссариев). Зато более подробно нужно охарактеризовать языковедные исследования средневековых арабских филологов, а также ученых других стран Востока (Средней Азии, Китая).

Для европейских стран важный этап в дальнейшем развитии науки о языке был связан с эпохой Возрождения. В этом новом периоде можно наметить три основные линии лингвистических исследований:

1. Создание описательных грамматик языков слагающихся наций — работа исключительной важности не только в плане выполнения практических требований, выдвигавшихся общественной жизнью эпохи поднимающегося капитализма, но и в научно-теоретическом плане. Хотя в основу этих грамматик и ложились традиционные схемы латинской грамматики, однако сам опыт применения их к новому языковому материалу неизбежно должен был способствовать дальнейшему развитию грамматической теории.

2. Расцвет классической филологии, связанный с возрождением интереса к литературе древней Греции и Рима. В процессе изучения и комментирования литературных памятников совершенствовалось знание грамматической структуры и словарного состава греческого и латинского языков. Правда, в достигшей таким образом высокого уровня «филологической» грамматике уже очень скоро стало ощущаться как серьезный теоретический недостаток отсутствие исторического подхода к анализу языковых явлений; чем больше совершенствовалось знание единичных фактов, тем явственнее обнаруживалась беспомощность языковедов-филологов старого типа в теоретическом осмыслении этих фактов. Отсюда «казуистика» и «произвольность» старой «филологической» или «технической» грамматики («казуистика» и «произвольность» не в описании самих фактов, но в их объяснении).

Однако умение детально фиксировать особенности употребления слов и форм в том виде, как они засвидетельствованы в конкретных языковых памятниках древней эпохи, явилось бесспорным достижением старой классической филологии. Использование опыта «филологической» грамматики несомненно обогатило сравнительное языкознание XIX в. в тот период его развития, когда от первых, часто поверхностных, обобщений фактов родства индоевропейских языков оно перешло к более углубленному изучению языковой истории.

3. Расширение лингвистического кругозора, связанное с изучением ряда

неизвестных прежде языков. Предпосылкой для этого являлись торговые путешествия и начало колониальных захватов. Сведения о многообразии существующих в мире языков, поступающие из сообщений путешественников, а также элементарные грамматики различных языков народов Азии, Америки, Африки, составлявшиеся миссионерами в целях религиозной пропаганды, обогащали научный горизонт европейских филологов. Поэтому уже в XVI в. появляются первые попытки классификации языков (И. Ю. Скалигер).

Указанные три аспекта языковедных исследований получили дальнейшее развитие в XVII—XVIII вв. Новым для этого периода явилось создание так называемой «философской» грамматики (французская грамматика Пор-Рояля), базирующейся на рационалистической философии XVII в. В курсе может быть дано критическое рассмотрение принципов построения этой грамматики⁷, появление которой было определено возросшей потребностью в языковой нормализации.

Говоря о достижениях языковедов XVIII в. в области научного описания грамматического строя языка, преподаватель должен охарактеризовать «Российскую грамматику» М. В. Ломоносова. Особого внимания заслуживает также развернувшаяся в эту эпоху работа по составлению академических словарей различных национальных языков, преследовавшая все ту же выдвинутую самой жизнью цель — установить национально-литературные языковые нормы.

Наряду с описанием успехов языковедной науки XVIII в. в деле составления нормативных грамматик и словарей, необходимо остановиться и на относящихся к этому времени первых попытках исторического подхода к фактам языка и изучения языкового родства (исследования М. В. Ломоносова⁸, а также труды голландского лингвиста Л. Тен Кате в области германских языков, венгерского лингвиста Ш. Дьярмати в области финно-угорских языков и др.).

В то же время следует подчеркнуть, что в XVIII в. проблема родства языков еще не была поставлена в центр научных интересов. Наряду с решением основной для этого периода задачи — составления нормативных грамматик и словарей, языковеды XVIII в. направляли свои усилия не столько в сторону сравнительного изучения отдельных языковых семей, сколько в сторону накопления сведений о неизвестных до того времени языках. Эта работа, выдающуюся роль в которой сыграла русская наука, несомненно, была для своего времени чрезвычайно плодотворна, так как содействовала расширению научного кругозора лингвистов, подготавливала почву для постановки проблем общего языкознания.

Характеризуя принципы составления многоязычных словарей, решавших выдвинутую наукой XVIII в. задачу количественного учета языков мира, необходимо отметить, что эти словари не вносили, однако, ничего качественно нового в развитие научных методов лингвистического исследования. Они базировались на чисто внешнем сопоставлении изолированных слов и речений и не давали возможности раскрыть исторически обусловленные закономерные соответствия, существующие между гене-

⁷ Ввиду того, что представители структуралистского направления в новейшей зарубежной лингвистике (Ельмслев и др.) в своей борьбе против исторического подхода к фактам языка пытаются возродить давно отжившие принципы универсальной логической грамматики XVII—XVIII вв., необходимо исторически подойти к оценке значения этого типа грамматики для своего времени и заострить критику основных ее положений в свете современных задач развития марксистской языковедной теории.

⁸ См. освещение этого вопроса в статье П. С. Кузнецова «О трудах М. В. Ломоносова в области исторического и сравнительного языкознания» («Ученые записки [МГУ]», вып. 150, 1952).

тически родственными языками. К началу XIX в. универсальные многоязычные словари сыграли свою роль одной из подготовительных ступеней в накоплении лингвистических фактов для последующего сравнительно-исторического исследования и являлись уже вчерашним днем науки.

Столбовой путь дальнейшего развития научного языкознания был связан с изучением фактов языкового родства, со сравнительно-историческим анализом грамматической структуры, словарного состава и фонетики языков, объединяемых в группы или семьи по принципу исторической общности их происхождения.

При изложении истории науки о языке в XIX в. центральное место, естественно, должно занять сравнительно-историческое языкознание, основные этапы его развития. Нам представляется целесообразным выделить два главных этапа: 1) историческое языкознание первого периода, начиная с трудов Боппа, Раска, Востокова, Гримма и кончая исследованиями 50—60-х годов XIX в. (Шлейхера, Курциуса и др.); 2) историческое языкознание второго периода, начиная с 70-х годов XIX в. (Потебня, младограмматики, Казанская школа, Фортунатов, ранний де Соссюр и др.).

Описанию первых шагов в области изучения фактов языкового родства может предшествовать краткое изложение сущности сравнительно-исторического метода, основанное на известных определениях Энгельса и Сталина и на их оценке успехов исторического языкознания XIX в.

Естественно ожидать, что преподаватель уделит особое внимание развитию сравнительного языкознания в первой четверти XIX в. — времени появления трудов Ф. Боппа, Р. Раска, А. Х. Востокова, Я. Гримма, составивших блестящее начало для дальнейших исследований в этой области. Подчеркнув, что исторический подход к изучению фактов приобрел в этих работах впервые решающее значение, он даст всестороннюю характеристику их содержания, а также примененного в них метода лингвистического анализа. При этом выявятся характерные различия в проблематике, выдвигавшейся названными учеными, а соответственно также и в применявшихся ими исследовательских приемах (у Боппа — преимущественный интерес к вопросу о происхождении грамматических форм в общеиндоевропейском языке-предке и гипотетические реконструкции их «первоначального» состава, у Востокова и Гримма — изучение конкретной истории славянской и германской языковых семей, основывающееся на применении сравнительно-исторического анализа соответствий и различий звуков и форм, наблюдаемых между отдельными членами этих семей, и т. д.).

При описании развития сравнительно-исторического языкознания на протяжении первой половины XIX в. должны быть отмечены успехи в области накопления фактов, подлежащих изучению, — определение состава языковых семей, выявление соответствий грамматического строя и словарного состава, сопровождаемое реконструкцией более древнего, исходного для родственных языков состояния и этимологическими разысканиями, попытки установления закономерных звуковых соответствий, правда, на этом этапе лингвистических исследований еще недостаточно последовательные.

Большое значение уже для этого этапа имела разработка сравнительных грамматик отдельных языковых групп в составе общеиндоевропейской лингвистической семьи, являвшейся преимущественным объектом сравнительно-исторических изысканий в первую пору их развития. Создание сравнительных грамматик германской, славянской, романской, кельтской языковых групп, а также обогащение сравнительно-исторического метода многовековым опытом филологического изучения классических (греческого и латинского) языков создавали основу для дальнейшего совершен-

ствования метода, для более углубленного проникновения в исторические закономерности языкового развития.

Отмечая все эти успехи молодого сравнительно-исторического языкознания, преподаватель дает развернутую характеристику таких обобщающих научных достижений своего времени трудов, как «Сравнительная грамматика индоевропейских языков» Боппа и «Компендий сравнительной грамматики» этих же языков Шлейхера. В этой связи представляется целесообразным более подробно рассмотреть лингвистические взгляды Боппа, сущность разработавшейся им теории агглютинации, его гипотезы о первоначальном строении глагольных форм (сочетание глагольного корня, имеющего предикативное значение, вспомогательного глагола-связки и личного местоимения-субъекта), которое должно было, по мнению автора этой концепции, некогда отражать структуру логического суждения, и т. д. Сопоставление со «Сравнительной грамматикой» Боппа «Компендия» Шлейхера покажет дальнейшую эволюцию метода сравнительно-исторического исследования, в особенности в области анализа звуковых соответствий между родственными языками и установления закономерностей развития звуков отдельных языков соотносительно с исходным «праязыковым» состоянием.

Однако, наряду с констатированием достигнутых успехов, необходимо также показать специфические недостатки, которые были присущи сравнительно-историческому языкознанию первого периода. Слушатели должны убедиться в том, что сравнительно-исторический метод не есть некая неизменная догма, однажды открытая, а затем подлежащая применению по одним и тем же готовым рецептам. Рассуждения о сравнительно-историческом методе вообще, безотносительно к его применению представителями различных научных направлений, нередко создают учителей и слушателей внеисторическое представление о его «достоинствах» и «недостатках». Нужно подчеркнуть, что метод этот развивался и совершенствовался в тесной зависимости от решения общих и частных вопросов языковедной науки и по мере накопления подлежащего исследованию конкретного лингвистического материала из области истории языков и родственных языков и диалектов в их современном состоянии.

Исторический подход к фактам различных языков, дающий возможность научно познать законы их развития, является наиболее существенной чертой сравнительно-исторического метода, определяющей его научную значимость, но надо отметить, что непоследовательность в проведении принципа историзма всегда являлась основным источником тех недостатков, которые были присущи этому методу на различных этапах его применения. С этой точки зрения надлежит, как нам кажется, подойти и к недостаткам сравнительного языкознания в первую стадию его развития, отмечая эти недостатки наряду с бесспорными достижениями.

Отрицательное влияние на лингвистические исследования первой половины XIX в. оказала антиисторическая концепция «двух периодов» в развитии языка. Согласно этой концепции, все языковые «формы» создавались в некий доисторический «органический» период. В течение этого периода могло происходить собственно «развитие» языковых форм, их качественное преобразование, совершенствование. Этот период относился к поре «младенческого» существования человечества, которое еще не вступило в «историческую» фазу своей жизни.

«Исторический» период знаменуется прекращением языкового развития в собственном смысле слова. Языковые «формы» в этот период больше не развиваются, но лишь «употребляются», и в процессе употребления они подвергаются распаду, разрушению. Языковые изменения, наблюдаемые в различные периоды истории народов и документированные даже

наиболее древними письменными памятниками, трактуются только как результат затемнения, разрушения первоначально стройного, гармоничного строения созданных в «органический» период форм.

Теоретические основы этой концепции были связаны с установками немецкой идеалистической философии. Антиисторическое представление о хаотичности совершавшихся на протяжении этого развития изменений, представление о том, что некогда существовавшая «идеальная» структура праязыка подверглась с течением времени губительным разрушениям, порождалось непониманием внутренних закономерностей исторического развития языков.

Теория «органического» периода в жизни языка получает различное освещение у языковедов первой половины XIX в. Бопп пытался определить «логический» состав возникавших в первобытный период существования индоевропейского праязыка форм, исходя из представлений рационалистической грамматики XVIII в., утверждавшей необходимость полного соответствия форм грамматики формам логики, и фактически оставлял вне круга своих интересов позднейшее развитие этих форм в тех или иных исторически известных языках.

Гумбольдт исходил из последовательно идеалистической концепции о «народном духе» или «гении», который, создав для себя некогда идеальную языковую «форму», определённый тип структуры, продолжает затем развиваться в «русле» этой структуры: однажды созданная «народным гением» языковая структура не подлежит уже затем существенным изменениям, а может претерпевать лишь мелкие отклонения в процессе употребления. В противовес этой откровенно идеалистической концепции Шлейхер дал вульгарно-материалистическую трактовку той же теории «двух периодов»; он объявил первый период периодом «естественного роста» языкового «организма», а второй — периодом его «увядания», естественного «разложения», «разрушения».

И в откровенно идеалистическом, и в вульгарно-материалистическом освещении теория «двух периодов» в жизни языка неизбежно обнаруживает свою полную антиисторичность, связанную с непониманием сущности и характера законов языкового развития. Попытка применять эту теорию при изучении сравнительной грамматики родственных языков, при изучении их истории составляла главный, определяющий недостаток сравнительного языкознания первой половины XIX в. Вряд ли есть необходимость разъяснять, к каким искажениям сущности языковых процессов должна была приводить (и приводила) трактовка наблюдаемых в истории языков фонетических и грамматических изменений, как фактов нарушения «органической стройности» первоначальной языковой структуры.

Однако с накоплением верных наблюдений в области истории языков, а также наблюдений над различными процессами, совершающимися в языках в их современном состоянии, постепенно стали создаваться предпосылки для преодоления антиисторической концепции «двух периодов» и для перехода к более правильному пониманию характера языкового развития. Коренной перелом в этом отношении намечился уже с конца 60-х годов и полностью совершился в 70—80-е годы прошлого столетия. Это был уже новый этап исторического языкознания.

Размеры статьи не позволяют подробно остановиться на вопросах, связанных с изложением и критическим анализом лингвистических направлений последней четверти XIX в. и XX в. Ограничимся перечнем тем, которые, по нашему мнению, нужно включить в программу.

Большое внимание должно быть уделено всесторонней характеристике лингвистических концепций А. А. Потебни, младограмматиков, представителей Казанской школы, Ф. Ф. Фортунатова. Наряду с критикой идеалистической трактовки философских вопросов языковедения (индивидуалистический психологизм как мировоззрение большинства буржуазных языковедов последней четверти XIX в.) следует показать то новое и положительное, что было внесено представителями названных направлений в разрешение общих вопросов языковедной теории и в историческое изучение конкретных языков и языковых групп.

При разборе этих концепций важно отметить характерное для них противоречие между явно идеалистическим определением сущности языка и элементами материалистической трактовки изучаемых явлений, наблюдаемых в процессе добросовестного научного исследования языкового материала.

В связи с анализом отдельных направлений языковедения конца XIX в. перед преподавателем встанет необходимость осветить ряд теоретических вопросов, выдвигавшихся представителями этих направлений (вопрос о закономерностях развития грамматического строя языка, о звуковых законах, значение наблюдений над живой речью и т. д.). При этом нужно будет покончить с имевшей прежде место недооценкой значения деятельности Ф. Ф. Фортунатова для развития общего и сравнительно-исторического языковедения. Опираясь на материалы не только печатных трудов этого выдающегося ученого, но прежде всего на его лекционные курсы (сохранившиеся лишь в литографированных изданиях), преподаватель должен будет показать подлинное лицо Ф. Ф. Фортунатова, как одного из ведущих для своего времени теоретиков, самостоятельно развивавшего положения, во многом сходные с положениями младограмматиков, но во многом и отличные от них. Должное место в курсе следует отвести и всестороннему рассмотрению научных принципов Казанской лингвистической школы (И. А. Бодуэна де Куртене, Н. В. Крушевского, В. А. Богородицкого).

В целом языковедение последней четверти XIX в., в его передовых направлениях, может быть охарактеризовано как один из важных этапов развития научной мысли, обогативший науку множеством конкретных исследований в области истории и современного состояния целого ряда языков и языковых групп. Успехи в применении сравнительно-исторического метода при изучении языковых фактов, достигнутые в этот период, также должны быть освещены в лекциях.

Говоря о трудах К. Бругмана, Б. Дельбрюка, Ф. Ф. Фортунатова, молодого Ф. де Соссюра и других исследователей сравнительной грамматики индоевропейских языков, преподаватель не может не указать на те новые проблемы и методы их разрешения, которые характеризуют второй период развития исторического языковедения. Однако подробное изложение этого материала не может быть дано в курсе «История языковедения», так как оно потребовало бы слишком много специальных объяснений. Мы считаем, что целесообразно ограничить их изложение, сославшись на специальный курс сравнительной грамматики индоевропейских языков.

Эту же трудность надо учитывать и при характеристике лингвистической концепции А. Мейе, которую невозможно по-настоящему осветить без учета его работ в области истории и сравнительной грамматики языков индоевропейской семьи. Характеризуя деятельность А. Мейе и его школы, преподаватель уже переходит к изложению основных лингвистических направлений XX в.

Помимо дальнейших успехов в области сравнительного языковедения, связанных главным образом с открытием неизвестных прежде лингвисти-

ческих материалов (тохарского и хеттского языков), надо, как нам кажется, специально остановиться на исследованиях в области диалектологии, которые существенно обогатили языковедение новыми фактами, новой проблематикой, новыми методами лингвистического анализа. Особое внимание нужно фиксировать на методе исследования русских диалектологов, а также на французской и немецкой школах лингвистической географии. При этом необходимо иметь в виду актуальность критики теоретических недостатков этого направления, в особенности присущих трудам Жильерона и его школы.

Из теоретических концепций буржуазного языковедения первой четверти XX в. острому критическому анализу подлежат взгляды Ф. де Соссюра, воинствующий идеализм К. Фосслера и его последователей, а также взгляды Г. Шухардта (в частности, его теория языковых «смешений», как якобы ведущего фактора в языковом развитии). Этот анализ необходимо связать с критикой новейших реакционных направлений в зарубежной лингвистике. Представляется целесообразным дать в курсе разбор структуралистской и неолингвистической концепций, а также отдельных направлений англо-американской лингвистики (теория «языковых моделей» Сепира, «этнолингвистика», бихэвиоризм, «семантическая» теория). Ясно, что критика враждебных марксизму идеалистических теорий должна быть глубокой и конкретной.

Определенное место в курсе должно занять освещение основных направлений в русском предреволюционном языковедении, а также лингвистической работы, проводившейся в Советском Союзе до дискуссии 1950 г. Нужно подчеркнуть успехи в разработке грамматической теории (труды А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова). Следует также рассказать о большой работе по изучению различных языков народов Советского Союза, развернувшейся в связи с практикой социалистического строительства в национальных республиках и областях.

Одной из тем в этой части курса явится критика так называемого «нового учения» о языке Н. Я. Марра и его последователей. При этом вряд ли целесообразно давать слушателям хоть сколько-нибудь подробный разбор нелепой теории «четырёх элементов», которую мало кто развивал даже из числа непосредственных учеников Н. Я. Марра. Полезнее и интереснее для слушателей будет критический разбор тех положений марровского учения, которые в особенно большой мере оказывали в свое время отрицательное влияние на теоретическую работу в области языковедения. Это — теория о «надстроечном характере» и «классовости» языка, идеалистическое понимание соотношения языка и мышления, теория «стадиальности», теория языковых смешений, как якобы определяющего фактора в языковом развитии, ошибочные взгляды по вопросам грамматики и т. д.

Рассказ о лингвистической дискуссии 1950 г., направившей развитие советского языковедения по единственно правильному пути ликвидации марризма и внедрения марксистского понимания сущности языка и законов его развития, явится завершающим моментом курса истории языковедной науки. Заключительной темой должно стать изложение марксистской теории языка, а также проблематики научных исследований, проводимых на ее основе.

*

Опыт показал, что для изложения намеченной тематики недостаточно одного семестра (36 часов), а необходим годовой курс. Серьезную трудность в работе над лекциями по истории языковедения представляет недостаток пособий. Особенно плохо обеспечены в этом отношении такие темы, как

языкознание древнего Востока, языкознание второй половины XIX в., современное зарубежное языкознание. Далеко не полно разработана история языкознания в России. Сравнительно благополучно обстоит дело лишь с критическим изложением достижений русских языковедов в области грамматической теории. Зато очень болезненно ощущается отсутствие работ, посвященных характеристике общетеоретических взглядов Ф. Ф. Фортунатова. Слабо освещено значение трудов представителей Казанской школы, много нерешенных вопросов еще остается в оценке научного наследия А. А. Потебни и т. д. Задачи научной подготовки языковедных кадров настоятельно требуют расширения исследовательской работы в области истории языкознания.

В последнее время в журнале «Вопросы языкознания», а также в других периодических изданиях стали появляться статьи, посвященные критическому анализу различных направлений в современной зарубежной лингвистике. Статьи эти читаются с огромным интересом и несомненно очень помогают преподавателям языковедческих дисциплин в их работе над лекционными курсами. Однако хотелось бы, чтобы тематика статей такого рода была несколько расширена с учетом того, что для читателя представляет интерес не только критическое рассмотрение наиболее реакционных направлений, но также ознакомление с положительными сторонами и недостатками исследований, проводимых в ряде конкретных лингвистических областей (сравнительная грамматика, диалектология, лексикология и др.).

Кроме того, можно пожелать, чтобы в нашей лингвистической печати появлялись также статьи, посвященные языковедным направлениям прошлого. Правильная оценка научного наследия имеет не меньшее, а иногда и большее принципиальное значение, чем знакомство с очень многими из новейших концепций зарубежной лингвистики, не говоря уже о том, что для того чтобы оценить их действительную «новизну», необходимо хорошо знать историю языкознания.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «СЛОЖНЫХ ГЛАГОЛАХ» ТИПА *STAND UP*
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Исследователь современного английского словообразования не может пройти мимо одной его своеобразной черты — ограниченной роли префиксации. Употребляющиеся в живом английском языке глагольные префиксы немногочисленны и почти все имеют переносное, не пространственное значение. Поскольку же пространственные значения являлись основой для развития всех других значений префиксов, становится очевидным, что префиксация в системе английского глагола утратила весьма важную область применения и развития.

Роль префиксов в английском внутриглагольном словообразовании в значительной степени выполняют особые элементы: *up, down, in, out, off, away, on, forth, back* и др. Они располагаются отдельно от глагола, причем после него, и обладают свойством подвижности: в предложении они могут быть отделены от своего глагола другими членами предложения. Характерным свойством постпозитивных элементов является их необычайная продуктивность в производстве сочетаний с различными глаголами.

В современном языкознании весьма распространено мнение, что упомянутые постпозитивные элементы, выступая в сочетаниях с глаголами (типа *stand up*), представляют собой отдельные слова, а именно — наречия или предлоги. В некоторых работах наших советских лингвистов эти же «слова» относят к так называемым «предложным наречиям» или «послелогам».

Однако между вторыми компонентами глагольных сочетаний типа *stand up* и полноценными наречиями места (ср. *below* «внизу», *above* «вверху») существует большое различие и по функции, и по значению.

Основной функцией наречия является функция обстоятельственного слова, определения при глаголе. Сопутствуя глаголу и выражая те или иные признаки действия или условия, в которых оно совершается, наречие в то же время остается самостоятельной лексической и синтаксической единицей. Если наречие убрать из предложения, то общий смысл высказывания станет менее полным и точным, но значение действия от этого не изменится. Ср.: *He was standing above on the rock* («Он стоял вверху на скале») и *He was standing on the rock* («Он стоял на скале»).

Второй компонент глагольных сочетаний типа *stand up* не выражает какого-либо признака действия, который бы мыслился как нечто отдельное от этого действия. Сливаясь с глаголом в одно семантическое целое, он выражает вместе с ним одно понятие. Поэтому устранение второго компонента обычно влечет за собой изменение значения глагола, например: *sit down* («сесть») — *sit* («сидеть»), *go away* («уходить») — *go* («идти»), *stand up* («встать») — *stand* («стоять»). В некоторых случаях с устранением второго компонента изменяется не основное значение сочетания, а его оттенки, например: *eat up* — *eat* («есть»), *swallow up (down)* — *swallow* («глотать»), *kneel down* — *kneel* («стать на колени»), *sink down* — *sink* («опуститься») и др., где глаголы в сочетании с постпозитивными элементами обозначают более интенсивное совершение того же действия.

Постпозитивный элемент, входя в сочетание с глаголом, не обладает никакими самостоятельными синтаксическими связями вне пределов этого сочетания: он всецело подчинен внутренним связям, существующим в пределах сложного целого. Так, например, в предложении *He put it down on the chair* («Он положил это на стул») обстоятельство места *on the chair* связано не с одним элементом *down*, а со всем сочетанием *put down* и определяет его в целом.

Второй компонент рассматриваемых глагольных сочетаний обычно более абстрагирован по значению, чем наречие. Например, говоря: *John came in and addressed the people* («Джон вошел и обратился к людям»), мы не сообщаем о том, куда конкретно вошел Джон, а только о том, что он вошел.

Не менее ошибочно отождествление постпозитивных глагольных элементов с предлогами. Предлоги резко отличаются от них своими ясно выраженными синтаксиче-

скими свойствами, своей функцией—быть всегда средством выражения связи между словами в предложении. Предлоги обычно безударны, имеют так называемые «слабые формы» с редукцией гласных и другими изменениями звукового состава. Постпозитивные глагольные элементы, напротив, не синтаксичны и всегда несут на себе ударение, они не имеют «слабых форм». В языке существует настолько четкая дифференциация между предлогами и послеглагольными элементами, что часто такие две одинаково звучащие формы употребляются рядом в одном предложении, не вызывая этим ни ощущения тавтологии, ни затруднения в понимании, например: *A grave crisis has already set in in the textile, garment, furniture, and other industries manufacturing peace goods* («New Times») («В текстильной, швейной, мебельной и других отраслях промышленности, производящих товары для мирного потребления, уже установился серьезный кризис»); *The letter b was thrust in in the sixteenth century* («Буква *b* была введена в XVI столетии»).

М. Ганшина и Н. Василевская в своей «Грамматике английского языка» высказывают мнение о том, что послеглагольный элемент есть не что иное, как предлог, который в определенных случаях может выступать «изолированно от существительного». Поэтому *Take off your hat* («Снимите шляпу») — это якобы то же самое, что *Take your hat off your head* («Снимите шляпу с головы»), а *Put on your hat* («Наденьте шляпу») — это то же самое, что *Put your hat on your head* («Наденьте шляпу на голову»)¹. Между тем подобные случаи значительно различаются между собою по степени абстракции. Во вторых предложениях этих пар имеется излишняя конкретизация действия — указание, на что надо надеть и с чего надо снять шляпу. Поскольку это само собой разумеется, англичанин предпочтет более экономное и лаконичное, более абстрагированное: *Take off your hat, Put on your hat*, где внимание сосредоточено на действии. Это действие выражается сложным глагольным образованием, второй компонент которого среди предлогов зачастую не встречается. Конструкция с предлогом будет употреблена тогда, когда действие направлено на необычный, не обязательный объект, например: *Take your hat off the table* («Возьмите шляпу со стола»), *Put your hat on the shelf* («Положите шляпу на полку»).

Часто смешивают послеглагольные элементы с теми предлогами, которые определяют лексическое значение глагола, например: *look at* («смотреть»), *look for* («искать»), *look after* («ухаживать»), *wait for* («ожидать»), *wait on* («обслуживать») и др. Для этого также нет никаких оснований. В этих случаях предлог остается синтаксическим формантом и сохраняет все перечисленные выше отличия от послеглагольного элемента. В отношении словообразовательных способностей между ними тоже существует большое различие. Сочетания с такими предлогами чаще всего однозначны и во всяком случае не имеют той разветвленности значений, которая характерна для сочетаний с постпозитивными элементами. Ср.: *look for* («искать») и *look out* («быть настороже; иметь вид; искать; присматривать») и т. д. Предлоги обычно сообщают данное видоизменение значения только одному глаголу. Так, предлог *for*, который меняет лексическое значение глагола *look* («смотреть») на *look for* («искать»), не вносит аналогичного значения в другие глаголы (ср.: *wait for* «ожидать», *call for* «требовать», *fight for* «сражаться»). Напротив, послеглагольные элементы, соединяясь с различными глаголами, выполняют всегда аналогичные, определенные функции (например: *go off* «уйти», *run off* «убежать», *fly off* «улететь»).

Предлог, не влияющий на лексическое значение глагола, может быть опущен (например, *wait* и без *for* значит «ожидать»), тогда как устранение послеглагольного элемента меняет значение глагола. Употребление предлога обычно требуется глаголом и жестко регулируется традицией, тогда как употребление послеглагольного элемента обычно бывает обусловлено заданием высказывания и часто является результатом индивидуального словотворчества.

Стель же неправомерно смешение послеглагольных элементов типа *up, down* с так называемыми «обослбленными» предлогами, выступающими в таких предложениях, как, например: *He doesn't like to be laughed at* («Он не любит, когда над ним смеются»); *That is the man I told you about* («Это тот человек, о котором я вам говорил»). Предлоги здесь сохраняют свои синтаксические свойства. Правда, они получают ударение и несколько теснее связываются с глаголом, но сохраняют все названные выше черты, отличающие предлоги от послеглагольных элементов.

В последнее время в работах по английскому языку все чаще встречается термин «предложные наречия». В. Н. Макеенко видит в таких «предложных наречиях» «гибридный грамматический тип, соединяющий в себе функции двух категорий: наречия и предлога»². Проф. А. И. Смирницкий считал существование такой гибридной кате-

¹ См. М. Ganshina and N. Vasilevskaya, *English Grammar*, 7-th ed., rev., Moscow, 1953, стр. 254.

² См. В. Н. Макеенко, Сочетания глаголов с предложными наречиями в современном английском языке. Канд. дисс., М., 1951, стр. 99.

гории одной из характерных черт английского языка³. Доц. О. С. Ахманова, смешивая в одну категорию глагольные постпозитивные элементы и предлоги⁴, совершенно отрицает существование каких бы то ни было различий между ними и даже сомневается, «...есть ли вообще предлоги в современном английском языке...»⁵

Все эти лингвисты считают комплексы типа *stand up, sit down* словосочетаниями. Так, например, по мнению В. Н. Макеевко, мы имеем одни и те же словосочетания *fall off, climb up* в предложениях: 1) *It fell off* («Он [предмет] упал с [чего-нибудь]»); 2) *It fell off the shelf* («Он упал с полки»); 3) *He climbed up* («Он вскарабкался»); 4) *He climbed up the tree* («Он вскарабкался на дерево»). Ошибка здесь состоит в том, что под словосочетанием понимается любая пара связанных по смыслу слов. Между тем словосочетание должно состоять не менее чем из двух самостоятельных или «полных» слов, к числу которых *off* и *up* в предложениях втором и четвертом отнесены быть не могут. Минимальным словосочетанием здесь может быть *fell off the shelf* «упал с полки» и *climbed up the tree* «взобрался на дерево»; остановиться же на предлоге как на границе словосочетания — это все равно, что считать словосочетаниями группы «пошел по» или «о побеге». Следовательно, между элементами *off* и *up* в предложениях первом и третьем, с одной стороны, и втором и четвертом — с другой, есть принципиальное различие.

Употребление одних и тех же звуковых комплексов *up, out, down* в качестве послеглагольных связанных элементов и в качестве предлогов или наречий является одним из случаев так называемой конверсии — способа словообразования, весьма характерного для аналитического английского языка. Возникает вопрос, можно ли считать такую легко конвертируемую звуковую единицу словом? А. И. Смирницкий, сопоставляя *love* («любовь») и *love* («любить»), сам решительно высказывался против этого: «Тогда получится, — писал он, — что частями речи в английском языке могут быть не слова, а некоторые совокупности форм в пределах одного слова, т. е. слова могут не быть определенными частями речи, а изменяться по частям речи... получится, что в английском языке различение частей речи в принципе не связано с различением слов... тогда вообще нельзя говорить о частях речи в английском языке как об определенных грамматических классах слов, как о словах того или иного из этих классов. Тогда следовало бы говорить лишь о субстантивных, глагольных, адективных и прочих формах отдельных слов. Правда, большое число слов оказалось бы употребляемым лишь в некоторых из этих форм, но это должно было бы рассматриваться лишь как неполнота парадигм данных конкретных слов или известных семантических групп слов...»⁶.

Эти совершенно справедливые замечания являются, по нашему мнению, самым неотразимым опровержением существования «гибридной категории предложных наречий», выдвинутой самим же А. И. Смирницким. Ведь принимая существование этой категории, мы должны считать, что одно и то же «слово» в предложении *Down in the valley there stood a small cabin* («Внизу в долине стояла маленькая хижина») имеет наречную форму, в сочетании *down the hill* («[вниз] по холму») — предложную, а в *sit down* («сесть») — форму лексической морфемы.

«Конверсия, — писал А. И. Смирницкий в той же работе, — есть такой вид словообразования (словопроизводства), при котором словообразовательным средством служит только сама парадигма слова»⁷.

При этом упускается из виду, что конверсия как способ словообразования имеет место не только в системе изменяющихся частей речи: конвертироваться может и неизменяемая часть речи в другую, тоже неизменяемую часть речи, скажем, наречие в предлог, причем и в этом случае (как и в том, который рассматривает А. И. Смирницкий) один и тот же звуковой комплекс следует рассматривать как разные слова.

В дополнение к этому нужно отметить то весьма существенное обстоятельство, что среди английских послеглагольных элементов есть такие, как *out, on* (например, в *go on* «продолжать, идти дальше»), *away, back, forth*, которые никогда не выступают в роли предлогов. А. И. Смирницкий отделял их от остальных послеглагольных элементов и считал «просто наречиями», но происходящий при этом разрыв и противопоставление таких вполне односторонних сочетаний, как *go in* («входить») и *go out* («выходить»), *go over* («переходить») и *go back* («возвращаться»), *go off* («уходить») и *go away* («уходить»), конечно, нельзя считать оправданным. Чувствуя искусственность

³ См. А. И. Смирницкий, Об особенностях обозначения направления движения в отдельных языках, «Иностр. языки в школе», 1953, № 2, стр. 3—12.

⁴ См. О. С. Ахманова, О роли служебных слов в словосочетании, «Доклады и сообщения» [Ин-та языкознания АН СССР], т. II, М., 1952, стр. 117—134.

⁵ О. С. Ахманова, К вопросу о словосочетании в современном английском языке, «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», 1950, вып. 6, стр. 488.

⁶ А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, «Иностр. языки в школе», 1953, № 5, стр. 22—23.

⁷ Там же, стр. 24.

разделения этих однотипных элементов, В. Н. Макеенко в своей диссертации относит к «предложным наречиям» все послеглагольные элементы, умалчивая при этом, что почти половина из них предложениями вовсе не бывает.

Исходя из теории «предложных наречий», нельзя объяснить и тот факт, что данные элементы, кроме чисто пространственных значений, имеют также очень часто весьма абстрактные интенсивное или перфективное значения, как, например, в сочетаниях *eat up* («съесть»), *swallow up* («проглотить»), *sink down* («опуститься»), *kneel down* («стать на колени») и др., а также то, что часто их значения полностью растворяются в значении всего комплекса, например: *put up (with)* («примиряться»), *bear out* («подтверждать»), *come about* («случаться») и др.

Еще менее состоятельной в научном отношении является теория «послелогов» в английском языке. «Послелогами» как особой частью речи считают послеглагольные элементы рассматриваемого нами типа проф. Б. А. Ильиш⁸, проф. И. Е. Аничков⁹ и др. Термин этот довольно широко распространился и употребляется в некоторых учебных грамматиках и даже в словарях.

Введение термина «послелог» неудачно прежде всего потому, что этот термин уже много лет употребляется в языковедении с совершенно другим значением: под послелогом обычно понимается синтаксический формант, равнозначный с предлогом, но занимающий положение после того имени, которое он связывает с другими словами. В этом же значении употребляет данный термин Г. Н. Воронцова для обозначения синтаксического форманта *-s*, выражающего в современном английском языке отвошения притяжательности¹⁰. Обозначение тем же термином уже не примененных, а приглагольных, причем функционально совершенно различных элементов только на том основании, что они тоже «стоят после», неизбежно ведет к терминологической путанице.

Кроме того, было бы неправильно считать послеглагольный связанный элемент особой частью речи, так как он морфологически и синтаксически не самостоятелен, сливается с глаголом в одно целое и выполняет в этом сочетании словообразовательную функцию. Выше уже отмечались случаи, когда связанность послеглагольного элемента доходит до того, что его значение совсем невозможно выделить в общем значении сочетания (например: *set by* «ленить», *pull round* «поправляться», *put up at* «остановиться» и др.). Как словообразующая морфема ведет себя этот «послелог» и в тех случаях, когда значение всего сочетания зависит от следующего за ним предлога, например: *put up (with)* («примириться») и *put up (at)* («остановиться [в гостинице]») (ср. с этим *look at*, *look for*).

Нельзя не отметить, что под термином «послелог» обычно объединяются самые разнородные элементы. Так, например, И. Е. Аничков в своей диссертации объединяет под этим названием и приглагольные связанные элементы (*up*, *down*, *out*), и слова «категории состояния» (*ablaze*, *afire*, *ashore*, *aboard*), и наречия (*again*, *ago*, *home*, *below*, *behind*, *aside*), и предлоги (*to*, *under*, *after*).

В современном языковедении принято считать, что слово, в отличие от словосочетания, должно удовлетворять двум основным требованиям: оно должно обладать во-первых, смысловой цельностью, выражающейся в достаточно легкой выделяемости его из потока речи, и, во-вторых, «технической» цельностью, или цельюоформленностью.

Английским глагольным сочетаниям типа *stand up* в полной мере свойственна смысловая слитность. Они легко отделяются от соседних слов в предложении именно как единое целое, обладающее внутренней цельностью значения. Так, например, два предложения: *He stood and looked into the window* («Он стоял и смотрел в окно») и *He stood up and looked into the window* («Он встал и посмотрел в окно») различаются между собой не тем, что во втором случае в предложение введен элемент *up*, а тем, что в этом предложении вместо формы глагола *stand* употреблена форма глагола *stand up*. Во втором предложении *stood up* явственно выступает как один член предложения — простое сказуемое, к которому можно поставить вопрос: *What did he do?* («Что он сделал?») и невозможно — *Where did he stand?* («Куда он стал?»). Форма сочетания соотносится с целой серией таких же двусоставных форм: *stands up*, *will stand up*, *standing up*, которые выступают при этом как ф о р м ы с л о в а.

Слитность значений компонентов такого сочетания возрастает по мере развития у него переносных значений и в таких глаголах, как *put up* («смириться»), ничем не отличается от слитности простого слова.

Однако с другой стороны, такие глагольные комплексы не обладают полной формальной цельностью: внешне они раздельны, подобно словосочетаниям и фразеологи-

⁸ Б. А. Ильиш, Современный английский язык, 2-е изд., испр. и доп., М., 1948, стр. 245 и сл.

⁹ И. Е. Аничков, Английские адвербиальные послелоги. Докт. дисс., М., 1947.

¹⁰ См. Г. Н. Воронцова, Об именном форманте *-s* в современном английском языке, «Иностр. языки в школе», 1948, №№ 3, 4.

чеким единицам. К тому же второй компонент их подвижен. В то же время, изучая употребление данных комплексов в современном английском языке, мы не можем не заметить, что между их компонентами существуют явные формальные связи, отличающиеся от обычных связей, характерных для членов словосочетания.

Эти формальные связи заключаются прежде всего в чрезвычайно сильном стремлении компонентов непосредственно примыкать друг к другу. В современном английском языке существуют сотни сочетаний, которые на практике никогда не бывают дистантными, например: *give up* («отказаться»), *stand up* («встать»), *sit down* («сесть»), *burst out* («разразиться»), *break out* («вспыхнуть») и многие другие. Почти всегда неразделимы компоненты сочетаний, имеющих непреходное, а также переносное значения. Знаменательно, что второй компонент в большинстве случаев ставится между глаголом и прямым дополнением, т. е. на месте, куда не допускаются никакие наречия.

В тех случаях, когда сочетания имеют переходное значение, компоненты их могут разделяться, но при этом между ними могут появляться только такие члены предложения, которые наиболее тесно связаны с глаголом, т. е. дополнение и обстоятельство образа действия, например: *He put his coat on* («Он надел шляпу»); *The boy came slowly in* («Мальчик медленно вошел»). При этом внешняя разделенность компонентов не ослабляет слитности всего сочетания.

Таким образом, при отсутствии полной формальной цельности мы замечаем у этих сочетаний явную тенденцию к такой цельности и, во всяком случае, определенные формальные связи между составными частями. Это обстоятельство дает нам право полагать, что в английских глагольных сочетаниях типа *stand up* мы имеем не обычные словосочетания «глагол + наречие», а особые «переходные, промежуточные образования» между словом и словосочетанием. Возможности их существования не отрицал и А. И. Смирницкий¹¹. В некоторых работах для таких образований были предложены термины «эквивалент слова» и «аналитическое слово» (О. С. Ахманова).

Введение термина «аналитическое слово» для глагольных единиц типа *stand up* нам кажется вполне оправданным. Дело в том, что если бы все словарные единицы, представляющиеся словами, легко подходили под упомянутые два критерия — смысловую выделенность и цельноформленность, в вопросе о слове не существовало бы никаких трудностей. На самом деле, как совершенно правильно указывал А. И. Смирницкий, «...языковая действительность гораздо сложнее и многообразнее...»¹². Большинство слов, действительно, отвечает этим двум требованиям, но наряду с ними имеется также значительное количество единиц, которые и формально, и в смысловом отношении более цельны, чем словосочетание, но по форме еще не достигли монолитности отдельного слова. Нам кажется, что лингвисты в этом случае должны не упростить языковую действительность, подгоняя ее под готовые рамки формул, а уточнить и совершенствовать как свои представления о ней, так и соответствующие научные положения.

В ряде грамматик и учебников английского языка (а также в программе для средней школы) глагольные сочетания типа *stand up* называются «сложными глаголами», следовательно, способ, которым они образуются, считается словосложением. Однако это не соответствует действительной структуре изучаемых сочетаний.

Как было установлено за последнее время в работах советских лингвистов, словосложение отражает меньшую степень лексической абстракции, чем словообразование путем аффиксации. При образовании сложных слов их составные части еще далеки от превращения в словообразовательные морфемы. В современном английском языке мы находим очень небольшое количество глаголов, действительно образованных по способу словосложения. Это такие глаголы, как *broadcast* («вещать [по радио]»), *browbeat* («запугивать»), *whitewash* («белить») и т. п. Они отличаются структурно от сочетаний типа *stand up* тем, что имеют два семантических центра, одинаково важных для общего значения глагола. В сочетаниях же типа *stand up* основное значение заключено в глаголе, а элемент *up* вносит определенное видоизменение в это значение. Постпозитивный элемент отличается от любой части сложного слова тем, что он имеет функциональное значение, очень продуктивен и, по сравнению с частями сложения, более абстрагирован. В связи с этим образованием глагольных сочетаний этого типа скорее можно отнести к аффиксальному словообразованию, чем к словосложению.

Второй компонент глагольных сочетаний типа *stand up* выполняет функцию словообразовательной морфемы и имеет ее абстрактный характер. Однако отнести его к морфемам не позволяют два обстоятельства. Во-первых, большинство из существующих определений морфемы требуют от нее так называемой «дробности».

«Под морфемой, — писал проф. Г. О. Винокур, — ... понимается звуковое единство (т. е. звук или сочетание звуков), наделенное той или иной функцией, притом единство

¹¹ См. А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «отдельности слова»), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952.

¹² Там же, стр. 203.

дробного характера, т. е. такое какое не способно существовать независимо и всегда функционирует только как часть единства более сложного, слова»¹³.

В связи с тем, что наряду с прилагательными постпозитивными элементами *up*, *down*, *out*, *in*, *off* и др. в современном английском языке аналогичные элементы употребляются в функции наречий или предлогов, этим звуковым единствам обычно отказывают в «дробности»; следовательно, они не могут быть причислены к морфемам. На этом же основании американский лингвист Керм считает префиксами только *be-* (в *besprinkle* «обрызгивать»), *re-* (в *retell* «пересказать»), а такие элементы, как *out-* (*outlive* «пережить»), *over-* (*overweight* «перевешивать»), *under-* (*underfeed* «недокармливать»), относит к наречиям.

Можно ли с этим согласиться? В различных языках можно найти немало примеров, когда бывшая самостоятельная лексическая единица, в результате процессов грамматической абстракции, превратилась в несомненный грамматический формант, но в то же время с ней не произошло какого-либо существенного звукового изменения. Таковы, например, суффиксы: в английском языке *-ful* (*plentiful* «обильный»), *-less* (*penniless* «безденежный»); в немецком языке *-voll* (*machtvoll* «могущественный»), *-reich* (*geistreich* «остроумный»), *-los* (*sorglos* «беззаботный»), *-frei* (*sorgenfrei* «беззаботный»), *-mann* (*Seemann* «моряк»), *-werk* (*Schuhwerk* «обувь»), *-zeug* (*Flugzeug* «самолет»), *-stoff* (*Lehrstoff* «[учебный] материал»). Еще чаще находим это явление среди префиксов, например: русские — *над-* (*над-писать*), *из-* (*из-носить*), *обо-* (*обо-значить*); немецкие — *übersetzen* («переводить»), *umschreiben* («описывать»), *durchwintern* («перезимовать»); английские — *outweigh* («перевешивать»), *uplift* («поднимать»), *overlook* («проглядеть»). Можно ли считать, что только потому, что в силу ряда причин эти элементы не претерпели существенных фонетических изменений (подобно *be < by*), их внутреннее качество и функциональный характер в какой-либо мере отличаются от других приставок? По нашему мнению, для такого заключения нет оснований.

«Дробный» характер морфемы действительно является одним из частных, возможно, даже преобладающих ее признаков, но он не может быть обязательным и во всяком случае определяющим. Достаточно указать на тот факт, что в таком классе морфем, как корни слова, «дробность» очень часто отсутствует. Что касается аффиксов, то «дробность» более характерна для суффиксов, повидному, обязательна для флексий, но не всегда характерна для префиксов.

Другим возражением против отнесения постпозитивного элемента к морфемам является то, что элементы сочетания типа *stand up* раздельны и подвижны, они допускают вклинивание между собой других слов и словосочетаний. Однако здесь следует напомнить, что такой критерий самостоятельности слова, как непроницаемость и неподвижность компонентов, не является абсолютным¹⁴.

Акад. В. В. Виноградов относит неподвижность и слитность морфем к свойствам второстепенным, вспомогательным, «поддерживающим» основное различие между морфемой и словом, и ограничивает их наличие «такими языками, как русский»¹⁵. Даже в русском языке имеются случаи отделенности морфемы и проницаемости слова, например: *никто — ни у кого, некому — не у кого*.

Все это дает основание утверждать, что в языке аналитического строя, каким является английский язык, могут существовать словообразовательные морфемы, обладающие подвижностью. Это и есть послелаговые элементы *up*, *down* и др. Производное слово, образованное при помощи такой подвижной морфемы, представляет собой своеобразное аналитическое слово.

*

Постпозитивные элементы *up*, *down* и др. качественно отличаются от суффиксов и флексий; если же мы сравним постпозитивные элементы с префиксами, то сразу же обнаруживается значительная общность свойств тех и других 1) и префиксы и постпозитивные элементы имеют применение главным образом в области глагола и отглагольных образований; 2) и те и другие имеют внутреннее словообразовательное значение, т. е. прибавление их к глаголу образует тоже глагол, а не какую-либо иную часть речи; 3) и префиксы и постпозитивные элементы присоединяются к слову в целом; 4) и те и другие выполняют функцию видоизменения лексических значений глагольных основ.

Различие между префиксами и постпозитивными элементами состоит, во-первых,

¹³ Г. О. Винокур, Заметки по русскому словообразованию, «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», 1946, вып. 4, стр. 315.

¹⁴ См. В. В. Виноградов, О формах слова, «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», 1944, вып. 1, стр. 33.

¹⁵ Там же. Ср. также В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 9—10.

в их противоположной позиции в слове и, во-вторых, в том, что постпозитивный элемент внешне разделен с глаголом.

Во многих работах по языкознанию определения аффиксов часто основываются только на формальных признаках, например: «С у ф ф и к с — это морфема, обычно стоящая после корня, но перед флексией, и служащая для образования слов и грамматических категорий... П р е ф и к с — морфема, стоящая перед корнем и имеющая те же функции, что и суффикс...»¹⁶ Как видим, в этом определении все различие между суффиксом и префиксом сводится к их разной позиции в слове. Между тем это по меньшей мере не точно. Позиция не может быть главным и основным различием между суффиксом и префиксом, она сама является средством выражения каких-то более глубоких, принципиальных отличий одного элемента от другого — отличий по качеству, по существу, по значению и функции¹⁷. Именно этим, а никак не позицией, объясняется, например, то, что суффиксы и префиксы имеют разную сферу применения: префиксация характерна преимущественно для глагола, а суффиксация — для имен.

В языке могут существовать морфемы, однотипные с суффиксами или префиксами, но отличающиеся от них своей позицией относительно корня слова. Именно такое положение мы имеем в английском языке с приглагольными постпозитивными элементами: эти элементы оказываются разнородностью глагольных префиксов, которые располагаются не перед корнем, а после него, т. е. являются п о с т п о з и т и в н ы м и п р и с т а в к а м и. Взгляд на английские элементы *up*, *in* и др. как на «постпозиционно присоединенные к глаголу префиксы» впервые высказал еще проф. В. А. Богородицкий¹⁸.

Существует еще ряд фактов, свидетельствующих о приставочном характере приглагольных постпозитивных элементов.

1. Для английского языка характерен постепенный переход к постпозитивной префиксации, совершившийся параллельно с процессом сокращения и вытеснения системы препозитивных глагольных префиксов. Эта замена одного явления другим свидетельствует об однотипности этих явлений.

2. Основной и первичной функцией постпозитивных приставок (так же, как когда-то префиксов) была функция выражения направления движения или действия в пространстве. В дальнейшем постпозитивные приставки развивают в себе на основе этих конкретных значений значения все более отвлеченные. Процесс этот заканчивается слиянием с глаголом и образованием новых «тем», где значения компонентов становятся нераздельными. Эти пути и характер развития префиксов и постпозитивных приставок очень сходны.

3. В современном английском языке постпозитивная приставка никогда не присоединяется к тем глаголам, которые уже имеют в своем составе префикс (при условии, если последний является живым и легко выделяемым): язык не допускает такого положения, чтобы в одном и том же слове одновременно были в разной позиции однопорядковые морфемы. К тому же для английского языка невозможно скопление нескольких приставок в одном глаголе. То, что постпозитивные элементы подчиняются этой общей закономерности, также подтверждает их приставочный характер.

4. Как уже упоминалось, подвижность постпозитивной приставки не произвольна, но ограничена вполне определенными условиями: эта приставка имеет явную тенденцию примыкать к корневому глаголу.

5. В отглагольных именных образованиях постпозитивные приставки, как и префиксы, тяготеют к полному слиянию с основой, например: *runaway* («беглец») — мн. число *runaways*; *take-in* («обман») — мн. число *take-ins*; *set-down* («отпор») — мн. число *set-downs*.

6. В современном английском языке сохранились следы непосредственной общности префиксов и постпозитивных приставок.

а) В ряде случаев один и тот же элемент с аналогичным значением вступает в сочетание с тем же глаголом то как префикс, то как постпозитивная приставка: *overlook* — *look over* («проглядеть»); *uproot* — *root up* («вырывать с корнем»); *uplift* — *lift up* («поднимать»); *upgather* — *gather up* («подбирать»); *offset* («противостоять») — *set off* («противопоставлять») и др.

б) При образовании причастий от глагола с постпозитивной приставкой последняя (особенно часто постпозитивная приставка *out*) легко переходит в препозицию как префикс, например: *lie out* («находиться вне чего-либо») — *outlying*; *stretch out* («простирается») — *outstretched*; *hold out* («протягивать») — *outheld*; *cast out* («выгонять») —

¹⁶ Р. А. Б у д а г о в, Очерки по языкознанию, М., 1953, стр. 141.

¹⁷ «Суффиксы и приставки отличаются друг от друга не только и не столько местоположением по отношению к производящей основе. Различие между ними значительно более глубокое...» (Н. М. Ш а н с к и й, Основы словообразовательного анализа, М., 1953, стр. 44).

¹⁸ См. В. А. Б о г о р о д и ц к и й, Введение в изучение современных романских и германских языков, М., 1953, стр. 102 и 103.

outcast; *speak out* («говорить прямо») — *outspoken*; *look down* («смотреть свысока, презирать») — *down-looking*; *come in* («входить, прибывать») — *incoming*; *stand up* («вставать, подниматься») — *upstanding*.

в) Существует много отглагольных существительных с префиксами, тогда как соответствующих префиксальных глаголов в современном языке нет: эти префиксальные существительные соотносятся с глаголами, имеющими постпозитивные приставки. Например: *come out* («выходить»), *outcome* («выход, исход»); *come in* («входить, прибывать»), *income* («доход, приход»); *break out* («вспыхивать»), *outbreak* («вспышка»); *turn out* («вырабатывать»), *outturn* («выработка, выпуск»); *set on* («нападать»), *onset* («натиск, нападение»); *set out* («отправляться»), *outset* («отправление, начало»); *put out* («вырабатывать»), *output* («выработка, выпуск»); *fit out* («снаряжать»), *outfit* («снаряжение»); *look out* («выглядеть»), *outlook* («вид»); *let out* («выпускать»), *outlet* («выпускное отверстие»); *let in* («впускать»), *inlet* («вход, впуск»).

Исторически переход английского языка от препозитивной к постпозитивной префиксации был, повидимому, связан с общегерманским законом ударения. Закрепление ударения за первым слогом корня сообщило ударению смысловый характер. Поэтому ударение корня требовало подчинения себе (безударности или ослабления ударности) всех остальных частей слова. Пространственные приставки, возникшие задолго до этого из наречий, имели ту особенность, что в своем основном значении были обязательно ударными. Ударность пространственного префикса неминуемо должна была вступить в противоречие с ударностью корня. Противоречие это было особенно серьезным, так как оба ударения были смысловыми. Всякое ослабление ударения приставки связывалось с потерей ее пространственных значений и развитием значений переносных. Ослабление ударения на первом слоге корня вообще было невозможно. В результате этих противодействующих сил пространственные префиксы, оставаясь в препозиции, постепенно начали отделяться от корня. Такое положение характерно для древнеанглийского языка. Однако разделяющая препозиция не устраняла основного противоречия, так как префикс все равно оставался перед ударным корневым слогом. Вклинивание других слов между префиксом и глаголом ослабляло их словообразовательные связи. Поэтому следующим этапом был переход от префиксации к постпозитивному размещению глагольных приставок. Этот процесс начался еще в древнеанглийском языке и длился примерно до XVII столетия. Некоторые остатки препозиции пространственных глагольных приставок сохранились еще и сейчас в английском языке.

Итак, мы можем считать, что постпозитивный элемент глагольного сочетания типа *stand up* — это постпозитивная приставка, часть аналитического слова, морфема, обладающая абстрагированным функциональным значением и являющаяся основным средством внутривлагольного словообразования. По функции и свойствам она адекватна префиксу, но размещается после корневого глагола и его постфиксов (если они есть); семантически она сливается в одно целое с корневым глаголом, выражая с ним одно понятие, а формально сохраняет с ним раздельность, развивая за счет этого своеобразные связи с глаголом и всегда стремясь примыкать к нему непосредственно. Будучи способной в стилистических целях отдаляться от корневого глагола и допуская вклинивание других слов, постпозитивная приставка в то же время не обладает никакими самостоятельными синтаксическими связями вне сочетания с глаголом.

К числу постпозитивных приставок современного английского языка следует отнести элементы: *about*, *across*, *around*, *away*, *back*, *by*, *down*, *forth*, *in*, *off*, *on₁* (*put on*), *on₂* (*go on*), *out*, *over*, *round*, *through*, *up*.

Глаголы с этими постпозитивными приставками подразделяются на следующие типы:

1. Глаголы с постпозитивными приставками, сохраняющими свое первичное, конкретное пространственное значение. Такие глаголы имеют наиболее ясную, прозрачную структуру, однако они цельны по значению и формально связаны. Например: *go out* («выходить»), *come in* («входить»), *sweep away* («сметать»), *fly off* («улетать»), *go down* («спускаться»).

2. Глаголы с постпозитивными приставками, имеющими более абстрактное, переносное значение, например: *boil down* («уваривать»), *take off* [«сбавлять (цену)»], *take down* («сносить, разрушать»), *take up* [«заполнять (собой)»], *get along* («преуспевать»), *speak away* («заговориться») и т. п.

3. Глаголы с постпозитивными приставками, имеющими значение усиления, интенсификации действия либо имеющими перфективное значение, например: *kneel down* («становиться на колени»), *rise up* («подыматься»), *swallow up* («проглотить»), *eat up* («съесть») и т. п.

4. Глаголы с постпозитивными приставками, которые в процессе развития и перенесения значения образовали по существу новые производные основы, значения которых не выводятся из значений составных частей, например: *put up (with)* («примириться»), *give in* («уступать»), *give up* («покидать»), *bear out* («совпадать, подтверждать»), *come about* («случаться»), *fall out* («сориться»), *take in* («обманывать»), *bring round* («приводить в себя»), *turn in* («лечь спать»), *turn up* («случаться») и многие другие. Поскольку в этих глаголах постпозитивная приставка фактически потеряла свое функциональное значение, эти глаголы в точном смысле непрефиксальны.

В то время как образование первых трех типов глаголов с постпозитивными приставками представляет собой живой процесс и допускает большую индивидуальную свободу в пользовании этим средством словообразования, глаголы четвертого типа существуют в виде неизменных, застывших словарных единиц, обладающих большой степенью идиоматичности.

*

Установление прелатовочного характера вторых компонентов глагольных сочетаний типа *stand up* в современном английском языке должно иметь, по нашему мнению, большое значение: оно приводит к заключению, что английский язык в ходе своего исторического развития не утратил способности к использованию префиксации как способа внутривлагольного словообразования. Префиксация в нем преобразовывалась, принимала новые формы, более соответствующие строю языка. Этот вывод вполне соответствует марксистскому тезису об устойчивости строя языка в целом, его системы словообразования в частности. Следовательно, утверждение, будто бы «...в ходе своей истории английский язык сменил способ развития значений глагольного фонда...»¹⁹, не соответствует действительным фактам языка. По средствам внутривлагольного словообразования современный английский язык принципиально не отличается от других индоевропейских языков. В то же время его своеобразной чертой является то, что видоизменение значений глагольных основ осуществляется в нем главным образом при помощи весьма сложной и развитой системы постпозитивных приставок.

Ю. А. Жуктенко

¹⁹ И. А. Ершова, К истории развития в английском языке сочетаний глагола с пространственным наречием (в связи с проблемой скандинавского влияния на английский язык). Канд. дисс. (МГУ), М., 1951, стр. 13.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТРУДАХ А. ГРАМШИ

Труды крупнейшего итальянского теоретика-марксиста Антонио Грамши (1891—1937) содержат специальные разделы и многочисленные «заметки», посвященные вопросам лингвистики и представляющие большой интерес для марксистского языкознания. Они являются ярким и ценным документом борьбы против идеалистических концепций буржуазной лингвистики, за марксистский подход к изучению сущности и общественной функции языка. Особенно большое методологическое и теоретическое значение имеет постановка проблемы формирования и развития итальянского национального языка в так называемых «Тюремных тетрадах» (1929—1935)¹, которые составляют основную, наиболее значительную часть теоретического наследства Грамши.

В настоящее время вопрос о том, как складывались и развивались лингвистические взгляды Грамши, не может быть освещен с необходимой полнотой. Ранние лингвистические работы Грамши пока еще не изданы и, возможно, еще не все собраны. Так обстоит дело, например, с его письмами, содержащими заметки о значениях отдельных слов сардинского языка в различных районах провинции², о которых говорил П. Тольятти в своем выступлении в Туринском университете в 1949 г.³ Неизвестна судьба работы, посвященной «вопросу о языке, как он был поставлен Мандзони» (написана около 1920 г.); Грамши упоминает о ней в одном из писем тюремного периода⁴.

Однако в нашем распоряжении уже теперь имеется большой материал, притом относящийся к наиболее зрелому периоду деятельности Грамши-теоретика. Этот материал содержится в упомянутых «Тюремных тетрадах», которые были изданы Итальянской компартией в 1948—1951 гг. в 6 томах: «Исторический материализм и философия Бенедетто Кроче», «Интеллигенция и культурное строительство», «Рисорджименто», «Заметкио Макьявелли, о политике и о современном государстве», «Литература и национальная жизнь», «Прошлое и настоящее»⁵. В каждом из этих томов имеются лингвистические рубрики и отдельные «заметки», но особенный интерес в этом отношении представляют работы «Интеллигенция и культурное строительство», «Рисорджименто» и «Литература и национальная жизнь». Последняя имеет специальные разделы: «Национальный язык и грамматика», «Заметки для введения в изучение грамматики» и «Лингвистика».

Опираясь на марксистско-ленинское учение об обществе, Грамши разработал в своих «Тюремных тетрадах» в сжатом, синтетическом виде новую концепцию истории Италии, в частности истории формирования итальянской нации. Проблема развития итальянского национального языка, которую Грамши исследовал во всеоружии специальных знаний, является частью этой концепции. Труд филолога соединяется здесь

¹ В 1926 г. Грамши был арестован фашистским правительством и отправлен в ссылку, а позже—приведен к тюремному заключению, которое продлилось десять лет. См. Л. Ломбардо-Падиче и Дж. Карбоне, Жизнь Антонио Грамши (Биографический очерк) [перевод с итальянского], М., 1953.

² Грамши считал сардинский самостоятельным романским языком: «Сардинский—не диалект, а самостоятельный язык, хотя он и не имеет большой литературы» (Письмо тюремного периода от 26 марта 1927 г., опубли. в журн. «Vie Nuove» 31 октября 1948 г.).

³ «Unità di pensiero e di azione nella vita di Antonio Gramsci», «Unità» 1 V 49 (ed. piemontese).

⁴ Сб. «Lettere dal carcere», Torino, Einaudi, 1948, стр. 103.

⁵ Opere di Antonio Gramsci, Torino, Einaudi, vv. 2—7: «Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce», 1948; 2-e ed.—1949; «Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura», 1949; 3-e ed.—1950; «Il Risorgimento», 1949; ?-e ed.—1950; «Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno», 1949; «Letteratura e vita nazionale», 1950; «Passato e presente», 1951. [Первый том — «Lettere dal carcere» («Письма из тюрьмы»), 1947; 6-e ed.—1950].

с трудом историка, и новая постановка проблемы итальянского национального языка получает одновременно новую историческую базу для ее дальнейшей разработки. Это обстоятельство следует подчеркнуть особо.

Естественно, что проблема итальянского языка, как она трактуется у Грамши, не может быть правильно понята без предварительного изучения и раскрытия всей концепции истории Италии, разработанной в «Тюремных тетрадах». Нельзя сказать, чтобы содержание «Тюремных тетрадей», в частности историографическая концепция Грамши, получило полное, всестороннее и связное освещение. Но в настоящее время ведется большая исследовательская работа, центром которой в Италии является Институт Грамши (Fondazione Gramsci) в Риме, основанный Итальянской компартией. Работы П. Тольятти, Э. Серени, Ф. Платоне, Г. Манакорда, К. Салинари и других, опубликованные в коммунистических журналах «Ринашита», «Сочьета», в газете «Унита» и других изданиях, раскрывают и развивают дальше проблемы, поставленные в «Тюремных тетрадах». Благодаря этому уже теперь имеется возможность выделить собственно лингвистическую часть теоретических работ Грамши в качестве темы для специального исследования.

Грамши получил специальную филологическую подготовку в Туринском университете (1911—1915), где с 1907 г. преподавал проф. Маттео Бартоли, известный своими работами по истории романских и славянских языков (южной группы). В условиях, когда в итальянском языкознании еще господствовали концепции младограмматиков, отрицавших историческую обусловленность фонетических изменений и на этом основании превращавших языкознание в естественную науку, Бартоли выступил как поборник сравнительно-исторического метода. Он настойчиво искал новые приемы сравнительно-исторического изучения языков. Увязывая лексические и грамматические изменения в истории языков с данными фонетических изменений, исследуя закономерность этих последних, он установил родственный «закону Вернера», но особый фонетический закон, помогающий раскрыть отдельные вопросы этимологии и морфологии в индоевропейских языках. Данные лингвистической географии он стремился использовать для изучения истории языка. Подводя итоги своей работы в «Очерках пространственной лингвистики» (1945), Бартоли оценивал установленные им «нормы распространения» (*norme spaziali*) «только как средство для нахождения хронологического соотношения между двумя или несколькими лингвистическими фазами». Он отмечал при этом, что «хронология, конечно, еще не есть история, но лишь ступенька, которая ведет к истории»⁶. Бартоли выступал от лица нового направления в итальянском языкознании — так называемых «неолингвистов», хотя он занимал среди них, как это показывал Грамши, особое место.

Грамши-студент сумел оценить значение лингвистических исканий Бартоли, его борьбу за восстановление в правах сравнительно-исторического метода и, естественно, держал сторону этого ученого. Впоследствии он писал в «Тюремных тетрадах»: «Нововведение Бартоли состоит именно в том, что лингвистику, которая воспринималась скудно как естественная наука, он сделал наукой исторической, корни которой следует искать „во времени и пространстве“, а не в речевом аппарате, понимаемом физиологически»⁷. Именно методологические заслуги Бартоли Грамши считал особенно ценными. Со своей стороны, Бартоли возлагал большие надежды на молодого талантливого лингвиста, видя в нем поборника нового (тогда еще недостаточно дифференцировавшегося) направления, который должен был обеспечить окончательную победу неолингвистике и закрепить ее положение в итальянском языкознании. Однако в то время Грамши не мог всецело отдаться лингвистическим занятиям и полемике с неограмматиками. В последние годы учения в университете он все больше втягивался в рабочее движение и усиленно занимался историей, философией, политэкономией. Много лет спустя он вспоминал о несбывшихся надеждах своего учителя в несколько шутливым тоне: «Одно из величайших интеллектуальных „угрызений“ моей жизни состоит в глубоком огорчении, которое я доставил моему доброму профессору Бартоли из Туринского университета, убежденному, что я и есть тот архангел, который призван окончательно по-с р а м и т ь „неограмматиков“...»⁸.

Эти слова относятся к 1927 году, когда Грамши, находясь в фашистской тюрьме, намечает обширный план теоретических работ, в который входило и специальное исследование по сравнительному языкознанию. «Естественно, — отмечал он в одном из писем, — что здесь речь может идти только о методологической и чисто теоретической стороне предмета, которая еще не была изложена сколько-нибудь систематически и

⁶ M. Bartoli, *Saggi di linguistica spaziale*, Torino, 1945, стр. VIII.

⁷ «Letteratura e vita nazionale», стр. 207.

⁸ «Lettere dal carcere», 2-e ed., 1948, стр. 27.

полно с новой точки зрения — с точки зрения неолингвистов против неограмматиков⁹. Это замечание касалось не только условий, в которых Грамши приходилось работать; оно показывает вместе с тем, что Грамши в первую очередь интересовали вопросы метода.

В годы заключения Грамши проделал огромную работу, несмотря на то, что его здоровье было окончательно подорвано фашистскими тюрьмами. Но ему не удалось полностью реализовать лингвистическую часть своего плана, хотя, с другой стороны, он дал не предусмотренную этим планом новую постановку проблемы развития итальянского национального языка. То, что было им сделано в соответствии с планом, показывает, что замысел Грамши не мог сводиться к той задаче, которую некогда ставил перед одаренным студентом проф. Бартоли. Здесь речь могла идти лишь отчасти о выполнении старого «долга». В исследовании Грамши центр тяжести должен был лежать, как это видно из отдельных подготовительных «заметок», на марксистской разработке методологических вопросов языкознания. Задача «посрамления» неограмматиков в значительной степени утратила свою актуальность в период создания «Тюремных тетрадей». С тех пор, когда она была поставлена Бартоли перед Грамши, прошло много лет и положение в итальянском языкознании изменилось. Началась дифференциация среди самих неолингвистов, большинство их встало на идеалистические позиции и так или иначе порвало с принципом историзма в языкознании. С другой стороны, пройденные годы были наиболее значительным периодом в формировании философских взглядов самого Грамши, что не могло не отразиться и на его лингвистических позициях. Активно участвуя в революционном движении итальянского пролетариата, Грамши после Великой Октябрьской социалистической революции становится «первым подлинным, полноценным, последовательным марксистом в Италии» (Тольятти)¹⁰. Лингвистические взгляды Грамши в этот период развивались по линии установления связей истории языка с развитием общества, с историей мышления. «Для него, — говорит Тольятти о Грамши, — история каждого слова и каждого слога неизбежно становилась историей мышления, — только так мог он понимать языкознание. Поэтому, когда он рассказывал нам об особенностях диалекта того или иного города или области Италии, ему удавалось оживить перед нами всю историческую эпоху, всю социальную среду»¹¹.

Грамши-марксист ясно представлял себе не только порочность лингвистических концепций неограмматиков, но и ограниченность «возрождаемого» отдельными неолингвистами типа Бартоли сравнительно-исторического метода в том виде, как он был тогда разработан. Тем более он хорошо понимал, какой вред наносят итальянскому языкознанию неолингвисты, сменившие позитивизм на новейшие формы идеалистической ма. Поэтому, разрабатывая методологические вопросы языкознания, Грамши подвергает критическому разбору не столько теории неограмматиков, сколько концепции реакционной части неолингвистов, так называемых «идеалистов». Эти последние в значительной степени были повинны в том, что в Италии 30-х годов, по словам Грамши, «все еще не была найдена база, на которой должны основываться лингвистические исследования». Многие итальянские неолингвисты возрождали давно уже отжившие свой век риторические теории «красивых» и «грубых» слов, «поэтических» и «непоэтических» языков, создавали индивидуалистические теории происхождения и развития языка, производные этимологические концепции, требовали изучения языка как «физического явления», возвращаясь, таким образом, назад к младограмматикам. Испытывая одновременно влияние эстетики Кроче и его теории отождествления искусства и языка, они занимались исключительно экспрессивной функцией языка, идеалистически связывая ее с «духовным творчеством» отдельных лиц (аналогичные взгляды немецкого нефилолога К. Фосслера восходят к тому же источнику — крочеанской эстетике). Все это так или иначе вело к игнорированию общественной природы языка и его основной — коммуникативной — функции. Вместе с тем из языкознания изгонялся принцип историзма.

Естественно, что вопросы метода, исследовательских приемов в языкознании приобретали в этих условиях особое значение. Поэтому они и стоят в центре лингвистических «заметок» Грамши. В этом отношении очень показательна содержащаяся в «Тюремных тетрадях» критика сенсационных «открытий» известного полиглота Альфредо Тромбетти. Решая вопрос о генеалогии этрусского языка, Тромбетти почти отождествлял этот язык с одним из «азиатических» языков — эламским, сблизив одновременно и тот и другой с кавказскими языками. Он утверждал, что этрусский язык вместе с другими мертвыми «азиатическими» и так называемыми доэллинскими языками является промежуточным между кавказской и индоевропейской группой, с большей степенью близости к этой последней (Тромбетти претендовал на расшифровку за-

⁹ «Lettere dal carcere», 2-e ed., стр. 27.

¹⁰ См. «Итальянская коммунистическая партия. Краткий исторический очерк» [перевод с итальянского], М., 1951, стр. 75.

¹¹ «Unità di pensiero e di azione nella vita di Antonio Gramsci», «Unità» 1 V 49.

гадочных этрусских надписей). «Открытия» Тромбетти предполагали признание заморского происхождения этрусков, что опровергается многими авторитетными учеными, сторонниками «трансальпийской» теории, и поэтому с этнографической точки зрения были более чем проблематичными. С лингвистической точки зрения они совершенно не выдерживали критики. Несостоятельность доводов Тромбетти была очень показательна, так как она была непосредственно связана с тенденцией игнорирования исследовательскими приемами сравнительно-исторического языкознания, возникшей среди неолингвистов-«идеалистов».

Именно в связи с критикой «открытий» Тромбетти, этого «потрясающего полiglота, но не лингвиста», Грамши делает замечание о значении метода в научно-исследовательской работе. «В науках вообще,— пишет Грамши,— метод является самым главным. В тех же науках, которые должны по необходимости базироваться на ограниченном запасе положительных данных, ограниченном и неоднородном¹², вопросы метода становятся еще более значительными, если не решительно всем. При наличии некоторой фантазии не составляет особенного труда строить одну гипотезу за другой, придавая определенной доктрине внешний блеск логичности. Однако критика такого рода гипотез опрокидывает весь этот картонный домик и вскрывает пустоту под внешним блеском»¹³.

Критикуя Тромбетти, Грамши подчеркивал значение сравнительно-исторического метода для развития языкознания. Гипотезы Тромбетти оказались несостоятельными потому, что он игнорировал основные требования этого метода. Исходя из ложной теории языкового моногенизма как результата «моногоенизма человечества с Адамом и Евой в качестве предков» (этим он снизил себе поддержку католической церкви), Тромбетти произвольно сближал языки различных систем друг с другом, только на основании наличия в них сходных по звучанию слов. Соображения морфологического порядка, имеющие определяющее значение, не принимались им во внимание, так же как и данные фонетических изменений. Его не смущало то, что сопоставляемые слова принадлежали к различным фазам в развитии сравниваемых языков. Данные внешнего созвучия слов у Тромбетти подкреплялись лишь законом функциональной семантики. «Я вспоминаю,— пишет Грамши,— в высшей степени забавный пример с ариосвропейским глаголом движения, сравниваемым с одним словом из азиатского диалекта, которое обозначает „пуп“. Согласно Тромбетти, они должны были соответствовать друг другу на том основании, что „пуп“ непрерывно „движется“ при дыхании!»¹⁴. Бездоказательность и бесплодность «изысканий» Тромбетти в настоящее время является общепризнанной¹⁵.

Грамши выступал как защитник сравнительно-исторического метода, но принцип историзма в языкознании он понимал шире и глубже, чем итальянские языковеды-компаративисты новой школы. Грамши добивался увязывания проблем развития языка с историей общества, историей мышления. В «Тюремных тетрадах» мы находим критику антиисторического подхода некоторых итальянских неолингвистов к проблемам семантики, что проявлялось, в частности, в вопросе о «метафоричности» языка («эстетические» концепции воинствующего неолингвиста Джулио Бертони и др.).

Грамши показывает, что использование старых слов для обозначения новых явлений или понятий не является произвольным, так же как оно не является и актом эстетического отбора. Оно определяется связью языка с историей мышления, с историей культуры. «Никакая новая историческая ситуация,— пишет Грамши,— если даже она вызвана самыми радикальными переменами, не может полностью изменить язык, по крайней мере в его внешнем, формальном аспекте»¹⁶. Словарный состав языка развивается и обогащается не только за счет пополнения новыми словами, но также и за счет того, что часть старых слов получает новые значения и используется, таким образом, «метафорически». «История семантики,— пишет Грамши,— есть аспект истории культуры: язык представляет собой в одно и то же время и нечто живое и музей древнейшей жизни и цивилизации. Когда я употребляю слово *disastro*¹⁷, это еще не дает основания приписывать мне астрологические суеверия, и если я говорю *per Vacco*¹⁸, — никто не станет считать меня поклонником языческих богов, и тем не менее эти выражения свидетельствуют о том, что современная цивилизация развилась также из язычества и астрологии»¹⁹.

¹² Речь идет в данном случае об этрусском и других мертвых языках.

¹³ «Gli intellettuali...», 1949, стр. 189—190.

¹⁴ Там же, стр. 192.

¹⁵ См., например, А. С. Ч и к о б а в а, Введение в языкознание, ч. I, М., 1952, стр. 227.

¹⁶ «Il materialismo storico...», 1948, стр. 149.

¹⁷ Итал. «несчастье», «бедствие», «крушение» (от лат. *dis*+*astrum* «несчастливая звезда», астрологич. терминология).

¹⁸ Итал. «черт возьми!»

¹⁹ «Il materialismo storico...», 1948, стр. 146.

Итальянские философы-прагматисты усматривали в «метафорическом» употреблении слов доказательство распылчатости, неточности общеупотребительного, общенародного языка. В полном соответствии со своей субъективно-идеалистической философией «чистого действия», игнорирующей законы исторического развития, прагматисты (Преццолини, Вильфредо Парето) создали лженаучную теорию «языка как источника ошибок». Они призывали к организации похода против «традиционного» словаря, во имя создания «чистого», «математически точного языка». Грамши показал, что «теория» прагматистов была другим проявлением антиисторического подхода к вопросу о «метафоричности» языка²⁰. Деятельность прагматистов была направлена против общенародного языка и практически должна была вылиться в создание особого жаргона. Такого рода «новаторство» Грамши именует «неолализмом» — термином, которым в психиатрии обозначают патологическое «словотворчество» душевнобольных. Грамши настойчиво боролся со всякого рода произвольными новообразованиями в языке, идущими вразрез с исторической традицией, ограничивающими и подрывающими коммуникативные возможности языка как средства общения всего народа.

Отстаивая общенародные нормы, всемерно подчеркивая значение коммуникативной функции языка, Грамши одновременно ставил вопрос и о соотношении «общенародного» и «индивидуального» в языке. Каждый индивид, писал он, является «отражением и интерпретатором» национального языка. «Индивидуальное» не может быть произвольным, напротив, оно должно опираться на богатство выразительных возможностей общенародного языка. Только в этом случае оно будет действительно ценным и сможет оказать обратное плодотворное воздействие на обогативший его источник. Целый ряд «заметок» показывает, что Грамши считал очень важным и необходимым изучение «индивидуального» в языке отдельных писателей, но лишь в его отношении к «общенародному». Так, он писал по поводу работы Эрико Сикарди «Итальянский язык у Данте»: «Не знаю, насколько точно все то, о чем пишет Сикарди²¹, в частности, насколько возможно „историческое“ изучение „частных“ языков отдельных писателей — ввиду отсутствия существенной документации — широких свидетельств разговорного языка тех периодов, к которым принадлежат эти писатели. Однако то, к чему призывает Сикарди, методологически правильно и необходимо...»²².

С позиций такого понимания соотношения «индивидуального» и «общенародного» в языке, Грамши выступает против разработанной Кроче и воспринятой неолингвистами-«идеалистами» идеалистической теории отождествления языка и искусства (согласно этой теории, основным в развитии языка оказывалось «языкотворчество» отдельных индивидов — художников слова).

«Отождествление искусства и языка, сделанное Кроче, — пишет Грамши, — обусловило известное продвижение вперед, позволило разрешить одни проблемы и объявить несуществующими и произвольными другие, но перед лингвистами, которые по самой своей сущности являются историками, встала другая проблема: возможна ли история языков вне истории искусства? а также: возможна ли история искусства? Ведь лингвисты изучают языки не как искусство, а как „материал“ искусства, как общественный продукт, как выражение культуры определенного народа и т. д.»²³. Неолингвисты-кроччанцы не только не ставили проблем истории языка, но фактически делали все возможное, чтобы помешать постановке этих проблем, отрывая язык от его творца и носителя — народа. В этом отношении особенной активностью отличался Джулио Бертони, профессор романской филологии в Римском университете, основатель и руководитель журнала «Archivum romanicum». В его работах «идеалистическая тенденция нашла свое наиболее полное выражение», и поэтому Грамши избирает Бертони главным объектом своей критики, направленной против итальянских языковедов-«идеалистов». Характеризуя философские позиции Бертони, Грамши отмечает, что здесь речь идет о позитивисте, «который испытывает умиление перед идеализмом, ибо этот последний является более модным и позволяет упражняться в риторике»²⁴.

Возрождая старые предрассудки (этимологические построения типа «sol quia solus est», разделение слов и языков на «красивые» и «грубые», «культурные» и «варварские»), — это как раз и была та риторика, в которой позволяла упражняться идеалистическая философия!), Бертони выступил в то же время как приверженец кроччанской эстетики, хотя, как отмечает Грамши, он не вполне разобрался в ней. Кроче и его ученики приветствовали появление в свет работ Бертони: они были заинтересованы

²⁰ Критика итальянских прагматистов в «Историческом материализме» Грамши может быть распространена на так называемых «семантиков» в зарубежном реакционном языкознании последнего времени, которые также требуют «критики» языка и ратуют за создание «математического» языка («кибернетика» в США).

²¹ Грамши смог познакомиться только с основными положениями работы, по рецензии.

²² «Letteratura e vita nazionale», стр. 210.

²³ Там же, стр. 209.

²⁴ Там же, стр. 207.

в распространении новых форм идеалистической философии «на ту область знания, где безраздельно господствовал позитивизм». Они поддерживали Бертони и тогда, когда он настаивал на «натуралистическом» изучении языков, так как подлинным намерением Бертони было затуманить общественную природу языка и увести языковедение в сторону от изучения языка как общественного явления. В работе «Литература и национальная жизнь» Грамши вскрывает эту тенденцию, подчеркивая одновременно, что языковедение является не естественно-исторической, а общественно-исторической наукой. «Что значит оправдание того, что Бертони производит „натуралистический анализ языков как явления физического и как явления социального?“ — писал Грамши, имея в виду „адвокатскую“ услужливость крочанцев. — Как явления физического? Что это значит? Что и человек должен изучаться не только как элемент политической истории, но и как явление биологическое? Что необходимо также и химический анализ произведений живописи? Что было бы полезно установить, скольких механических усилий стоило Микельанджело изваять „Моисея?“»²⁵.

Кроче и Бертони отрывали историю языка от истории общества, и это проявлялось с особой наглядностью в их отношении к так называемому «вопросу о языке», т. е. к проблеме развития общности языка в Италии в период образования итальянской нации. Полемизируя с известным итальянским писателем и филологом Алессандро Манцони, который в 40—60-х годах XIX в. дал во многих отношениях правильную и плодотворную постановку проблемы единства языка, Кроче заявил: «...проблема единства языка является несуществующей проблемой; нет ничего общего между понятием языка и понятием единства... Напротив, существует соотношение между языком и искусством. Вопрос сводится не к единству, но к красоте, и поэтому он неразрешим с помощью норм материального характера»²⁶. По Бертони, единство, общность языка достигаются также не в результате поглощения местных диалектов национальным языком и распространения общенациональных норм, обусловленных процессом складывания нации в обстановке экономической и политической концентрации, а путем совершенствования языка «изящной словесности» отдельными поэтами и писателями. «С этой точки зрения, — писал Бертони, — стоит только достигнуть высот искусства или красоты, как проблему единства можно считать решенной»²⁷.

Вопрос о развитии общности языка в Италии стоял и стоит очень остро ввиду того, что формирование итальянской нации, как показывает Грамши, «шло слишком медленным темпом»²⁸. Крочанцы не могли и не хотели видеть этого. Их позиция мешала правильной постановке «вопроса о языке» в современном итальянском языковедении, правильному пониманию общественного значения этого вопроса. Тем большую ценность приобрела та критика взглядов неолингвистов-крочанцев, которая содержится в «Тюремных тетрадах» Грамши. «История языков, — писал Грамши, — есть история лингвистических новообразований, но эти новообразования являются не индивидуальными (как в искусстве), а принадлежат всему социальному коллективу, который обновил свою культуру, который „прогрессировал“ исторически...»²⁹. Только на такой основе мог быть правильно поставлен «вопрос о языке».

Для Грамши проблема единства языка состояла в распространении общенациональных норм исторически развивающейся устной народной речи, в закреплении этих норм в литературе, в сближении литературного языка с национальным. Показателем общности, единства языка для него была степень общенародности литературного языка, его близость к живой народной речи как питательному источнику, сила его воздействия на диалекты, постепенно теряющие свою самобытность и растворяющиеся в едином национальном языке. «Когда говорится, — пишет Грамши, — что литературный язык обладает большим богатством выразительных средств, то утверждается нечто, имеющее двойной смысл: смешивается „возможное“ богатство средств выражения, зарегистрированное в словаре или лежащее мертвым грузом у „авторов“, с индивидуальным богатством, с тем, которое может лично расходовать каждый индивид. Но именно это последнее является единственно реальным и конкретным богатством, и только по нему можно измерить степень национального единства языка, данную живой устной речью народа, степень национализации языкового достояния»³⁰.

Кроче и Бертони, объявившие проблему единства языка «неразрешимой с помощью норм материального характера», принимали «возможное» богатство за действительное. Поэтому картина общности языка в Италии представлялась им в ложном свете. Бертони, например, был даже склонен несколько идеализировать сложившееся в Италии положение, при котором диалекты (очень многочисленные) все еще продолжают сохра-

²⁵ Там же, стр. 208.

²⁶ Цит. по кн. S. G e n n a r o «Manzoni linguista» (Paternò, 1947), стр. 89.

²⁷ «Lingua e cultura», Firenze, 1932, стр. 52.

²⁸ «Letteratura e vita nazionale», стр. 209.

²⁹ Там же, стр. 210.

³⁰ Там же, стр. 138.

нять большую степень самобытности³¹. Грамши, применяя свой критерий общности языка, дает реальную картину степени национализации языкового достояния Италии. «В Италии, — пишет, он, — существует много „народных“ языков — областных диалектов, обычно употребляющихся в обиходном разговоре, в котором находят выражение наиболее распространенные чувства и эмоции»³².

Итальянский литературный язык в недостаточной степени питается устной диалектной речью и, с другой стороны, в силу низкого уровня культуры, большого процента неграмотности, сам слабо воздействует на диалектную речь; закрепленные им общенациональные нормы не становятся «индивидуальным богатством», т. е. не получают повсеместного распространения в устной речи широких народных масс. Более того, в Италии наблюдается сильное влияние диалектов на письменный язык, и именно в тех его областях, в которых влияние диалектов является нежелательным и даже вредным для развития литературного языка — в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Грамши отмечает, что утверждение лингвиста Креме о том, что в Италии нет «современного языка», правильно в том смысле, что: 1) не существует концентрации унифицированного образованного класса, члены которого „всегда“ писали и говорили бы на едином „живом“ языке, т. е. распространенном равным образом во всех социальных слоях и областных группах страны; 2) что поэтому между образованным классом и народом существует заметный разрыв: языком народа все еще является диалект, подкрепленный итальянизированным жаргоном, являющимся в большей своей части механически переведенным диалектом. Существует, кроме того, сильное влияние различных диалектов на письменный язык, поскольку и так называемый образованный класс говорит на национальном языке только в известных случаях и на диалектах — в обиходной устной речи, т. е. в той, которая является более живой и более связанной с непосредственной действительностью. Противдействие же диалектам, с другой стороны, происходит таким образом, что национальный язык продолжает одновременно оставаться несколько окаменевшим и застывшим, и когда он хочет стать разговорным языком, то разбивается на многочисленные диалектные отражения. Кроме тона речи (*cursus* — это музыка периода), характеризующего различные области, влияние испытывают лексика, морфология и в особенности синтаксис»³³.

Для итальянского языка характерна большая степень самобытности диалектов, которые подчас очень далеки от общенациональных норм литературного языка. Грамши подчеркивает это расхождение, сравнивая итальянский язык с французским, для которого характерен процесс нивелировки диалектных особенностей. В Италии, напротив, отдельные диалекты порой настолько далеки друг от друга, что житель одной области с трудом понимает или вообще не понимает жителя другой. В повести итальянской писательницы Ренаты Вигано «*Agnese va a morire*» есть очень показательная в этом отношении сцена: героиня романа, жительница Эмили (эмильянский диалект, входящий в галло-итальянскую группу), не может понять того, что говорит ей апулиец (южная группа итальянских диалектов). «Этот говор, частый, напевный, — отмечает писательница, — всегда был непонятен ей, как чужой язык»³⁴.

В провинциях Италии процесс распространения общенациональных норм в устной речи идет недостаточно интенсивно. Усваиваясь отчасти через печать, эти нормы не закрепляются повседневной речевой практикой и начинают бытовать в искаженной форме, что приводит, по выражению Грамши, к образованию «итальянизированного жаргона». Этот «жаргон» является показателем слабой степени национализации языкового достояния в Италии, недостаточного распространения норм общенационального языка в устной речи народа.

Недостаточная степень «национализации языкового достояния», устойчивость местных диалектов отрицательно сказываются на развитии социальной жизни. Единый национальный язык как орудие борьбы и развития общества имеет огромные преимущества перед диалектом. «Кто говорит на диалекте, — пишет Грамши, — или понимает национальный язык в недостаточной степени, тот неизбежно будет связан с мироощущением более или менее ограниченным и провинциальным, косным, анахронистическим в сравнении с великими течениями мысли, которые управляют мировой историей... Если не всегда имеется возможность изучить несколько иностранных языков для того, чтобы познакомиться с различными культурами, то во всяком случае необходимо хорошо изучить национальный язык. Великая культура может быть переведена на язык другой великой культуры... Но на диалекте этого сделать нельзя»³⁵.

Грамши связывает «вопрос о языке» с потребностями поступательного исторического развития итальянского общества. В этом плане он рассматривает и историю развития общности языка в Италии, исследуя, как складывалось взаимодействие пись-

³¹ См. G. B e r t o n i, *Profilo linguistico d'Italia*, Modena, 1941, стр. 9—10.

³² «*Letteratura e vita nazionale*», стр. 138.

³³ Там же, стр. 167.

³⁴ См. Р. В и г а н о, *Товарищ Аньезе* [перевод с итальянского], М., 1954, стр. 193.

³⁵ «*Il materialismo storico...*», 1948, стр. 5.

менного, литературного языка и устной народной речи в специфических исторических условиях формирования итальянской нации. В одном из писем тюремного периода Грамши набрасывает сжатую картину исторического развития итальянского языка, подчеркивая рано наметившийся и медленно преодолевающийся отрыв литературного языка от устной речи народа, отрицательно сказавшийся на развитии национальной общности языка в Италии: «...письменный язык (так называемый среднелатинский, т. е. латинский письменный V—XII вв.) совершенно оторвался от разговорного языка народа, который после прекращения римской централизации раздробился на бесчисленные диалекты. На смену этому среднелатинскому пришел народный (volgare), который был вновь захлестнут гуманистической латынью, уступая место ученому языку — народному по лексике, но не по фонетике и еще менее по синтаксису, воспроизведенному с латинского...»³⁶.

В течение длительного периода, даже после завершения процесса развития итальянского языка из народной латыни (X в.), письменным, литературным языком в Италии был так называемый «среднелатинский». Представляя собой кристаллизованную литературную латынь, он был понятен и доступен только образованным слоям. В отличие, например, от Франции, где уже с IX в. проповеди читались на народном языке (решения Турского и Реймского соборов), в Италии — резиденции папства — языком проповедей и религиозной литературы вплоть до середины XIII в. был «среднелатинский». (Грамши отмечает, что «употребление латыни как ученого языка было связано с католическим космополитизмом».) Это обстоятельство тормозило развитие культурной общности народа и общности его языка. «Во всяком случае, можно сказать, — пишет Грамши, — что в Италии, начиная с VII в., когда, как можно полагать, народ уже перестал понимать латынь ученых, и вплоть до 1250 г., когда начинается расцвет народного языка, т. е. более 600 лет, народ не понимал книг и не мог принимать участия в культурной жизни»³⁷.

Народные языки становятся письменными, когда народ приобретает значение в социально-политической жизни страны, говорит Грамши, указывая на разницу условий, в которых появились первые памятники французского и итальянского языков. Древнейший памятник старофранцузского языка, так называемая «Страсбургская клятва» (842 г.), закреплявшая раздел империи между внуками Карла Великого, отразил ту большую роль, которую сыграл народ в политике Каролингов в один из решающих моментов в образовании особого французского государства. Первые памятники письменного итальянского языка носили иной характер. Они появились в период образования городов-государств, коммун, в которых развивались раннекапиталистические отношения, т. е. были связаны с процессом развития новых, передовых экономических отношений в недрах феодального строя. Однако они не имели «народно-национального» значения в силу того, что в итальянском обществе эпохи коммун действовали диссоциирующие тенденции, связанные с экономико-муниципальным строем, местным партикуляризмом, враждой городов и т. д. «Первые документы на народном языке в Италии, — отмечает Грамши, — это либо клятвы, закрепляющие право собственности монастырей на определенные земли³⁸, либо такие надписи, которые носят антинародный характер („Traite, traite, fili de putte“)³⁹.

Итальянский письменный язык развивается вместе с развитием народно-еретических движений в коммунах, с которыми связано зарождение новой культуры. Грамши особенно подчеркивает тот факт, что народный письменный язык приобретает значение как литературный язык впервые в Ломбардии⁴⁰ в середине XIII в. (Угуччоне да Лоди и другие ломбардские поэты): здесь он развивался на почве, подготовленной так называемой патарией — народно-еретическим движением беднейших слоев городского населения Ломбардии, в особенности Милана, в XI—XII вв., направленным против космополитических сил средневековья — церкви и империи. Еретические движения, которыми сопровождалось рождение и развитие коммун, противодействовали римско-католической, космополитической в своей основе, культуре с ее ученым латинским языком и способствовали развитию новой культуры, опирающейся на народный язык.

³⁶ «Lettere dal carcere», 2-е ed., 1948, стр. 103—104.

³⁷ «Gli intellettuali...», 1949, стр. 22.

³⁸ Древнейший из них относится к 960 г. (клятвы свидетелей, подтверждающие права ордена св. Бенедикта на спорный участок земли, входящий в состав монастырских владений в Канье).

³⁹ «Il Risorgimento», 1949, стр. 22. Грамши приводит здесь по памяти часть надписи, сделанной на фреске из базилики св. Климента в Риме (конец XI в.), на которой изображено, как рабочие переносят колонну. Распорядитель работ кричит: «Falite dereto codo palo, Carvoncele! Albertel trai! traite fili de putte!»

⁴⁰ В данном случае Грамши не касается Спиллии, где первые литературные произведения на народном языке относятся к первой половине XIII в.: в Сицилии была монархия (Фридрих II). Грамши говорит о характерной для Италии сфере коммун с их экономико-муниципальным государственным строем.

Однако в силу отсутствия объединяющего фактора в жизни государства и, наоборот, наличия диссоциирующих тенденций, действующих в итальянском обществе, развитие этой новой культуры, которая должна была иметь «национальное» содержание и значение, происходило и могло происходить только на базе отдельных диалектов.

Только итальянская буржуазная историография с ее националистической риторикой могла утверждать, что культурная общность существовала в Италии уже в эпоху образования коммун. Грамши указывает на несостоятельность такого утверждения, искажающего и картину развития итальянского литературного языка: «Культурная общность не была заранее данным фактом, совсем наоборот! Существовала „европейская культурно-католическая всеобщность“, и новая цивилизация противодействовала этому универсализму, базой которого была Италия, с помощью местных диалектов, выдвигая на первый план практические интересы муниципальных групп буржуазии»⁴¹. Новая цивилизация «рождается как „диалектальная“, и ей придется ждать высшего расцвета Тосканы в XIV в., чтобы унифицироваться, до известных пределов, лингвистически»⁴². Создание во Флоренции *volgare illustre* «дало известное единство народному языку». Но исторические условия, в которых развивался *volgare illustre*, были крайне противоречивы и во многом неблагоприятны для него: Италия представляла собой, по выражению Грамши, «парадоксальную страну — одновременно самую юную и самую старую».

Буржуазия итальянских коммун раньше и быстрее, чем буржуазия других западноевропейских стран, добилась полной экономической автономии, но лишь в узких пределах муниципального государства. Она «не смогла выйти за пределы средневекового феодализма, который последовал за феодальной анархией, существовавшей до XI в., и на смену которому пришла абсолютная монархия в XV в., существовавшая вплоть до французской революции. Органический переход от коммун к строю, который уже не является феодальным, имел место в Нидерландах, и только в Нидерландах. В Италии коммуны не сумели выйти за пределы корпоративной фазы...»⁴³. Средневековый муниципальный партикуляризм не был ликвидирован, единое национально-территориальное государство не было создано. Политическое мышление итальянской буржуазии оставалось в плену средневекового универсализма. Защищая против империи свои муниципальные вольности, гвельфы — правящая партия коммун — действовали как «национальный элемент», но, как это отмечал еще К. Маркс, они «противопоставляли императору христианский мир как своего рода республику, во главе которой стоит папа»⁴⁴. С этим, естественно, была несовместима постановка проблемы единого территориального государства в плане развивающихся «национальных» интересов. Муниципальный партикуляризм и католический космополитизм были внутренне связаны друг с другом. «У итальянцев, — подчеркивает Грамши, — традиция римского и средневекового универсализма препятствовала развитию национальных (буржуазных) сил за пределами чисто экономико-муниципальной сферы, т. е. национальные силы не стали национальной силой...»⁴⁵ Итальянская буржуазия не смогла создать «своей собственной полной государственной цивилизации», ее политическая программа была узкой, ограниченной. В частности, ей не удалось создать достаточно широкий и развитый слой новой интеллигенции и ассимилировать «старую», «традиционную» интеллигенцию. В период абсолютистских монархий, когда буржуазия других стран «бурно включалась в государственную структуру с объединительной тенденцией»⁴⁶, итальянская буржуазия продолжала оставаться в пределах той фазы феодализма, которая предшествовала образованию абсолютных монархий. В этом смысле Италия и была «самой старой». Конечно, процесс развития культурной общности шел и в этих условиях. В работе «Рисорджименто» Грамши отмечает, что сознание «культурного единства» существовало в среде итальянской интеллигенции по крайней мере с XIII в., с тех пор как получил развитие унифицированный литературный язык, дантовский *volgare illustre*.

В XIV в. Флоренция осуществляла культурную гегемонию, и *volgare illustre* являлся средством ее развития. Итальянский литературный язык одержал большие победы над латынью. Еретические движения в коммунах, направленные против церкви, подготовили полный разрыв некоторых писателей с латынью. Грамши пишет, что наиболее решительные среди них, такие, как поэт и философ Гвидо Кавальканти, отдавали себе отчет в этом историческом разрыве. Флорентийские поэты не только писали по преимуществу на *volgare illustre*, но и теоретически старались утвердить его в качестве языка науки и литературы. Флорентийский диалект лег в основу итальянского литературного языка, и это имело большое значение для развития общности языка в Италии.

⁴¹ «Il Risorgimento», 1949, стр. 29.

⁴² Там же.

⁴³ Там же, стр. 18.

⁴⁴ «Архив Маркса и Энгельса», т. V, стр. 140.

⁴⁵ «Il Risorgimento», 1949, стр. 127.

⁴⁶ Там же, стр. 2.

Но Грамши предостерегает от переоценки этого факта: выдвижение флорентийского диалекта, одержавшего победы над латынью и сообщившего известное единство итальянскому языку, «не сопровождалось социально-политической гегемонией Флоренции и поэтому осталось в границах чисто литературного факта»⁴⁷. Анализируя лексику и грамматический строй *volgare illustre*, Грамши отмечает, что этот литературный язык не давал полного отражения грамматического строя развивающегося итальянского языка, как он сложился в устной речи флорентийского диалекта: «Но что представляет собой этот *volgare illustre*? Это флорентийский по словарю, а также по фонетике, но латинский по синтаксису»⁴⁸.

В разработке *volgare illustre* принимал участие большой слой «старой» интеллигенции, и это особенно сказалось на синтаксисе, который во многом воспроизводил синтаксис «среднелатинского». С другой стороны, *volgare illustre* не мог приобрести широкого территориального распространения и осуществлять свое унифицирующее воздействие на другие диалекты Италии. В условиях муниципального партикуляризма *volgare illustre* наталкивался на сопротивление различных диалектов, получивших закрепление в письменности. По этому поводу Грамши пишет: «В полном, всестороннем анализе необходимо учитывать и другие моменты, и мне думается, что националистическая риторика прошлого века и укоренившиеся по ее вине предрассудки не могли привести даже к предварительным изысканиям по целому ряду вопросов. Так, какова была точная область распространения тосканского? Например, в Венеции, по-моему, уже был введен итальянский, разработанный учеными по латинскому образцу, и никогда не имел туда доступа исконный флорентийский (в том смысле, что флорентийские купцы никогда не давали знать о себе живой флорентийской речью, как в Риме и Неаполе, например): языком управления продолжал оставаться венецианский. Также и в других центрах (Генуя, думается мне). В этом смысле истории итальянского языка еще не существует...»⁴⁹ В последнем замечании Грамши содержится косвенное указание на слабое место в работе итальянских лингвистов-компаративистов, которые уделяли недостаточно внимания связи истории языка с конкретной историей общества.

С XIV по XVI в., пока Флоренция могла осуществлять культурную гегемонию, итальянский литературный язык сделал известные успехи в своем распространении. В этот период он развивается и обогащается, питаясь устной речью народа. «Вилоть до XVI в. Флоренция осуществляет гегемонию в области культуры, связанную с ее торговой и финансовой гегемонией (папа Бонифаций VIII говорил, что флорентийцы были пятым элементом мира), и идет процесс унитарного развития языка снизу — от народа к образованным лицам, развития, усиленного великими флорентийскими и тосканскими писателями. Со времени упадка Флоренции итальянский становится все более языком замкнутой касты, лишенным живого контакта с исторической разговорной речью»⁵⁰.

С другой стороны, в период образования и укрепления тираний, вместе с развитием кастовых тенденций в гуманистической культуре, вновь приобретает силу латинский язык. На этот раз это была уже гуманистическая латынь, отличная от «среднелатинского», представлявшая собой возрожденную форму классической латыни. Гуманистическая латынь не могла вытеснить итальянский литературный язык, но, несомненно, тормозила его развитие.

В период существования тираний и сирий и последующего иностранного господства Италия попрежнему продолжала оставаться раздробленной. При отсутствии абсолютной монархии, которая в других странах Западной Европы способствовала преодолению средневекового партикуляризма и созданию единого территориального государства, в Италии процесс экономической и политической концентрации в масштабах целой страны не мог иметь место, и это отражалось на развитии общности языка, в частности на состоянии литературного языка, отрыв которого от устной речи народа продолжал углубляться. Решение «вопроса о языке» гуманистом Bembo, пуризм Академии делла Круска не только отражали это положение, но во многом старались оправдать процесс кристаллизации, развивавшийся в итальянском литературном языке⁵¹.

Ослабление католической церкви, благоприятное для Италии изменение международной обстановки в середине XVIII в. (взаимное ослабление Австрии и Франции) способствовали развитию в Италии капиталистических отношений. Развитие капита-

⁴⁷ «Letteratura e vita nazionale», стр. 204—205.

⁴⁸ «Il Risorgimento», 1949, стр. 29.

⁴⁹ «Gli intellettuali...», 1949, стр. 23—24.

⁵⁰ «Letteratura e vita nazionale», стр. 168.

⁵¹ Грамши указывает на различие между Академией делла Круска и Французской академией языка, основанной Ришелье: «Круска» была подобна педагогу, который не устает следить за правильностью собственного языка. — Французская академия рассматривала язык как «народно-национальную первооснову единства французской цивилизации» и поэтому сыграла большую роль в организации французской культуры (см. «Gli intellettuali...», 1949, стр. 130).

листических отношений настоятельно требовало создания единого рынка, государственного сплочения территорий страны. Во второй половине XVIII в в Италии начинается движение за воссоединение и национальную независимость, завершившееся в 1871 г. полным освобождением страны и созданием итальянского национального государства. Это был один из важнейших периодов в образовании итальянской нации, в развитии ее культурной общности и общности языка. Государственное сплочение территорий страны создавало базу для дальнейшего развития итальянского национального языка, для его распространения.

В эпоху Рисорджименто итальянский литературный язык преодолел в известной степени свой отрыв от устной народной речи, как это можно видеть, в частности, по знаменитому роману Манцони «Обрученные», являющемуся большим вкладом в развитие современного итальянского литературного языка. В трудах того же Манцони «вопрос о языке» получает в этот период и новое теоретическое разрешение: Манцони исходит из потребности общества в едином языке и ставит вопрос о средствах его распространения, о сближении литературного языка с устной народной речью, о закреплении в литературе общенациональных норм. Все это отвечало интересам формирующейся нации: устранение всяких препятствий развитию единого национального языка и закреплению его в литературе является, по определению В. И. Ленина, одним из условий полной победы товарного производства, окончательного торжества капитализма над феодализмом, одним из условий успешного развития нации⁵². Манцони хорошо сознавал общественное значение единого национального языка: «От того, будем мы или нет иметь общий язык, зависит наше превращение в единую нацию»⁵³, — писал он.

Связывая «вопрос о языке» с историей общества, с развитием нации, Манцони становился на правильный путь. Итальянские неолингвисты-«идеалисты» объявили этот путь ошибочным и старались дать новое, ложное направление решению «вопроса о языке», сводя его к задачам эстетического использования языка в художественной литературе, как это делали Кроче, Бертони, Альфредо Скьяффино. В своей постановке «вопроса о языке» Грамши шел по тому пути, который был намечен Манцони, хотя представления филолога-марксиста о развитии общества, нации, с одной стороны, и о законах развития языка, с другой, естественно, имели иную методологическую базу. Подходя исторически не только к «вопросу о языке», но и к истории этого «вопроса», Грамши дает правильную оценку работам Манцони, рассматривая их одновременно с лингвистической точки зрения и с точки зрения их роли в культурно-национальной политике буржуазии эпохи Рисорджименто. Связывая проблему языка с состоянием и потребностями развития итальянского общества, формированием нации, Манцони при этом не всегда оставался на почве историзма, а также не мог охватить в своих исследованиях языка в целом, всех его областей, не учитывал особенностей и неравномерности их развития. В своих работах, посвященных вопросу о единстве языка⁵⁴, Манцони ограничивается обычно проблемами лексики и почти не касается вопросов синтаксиса и вообще грамматического строя.

Грамши отмечает, что «Манцони при переделке „Обрученных“ и в своих работах об итальянском языке, действительно, принимал во внимание только один аспект языка — лексику и не считался с синтаксисом, который, однако, является существенной частью всякого языка...»⁵⁵. Решить вопрос о взаимодействии литературного языка с устной диалектной речью при таком ограниченном подходе к языку было невозможно, и Грамши несколько раз указывает на этот существенный недостаток лингвистических работ Манцони. Манцони оказался также не в состоянии правильно связать вопрос о «средствах распространения» единого языка с конкретными историческими условиями развития итальянской нации, полагая, что Флоренция можно вернуть роль культурного центра посредством правительственного декрета и что как только это будет сделано, она вновь станет основным очагом распространения общенациональных норм языка, как это было в XIV—XVI вв. Несостоятельность подобного рода расчетов Манцони была отмечена еще итальянским лингвистом Г. И. Асколи (1829—1907).

Грамши показал, что и в эпоху Рисорджименто итальянская буржуазия не смогла полностью преодолеть своего «корпоративизма» и организовать политическое и культурное руководство широкими народно-национальными массами в борьбе за независимость и объединение страны, в борьбе против феодализма. Поэтому она не выполнила своей исторической функции в формировании нации и национального государства⁵⁶.

«Буржуазия, — писал Ф. Энгельс, — придя к власти в период борьбы за национальную независимость и позднее не могла и не хотела довести свою победу до конца. Она не разрушила остатков феодализма и не реорганизовала национального производства на

⁵² См. В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 368.

⁵³ S. G e n n a g o, указ. соч., стр. 39.

⁵⁴ «Письмо по поводу словаря» (1862), адресованное Руджиеро Бонги; письмо к пьемонтскому академику Джачинто Карена, составившему на основе норм флорентийского диалекта «Словарь разговорного языка», и др.

⁵⁵ «Lettere dal carcere», 2-е ed., 1948, стр. 104.

⁵⁶ Грамши исследует этот вопрос в своей работе «Рисорджименто».

современный буржуазный лад. Неспособная предоставить стране относительные и временные выгоды капиталистического порядка, она взвалила на нее всю тяжесть, все трудности последнего»⁵⁷.

Италия была объединена, но, как показал Грамши, объединена «не на базе равноправия, а на базе господства Севера над Югом». Юг и острова (Сицилия и Сардиния) были обречены на прозябание, на экономическую и культурную отсталость. «Господство Севера над Югом, — отмечает Грамши, — было бы „нормальным“ и исторически благоприятным, если бы промышленность имела способность расширять с определенной периодичностью свои рамки, охватывая все новые и новые ассимилированные ею экономические зоны. Тогда это господство было бы выражением борьбы между старым и новым, отсталым и передовым, между более высокой производительностью и производительностью более низкой. В этом случае имела бы место экономическая революция национального характера (и национального размаха)... Но этого как раз и не произошло»⁵⁸.

Рисорджименто, таким образом, не смогло заложить необходимой основы для дальнейшего успешного развития итальянского национального языка. Контраст в экономическом развитии отдельных областей страны, углубившийся в период империализма, помогал местным диалектам сохранять свою устойчивость. Исторически сложившийся отрыв итальянской интеллигенции от народа не был полностью преодолен, а в условиях империализма еще более углубился. Проблема национального языка продолжала стоять с прежней остротой.

Постановка и решение этой проблемы в «Тюремных тетрадах» Грамши были самыми глубокими и всесторонними в итальянском языкознании как в лингвистическом отношении, так и в отношении культурно-национальном и политическом. В связи с этим большой интерес представляют «заметки» Грамши о грамматике, собранные в специальном разделе его работы «Литература и национальная жизнь» — «Национальный язык и грамматика». Какую роль играет изучение грамматики в распространении норм единого общенационального языка? — этот вопрос стоит в центре «заметок», входящих в указанный раздел. Многие неолингвисты-«идеалисты» игнорировали нормативную грамматику, с которой не могла согласоваться их индивидуалистическая концепция языка. Фашистский философ Джентиле прямо отрицал полезность нормативной грамматики и настаивал на исключении ее из школьной программы. Грамши защищает нормативную грамматику как необходимое средство развития общности языка и национальной культуры. «Грамматика — „история“ или „исторический документ“, — пишет он. — Это „фотография“ определенной фазы национального (коллективного) языка, исторически сложившегося и находящегося в непрерывном развитии, или основные черты этой фотографии»⁵⁹. Он настаивает на необходимости единой нормативной грамматики, «которая стремится охватить всю национальную территорию и всю „сферу языка“ — чтобы упорядочить его в унитарно-национальном плане; вместе с тем это поднимает на более высокий уровень и „индивидуальные“ выразительные возможности, поскольку создает более мощный и однородный костяк национального языкового организма, коего всякий индивид является отражением и истолкователем»⁶⁰. Нормативная грамматика имеет особенное значение для культурного развития широких народных масс: «Если грамматика исключена из школы и „не пишется“, она этим не исключается из реальной „жизни“... Исключается лишь организованное в унитарном плане вмешательство в усвоение языка и в действительности отстраняется от усвоения культурного языка народно-национальная масса...»⁶¹.

К проблеме языка имеют непосредственное отношение и многочисленные «заметки» Грамши по вопросам стилистики. Он неустанно боролся против националистической риторики, порождающей формалистическую изощренность, «стилистическое липемерие» и т. п., разведавшие итальянский литературный язык, который «слабо питается в своем развитии народным языком»⁶². Вопрос об общенародности литературного языка Грамши связывал с проблемой народности итальянской литературы; эта проблема в «Тюремных тетрадах» также впервые ставится и решается с марксистских позиций.

Лингвистические «заметки» Грамши рассеяны в шести томах его философских и исторических работ, и только часть их собрана в специальных разделах и рубриках. В сумме своей они дают, однако, цельную, глубокую и всестороннюю постановку проблемы итальянского национального языка, имеющую большое методологическое значение. Систематизированное изложение и анализ содержания лингвистических «заметок» Грамши является необходимым предварительным шагом к их углубленному изучению.

Э. Я. Егерман

⁵⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 377.

⁵⁸ «Il Risorgimento», 1949, стр. 210.

⁵⁹ «Letteratura e vita nazionale», стр. 197—198.

⁶⁰ Там же, стр. 199.

⁶¹ Там же, стр. 204.

⁶² «Gli intellettuali...», 1949, стр. 48.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

О ТРАНСЛИТЕРАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

(По поводу статьи Л. С. Карума*)

Устанавливая правила единой транслитерации русских имен, фамилий и географических названий латинскими буквами, Академия наук СССР, безусловно, имела в виду дать для надобностей международного научного обмена, для составления научных библиографий, международных научных каталогов твердую систему, и эта система, действительно, применяется уже в ряде стран. Для примера мы можем сослаться на «Библиографию немецких переводов с языков народов Советского Союза и стран народной демократии», издаваемую с 1952 г. регулярными выпусками Публичной научной библиотекой в Берлине при содействии Общества германо-советской дружбы и с участием Центрального бюро научной литературы¹. На указанной «Библиографии» мы хотим остановиться подробнее, так как она показывает и возможности, и границы применения единой транскрипции, о которой идет речь в статье Л. С. Карума.

В предварительных замечаниях к каждому выпуску «Библиографии» имеется специальный раздел, посвященный вопросам транскрипции. Вот что, в частности, сказано в этом разделе выпусков 1953 г.: «Для транскрипции мы пользуемся принятой в научных библиотеках схемой транскрипции. Таким образом обеспечивается безукоризненная систематичность и возможность абсолютно правильной ретранслитерации для нахождения оригинальной литературы. По этой схеме транскрибируются важные для расположения заглавий формы имен и фамилий, оригинальные названия советских журналов.

Фамилии авторов переведенных книг в транскрипции по системе Дудена-Штейница приводятся в круглых скобках вслед за их библиотечной транскрипцией. В списке авторов всегда приводятся обе формы, так что в любом случае можно найти искомую фамилию...» (см., например, Heft 6, стр. 7).

Здесь, следовательно, дается высокая оценка системе единой транслитерации русских собственных имен (и вообще русских слов), выработанной советскими учеными, как обеспечивающей «безукоризненную систематичность» и дающей «возможность абсолютно правильной ретранслитерации» в научной практике.

Возьмем для примера одно из приводимых в «Библиографии» названий (книга вышла в том же издательстве, которое выпускает «Библиографию»): «*58. Stepanov, N. (Stepanow N. L.): Alexander Radistschew (Žizn' i tvor. estvo A. N. Radisčeva). Leben und Werk. (1749 bis 1802.)... (Berlin): Verl. Kultur u. Fortschritt. 1952...»². Мы видим, что в «Библиографии» точно выдерживается система транскрипции, утвержденная Академией наук СССР.

Но вне пределов научной библиографии издательства Германской Демократической Республики не применяют системы транслитерации русских букв, установленной АН СССР и воспринятой научными библиотеками, а пользуются иной транскрипцией — системой Дудена-Штейница. Не лишним будет привести здесь предварительное замечание составителей последнего, полностью переработанного издания нормативного словаря Дудена по поводу транслитерации русских слов:

* Л. С. Карум, О транслитерации латинскими буквами русских фамилий и географических названий, «Вопросы языкознания», 1953, № 6.

¹ Bibliographie deutscher Übersetzungen aus den Sprachen der Völker der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokratie. Mit Unterstützung der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Herausgegeben von der Öffentlichen Wissenschaftlichen Bibliothek Berlin. Unter Mitarbeit der Zentralstelle für wissenschaftliche Literatur. Verlag Kultur und Fortschritt. Berlin.

² «Bibliographie deutscher Übersetzungen...», 1953, Heft 5, стр. 16.

«Русские слова, в особенности русские имена, для читателя не знающего русского алфавита, должны быть „переписаны“. Наиболее точно это можно сделать с помощью научной международной фонетической транскрипции. Но эта транскрипция трудно читается, и только языковеду она приносит действительную пользу. Поэтому понятны стремления передавать русские буквы с помощью принятых у нас обозначений...

Существовавший до сих пор разницей в немецкой транскрипции русских слов, в особенности русских имен, является пережитком оставшегося позади времени нашей культурной изолированности. Этот разницей мешает культурному обмену, и преодоление его является культурно-политической необходимостью. Начиная с 1945 г. много сделано для создания единой, всем понятной транскрипции русских слов. Разработанная лингвистом проф. В. Штейницем (W. Steinitz) транскрипционная таблица нашла всеобщее одобрение и в новейшем своем варианте (1950 г.) объявлена Министерством народного просвещения Германской Демократической Республики обязательной для школ, государственных организаций и учреждений. По принципам этой транскрипционной таблицы и транскрибированы русские имена и слова в этом издании Дудена»³.

В соответствии с этими общими правилами транслитерации ч передается через *tsh*, ш через *sch* и ц через *stsch*.

Таким образом, практика ГДР показывает, что транслитерационная схема, предусматривающая внедрение новых знаков в немецкий алфавит, применяется только научными библиотеками, исключительно в целях правильной каталогизации, а не в общей печати, не газетами и книжными издательствами, для которых объявлена обязательной система транслитерации Дудена-Штейница. Утверждая эту систему, Министерство народного просвещения ГДР исходило, как показывает вышеприведенная выдержка, из цели создания «единой, всем понятной» транслитерации, основанной на стремлении «передавать русские буквы с помощью принятых у нас обозначений», т. е. исключительно буквами немецкой латиницы.

Стремление транслитерировать слова иностранного языка, не пользующегося алфавитом транслитерирующего языка, без прибавления новых знаков к собственному алфавиту свойственно всем письменным языкам. Это стремление проявляется, в частности, в русском языке, в котором не введены для передачи немецких умлаутов ö и ü, английского *th* или грузинских буквенных эквивалентов абрутивных согласных типа *k'* никакие дополнительные знаки. Идти по пути расширения национального алфавита русский язык практически и не мог, поскольку для передачи имен каждого языка, не пользующегося кириллицей, пришлось бы ввести соответственно новые знаки.

Еще Ломоносов в «Российской грамматике» резонно замечал, что «для чужестранных выговоров вымышлять новые буквы весьма негодное дело, когда и для своих разных произношений нередко одною понимаемся» и что «ежели для иностранных выговоров вымышлять новые буквы, то будет наша азбука с китайскую»⁴.

Более того, не только латинизирующие языки, но и языки, пользующиеся кириллицей, также меняют правописание русских, украинских, белорусских, болгарских или сербских слов соответственно своим потребностям. Известно, что, например, *и* в русских именах (*Щедрин*) в украинском варианте превращается в *і* (*Щедрін*) или что в болгарском написании русские фамилии, оканчивающиеся на *-ский*, теряют *й*. Но никто еще не усматривал «неравноправного положения русского языка» в том, что русские фамилии транслитерируются на болгарском иначе, чем на украинском языке. Почему же Л. С. Карум выступает с такой претензией к латинизирующим языкам?

Потому, пишет автор, что эти языки в отношении остальных латинизирующих «сохраняют в своей печати для иностранных собственных имен и географических названий орфографию того языка, который является для носителей этих имен и названий родным».

На это следует ответить (по отношению к общей и к большей части специальной, научной литературы), что латинизирующие языки далеко не абсолютно придерживаются того, что Л. С. Карум называет «национально-орфографическим принципом», а придерживаются его, как правило, лишь постольку, поскольку это не требует включения новых знаков в свой, национальный алфавит.

В немецкой печати обычно не воспроизводится, например, чешское *š*, а пишется *Tschechoslowakei*, или чешское *š*, а пишется *Benesch*; вместо хорватского *š*, как правило, тоже пишется *tsh*; чешское *ř* воспроизводится своими немецкими буквами, как и польское *ł* или *ę*. То же самое относится к соответствующим буквам испанского или португальского языков в немецком контексте. В английской неспециальной печати поступают таким же образом. Только в научной литературе на этих языках воспро-

³ D u d e n, Rechtschreibung mit Berücksichtigung der häufigsten Fremdwörter. Vollständig neu bearbeitete Ausgabe, Leipzig, 1953, стр. 54—55.

⁴ М. В. Ломоносов, Полное собр. соч., т. 7, М.—Л., 1952, стр. 422.

изводят более или менее точно написание данной фамилии, если в нем встречаются буквы, не свойственные алфавиту цитирующего языка.

Действительно, по-немецки пишут *Shakespeare*, или *Voltaire*, или *Mascagni*, или *Clairvaux*, по-английски пишут *Goethe*, *Hamburg* или *Brahms*, т. е. сохраняют, в силу вековой традиции, оригинальное написание, хотя такие имена, будучи произнесены лицом иной национальности, чем носитель данной фамилии, и не знающим соответствующего языка, искажаются, а нередко и просто не могут быть прочтены. Вместо *Маскани* немец, не знающий итальянского языка, прочтет *Маскагни*, вместо *Голсуорси* не знающий английского языка прочтет *Гальсворти* и т. п. Л. С. Карум сам приходит к «любопытному выводу», что «вполне правильно произносить собственные имена на любом из европейских языков, пользующихся латиницей, будет лишь тот, кто владеет правилами произношения любого языка»⁵, т. е. никто. Спрашивается, в чем же заключается «преимущество», которым, по мнению Л. С. Карума, латинописущие языки пользуются в отношении друг друга перед русским языком, почему русские имена выигрывают и стали бы «равноправными» оттого, что их тоже начали бы коверкать так, как, к примеру, английские имена ныне коверкаются при произношении их на итальянском языке или французские на немецком? Надуманному принципу орфографического «равноправия» было бы принесено в жертву несомненное преимущество, которым ныне пользуются русские собственные имена перед именами, написанными в оригинале латиницей, — преимущество при различной графической передаче быть более или менее правильно произнесенными на любом из латинописущих языков! *Shishedrin* английский рабочий произнесет правильно, а если бы он увидел *Ščedrin*, он был бы просто в недоумении. *Touichev* французский читатель журнала «Новое время» прочтет как *Туишев*, т. е. верно, а *Tuisev* (как хотел бы видеть эту фамилию напечатанной во французском издании журнала «Новое время» Л. С. Карум) он произнес бы как *Тюисев*.

Допустим, что, несмотря на все это, советские издательства решились бы «внедрить» знаки специальной научной транслитерации в общие иноязычные алфавиты. Но как смогли бы они тогда донести их значение до массового читателя за границей, учитывая малый удельный вес литературы, издаваемой в СССР, например, на английском или немецком языках, по отношению ко всей массе книг и журналов, выходящих на данном языке?

Вот те практические доводы, которые заставляют нас считать правильным предложение Л. С. Карума лишь по отношению к международной научной каталогизации и другим специальным целям (где транслитерация, утвержденная АН СССР, частично уже применяется), но неправильным по отношению к общей литературе, предназначенной для широкой читательской массы латинописущих стран. В таком объеме предложение Л. С. Карума несостоятельно еще по одному весьма важному соображению.

Когда в каком-либо определенном языковом контексте приводится иностранное собственное имя, то происходит явление, родственное обычному заимствованию иноязычного слова. В этом случае, как нам известно, «хозяином» заимствования является язык заимствующий: он подчиняет новое слово, в данном случае имя собственное, своей грамматике (например, склоняет его по своим правилам) и решает его орфографическую судьбу. Дело происходит вовсе не так, что язык, слова которого перенимаются в иноязычную лексическую среду, ставит заимствующему языку определенные условия, на которых он «отпускает» ему свои слова, например, условие ввода в алфавит новых букв. Между тем Л. С. Карум выставляет по отношению к общей печати требование обязательного перехода на единую транслитерацию русских имен, да еще таким тоном: «Все народы должны так же привыкнуть к ней, как привыкли к национальным буквенным особенностям других латинописущих языков» (?—ГШ.). И далее: «...транслитерационное правописание должно быть общеизвестно, международно признано и должно применяться в любом языке... И только эта единая транслитерация должна иметь место во всех учебниках и в иной литературе, издаваемой на иностранных латинописущих языках...»⁶ Должны, должна, должно... Такой административный пыл говорит о непродуманности предложения Л. С. Карума и вместо желаемой автором пользы может принести только вред.

Как транслитерировать русские имена на английском, французском, китайском и любом другом языке — это должно быть решено в соответствующей стране, так же как вопросы транслитерации китайских, английских, французских, греческих слов на русском языке разрешаются у нас в Советском Союзе.

Конечно, советы здесь возможны и нужны. Наверно, лингвисты ГДР прислушались бы к предложениям по улучшению транслитерационной системы Дудена Штейнида, нуждающейся в усовершенствовании, так как она не учитывает различий между русскими *з* и *с*, не полностью разрешает вопрос о передаче русского *е*. Наши

⁵ Л. С. Карум, указ. соч., стр. 103.

⁶ Там же, стр. 104, 105.

языковеды смогли бы внести ценные предложения по устранению существующего разноречия в транслитерации русских собственных имен на английском, французском и испанском языках. Но все эти советы окажутся ценными лишь тогда, когда они будут даваться на основе учета принятых на данных языках основных тенденций транслитерации и не потребуют от них ввода новых знаков в общий алфавит.

Переход на единую транслитерацию, предложенный Л. С. Карумом, с сознательным отказом от основных правил транслитерации, принятых в стране, для трудящихся которой в СССР выпускаются журналы и книги, привел бы к тому, что затруднилось бы понимание нашей литературы иностранными рабочими, крестьянами, трудовой интеллигенцией, до которых мы хотим донести сокровища передовой советской культуры, которым мы помогаем своей литературой в борьбе за мир.

Вопрос по каким соображениям предложение Л. С. Карума не может быть принято в практике наших издательств, выпускающих литературу на иностранных языках (за исключением библиографической). Поэтому же глубоко ошибочно и выражение «орфографическое приспособленчество», примененное Л. С. Карумом по отношению к практике критикуемых им издательств.

Г. В. Шнитке

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

[АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ «LANGUAGE» (за 1952—1953 гг.)]

Журнал «Language» («Язык») издается Лингвистическим обществом Америки, основанным в 1924 г. Президентом общества и редактором журнала в настоящее время является Б. Блок (Bloch). Общество объединяет сейчас свыше 800 членов; в числе почетных членов состоят Б. Грозный, Ж. Вандриес, Э. Бенвенист, Ч. Джоунс и др. Среди членов — Э. Стертевант, Л. Менкен, Р. Якобсон и др.

Журнал выходит 4 раза в год. Он состоит из двух главных отделов — отдела статей и обширного отдела обзоров и рецензий. В первом разделе помещаются статьи, посвященные изучению разнообразных языков мира — живых и мертвых; теоретические статьи по общим вопросам языкознания; во втором разделе помещаются рецензии на книги, выходящие в различных странах мира.

К примеру, укажем на содержание № 1 журнала за 1953 г. В нем были опубликованы следующие статьи: Пувел, Composita с отрицательной частицей в индоевропейском языке; Стертевант, Некоторые древнескандинавские вторичные образования; Черри, Холл, Якобсон, К вопросу о логическом описании языков в их фонематическом аспекте; Бар-Хиллел, Квази арифметический метод для синтаксического описания и другие статьи, а также ряд небольших лингвистических заметок, например: Мелон, Долгие и краткие фонемы в исландском языке; Пеер, Некоторые этимологии в эламском и другие, а также рецензии на книги: Шеннона и Уивера «Математическая теория коммуникации», Стертеванта «Сравнительная грамматика хеттского языка», Бруннера «Английский язык» и другие.

По своему направлению журнал представляет собой орган дескриптивной, структуральной лингвистики, хотя в нем сотрудничают лингвисты, представляющие и другие течения современного буржуазного языкознания (Э. Бенвенист, Э. Стертевант и др.).

Дескриптивная лингвистика по методологическим установкам близка к логическому синтаксису, возникшему первоначально как логическая теория анализа предложений при помощи математических методов (см., например, Карнап «Logische Syntax»). Наиболее видными представителями этой лингвистики в той или иной ее разновидности являются Л. Блумфильд, Г. Треджер, Б. Блок и др.

Согласно воззрениям защитников дескриптивной лингвистики, язык представляет собою комбинацию формальных элементов («морфем»), все значение которых состоит в том, что они располагаются в коммуникации определенным способом. Семантическая сторона языка, функция его как средства выражения мысли отрицается ими и, следовательно, отвергается как предмет изучения в теоретической лингвистике.

Доведенное до своего предела прежнее формалистическое учение о языке проявляется в дескриптивной лингвистике по существу как математическая наука, оперирующая уже не конкретными языковыми фактами, а формулами символов-знаков. В этом отношении структурализм в современной американской лингвистике может рассматриваться как последовательное завершение всякого чисто формального толкования языка. В нем надо видеть одностороннее преувеличение объективного свойства языка.

Дескриптивная лингвистика изолирует и рассматривает в отрыве от их конкретного содержания отношения и между элементами языка (звуками, словами, предложениями), действительно существующие в языке. Рассматривая языковые единицы как единицы ряда, американские структуралисты пренебрегают всеми их действительными свойствами, кроме одного — их формального положения в ряду других единиц.

Такой метафизический фундамент дескриптивной лингвистики привел ее к теории, весьма далекой от практической ценности. А между тем ясно, что если математика занимается количествами и их отношениями как таковыми и ее формулы и законы прямо или косвенно имеют практическое применение, то это оправдывается и диктуется самым предметом математики — абстрактным характером числа. Предмет же языкознания имеет совершенно другие качества и другой характер абстракции (различная конкретная значимость форм лексических, грамматических, фонетических), и поэтому манипуляции с символическими элементами языка при помощи математического способа не могут выявить действительной сущности языка. В лучшем случае этот способ может дать условную картину некоторых количественных элементов языка и отношений

этих элементов (например, частотность появления определенной группы слов в каком-либо тексте, порядок расположения слов в строе предложения и т. д.), но при этом надо иметь в виду, что числовой результат — лишь второстепенной важности иллюстрация, а не способ изучения языка.

Тезис Блумфильда о том, что всякая наука говорит количественным языком и, следовательно, научность языкознания может определяться только тем, что оно также имеет дело с количеством фонем, явно порочен, ибо игнорирует специфику конкретных наук, в том числе и языкознания.

Разберем способы исследования представителей дескриптивной лингвистики, изложенные в их общетеоретических статьях, опубликованных в рецензируемом журнале в 1952 и 1953 годах.

В статье Черри (Cherry), Холла (Halle) и Якобсона (Jakobson) «К вопросу о логическом описании языков в их фонематическом аспекте» делается попытка описать математическим способом фонематический состав русского языка, используя статистический метод, изложенный в книге Шеннона и Уивера «Математическая теория коммуникации» (1949). Беря данные, добытые эмпирическим путем (обычное исследование фонем), а именно: 11 отличительных признаков фонемы (гласная, согласная, носовая и т. д.), авторы статьи помещают их в таблицу следующим образом: слева по горизонтали ставятся показатели, а по вертикали — 42 фонемы русского языка, и в квадратах делают отметки: + (при наличии признака), — (при его отсутствии) и 0 (при безразличии фонемы к этому признаку, например — назальность у гласных)*.

	b	b'	d	d'
Гласные	—	—	—	—
Согласные	+	+	+	+
Носовые	—	—	—	—

Таким образом, подсчитывают среднее число показателей русской фонемы. По подсчету авторов в данном случае это число оказывается 5,79. По утверждению авторов, практическая польза подобного вычисления может заключаться в том, что будет подсчитана вероятность комбинаций фонем в соответствующем языке, будет получена статистическая модель слогов, распределения фонем в лексической таблице языка.

Статистический метод, особенно в той форме, в какой им пользуются авторы указанной статьи, вообще не столь характерен для дескриптивной лингвистики, поскольку для нее существенным является не статистический подсчет как таковой, а исследование о т н о ш е н и й языковых элементов в пределах единичного высказывания. Однако за последнее время этот метод начинает пользоваться популярностью, о чем свидетельствуют и материалы рецензируемого журнала.

Совершенно ясно, что указанный метод не исследует самой материи языка, в данном случае фонемы, а лишь регистрирует в средних числах взятые в абстрактном виде признаки фонем. Для языкознания эти цифры не имеют непосредственного значения, ибо что может, скажем, фонетист взять из числа 5,79 для действительного описания какой-либо фонемы русского языка? Ничего! Для этого он должен будет обратиться к экспериментальному изучению самой фонемы, но не к изучению числа 5,79.

Вообще структуральный метод — это не метод исследования языка, а лишь способ формально-математического изложения результатов исследования, причем эта форма изложения несколько не прибавляет знания о языке. Характерно, что автор статьи «Квази-арифметический метод для синтаксического описания» Бар-Хиллел (Bar-Hillel) усматривает важность данного метода в связи с проблемой механизированного (при помощи машины) перевода.

Для этой цели автор предлагает составить сначала таблицу (модель) следования элементов (например, слов) в контексте, положим, в английском предложении: *Poor John sleeps* следует превратить в формулу, обозначив слово *poor* символом A, *John* — N и *sleeps* — Vv (глагол с морфемой s); так как определение в английском языке всегда стоит с именем и слева, то обычная формула для английского предложения будет NV или более общая $\frac{n}{(n)}$ и $\frac{s}{(n)}$, где первое (n) обозначает все, что связано с именем вправо

* Схема дана в упрощенном виде.

от него, а второе (n) — все, что связано с предложением влево от глагола. Превращение упрощает последнюю формулу до $n \frac{s}{n}$.

Из этой формулы можно составить ряды, например: $ns/(n) [n]n/[s] n s/(n) [n—] n/[n] n/[n] n$.

Если подставить значения в эти символы, то можно подтвердить, пишет автор, что предложение *John knew that Paul was a poor man* согласуется с этой формулой, но согласно ей нельзя образовать следование *poor sleeps John*.

Очевидно, что обычные школьные правила грамматики относительно порядка слов в английском предложении дают достаточный регламент построения предложений и обходятся при этом без высшей математики. Математические выкладки оказываются здесь посторонним наслоением. Полезность же их для создания машины перевода относится уже к области фантастики, далекой от науки. Математические операции превращаются здесь в самоцель, ибо расшифровка формул возвращает нас по существу к нормальному лингвистическому анализу языка и тем самым делает не нужным и все математические выкладки.

Попытка Х а р р и с а (Harris) в статье «Дискурсивный анализ речи» (1952, № 1) ввести в этот метод изучение и социального момента оказывается также абсолютно несостоятельной, так как построена на порочной предпосылке. Сознывая, что дескриптивный метод ограничивается формально-математическим описанием только предложения, Харрис надеется исправить этот недостаток, расширив анализ до анализа целого текста. По соображениям автора этой статьи, анализ текста дает возможность выяснить и социальную сторону языка. Под последней, однако, понимаются у него явления, ничего общего с действительной социальностью не имеющие. Сюда он относит поведение говорящего, ситуацию и т. д. Так, например, в английском языке *How are you?* — форма обращения, а не прямой вопрос о здоровье — уже иллюстрирует, по мнению автора, отношение речи и социального момента.

Вообще выяснение какого-либо значения, выраженного в языке, как заявляет сам автор, — не задача дискурсивного анализа, ибо этот анализ может обрисовать только чистую форму; другими словами, из одного анализа мы не узнаем, что (о чем) говорится в тексте, но узнаем лишь, как к кому говорится. Понятно, что под этим углом зрения изучение социальных моментов становится нереальным. Дескриптивный метод и существует, собственно, ради метода, а описание языка при его помощи уже предполагает исключение всякого значения. Цель этого метода, по утверждению автора, — показать, как обнаруживаются элементы языка, т. е. перевести живой язык в бессодержательную формулу.

Так, английские предложения: 1) *The boss fired Jim*; 2) *Jim was fired by the boss* — выражаются в символах N_1VN_2 (1) и $N_2V^4N_1$ (2).

Разложив таким образом какой-либо текст, получают по горизонтали классы распределения элементов внутри предложения, по вертикали — ряды предложений. Полученная таблица и должна выявить, по утверждению Харриса, определенные черты структуры всего текста. Но так как в любом тексте встречаются весьма разнообразные предложения, то в целях сведения их к более или менее простой таблице отыскиваются эквиваленты; таким образом идентифицируются любые два элемента, «если они встречаются в предложении в одном и том же окружении», и предложения, «если они оба встречаются в языке» (стр. 19).

Так, будут эквивалентны, по его мнению, два английских предложения: *They escaped, saving nothing* и *They escaped; they saved nothing*.

Стремление приравнять эти предложения в данном случае идет в разрез с грамматикой языка, но для дескриптивной лингвистики это не имеет значения, так как выявление символической модели и не преследует цели конкретного изучения грамматического строя языка. Для дескриптивной лингвистики важна сама по себе абстрактная символическая схема. Это наглядно видно из следующего преобразования Харрисом текста (одного рекламного объявления):

Символы	Текст
PW	Millions of People Can't be Wrong!
BS ^x I	Millions of consumer bottles... have been sold...
CPW	And four out of five people... say
PW	They prefer X—...
PW	Four out of five people... can't be wrong
PW	You too will prefer X—...
PW	Your whole family will prefer X—...
BS ^x I	Every year we sell more bottles of X—
S ^x I to p	We sell to consumers
PW	Consumers are satisfied
PW	You too will be satisfied!

Однозначные символы затем обобщаются, и схема в упрощенном виде выглядит АВ : АС : ZB.

Полученная абстрактная модель настолько далека от действительного языка текста, что ее значение вообще никак не может быть связано с грамматическим строем предложений. Так, указанная формула расшифровывается автором следующим образом: А появляется перед В и Z появляется перед В, но Z не появляется перед С. В этом тавтологическом изложении формулы не содержится никакого намека ни на язык, ни на социальную его сторону. Формула получена ради нее самой, а метод использован ради самого метода. Здесь наглядно видно, что символизация языка и различные преобразования формул, аналогичных математическим, привели дескриптивную лингвистику, по существу, к подмене предмета своего исследования: она стала изучать не язык, а абстрактные формулы.

Характерное для дескриптивной лингвистики пренебрежение к природе языка проявляется в том, что непозволительно используются различного рода аналогии. Так, Р. Л и с (Lees) в статье «Основа глоттохронологии» (1953, № 2), ссылаясь на применяемый в естественной науке метод определения возраста вселенной по радиоактивному распаду и возраста земной коры по минералам, предлагает определять историю языка, например, абсолютную хронологию истории лексики, методом анализа продуктов распада морфем. Такой прямой перенос законов природы на язык не имеет ничего общего с научным исследованием, но так как сама доктрина дескриптивной лингвистики допускает пользование методом, не имеющим отношения к языку, то автор спокойно переносит при помощи математики свою теорию на изучение языка. Изложим кратко этот прием.

Из среднего количества элементов — морфем языка (слов) в 100 тыс. единиц берется средний активный запас говорящего в 20 тыс. В это число входит определенная часть морфем, имеющая в истории постоянное значение (морфемы, обозначающие части тела, числа и т. д.). При сравнении указанных морфем на разных этапах развития языка оказывается, что часть из них в более позднее время исчезает и вытесняется новыми — это есть, по определению автора, распад морфем. Надо сказать, что подобное изменение слов — отмирание ряда старых и рождение новых — в составе лексики какого-либо языка хорошо известно лингвистике и всегда подробно и конкретно изучается исторической лексикологией.

Но такое изучение лексики не считается структуралистами научным методом: для них задача лингвистики состоит в другом — отыскать абсолютную формулу «распада». Вот как это делается. Берется, например, около 100 морфем английского языка и дается их значение (в сравнении с другими родственными языками, скажем, шведским). Устанавливается, что за 1000 лет из 215 морфем выпало 10—15, оставшееся число обозначается символом N, а количество замещенных морфем в данный отрезок времени — R. Это постоянные числа. Все это обозначается следующим образом: если

возьмем N_0 морфем в t_0 и только N их остается позже в t , то получим $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$, где λ постоянная, равная R/v , или для $N=N_0 e^{-\lambda t}$ (где λ математическая постоянная $=2,718$). Правильность этой формулы Р. Лис проверяет на материале различных языков; например, из 209 корневых морфем древнеанглийского языка современный английский сохранил 160 (76,6%): из 214 древневерхненемецких корневых морфем современный немецкий сохранил 180 (84,2%) и т. д.

Общий результат, выведенный из указанной формулы, определяется так: около 81% корневых морфем сохраняется на протяжении 1000 лет — закон для всех языков во все времена. Правда, оговаривается автор, фактические подсчеты показали в некоторых языках значительные отклонения (в узбекском, например, 66,2% за 954 года и т. д.), и для получения достоверного результата Лис дает сложную формулу исключения вероятных ошибок.

Из всего изложения этого метода «глоттохронологии» явствует, что математический анализ накладывается здесь как совершенно чуждый природе языка метод, не могущий получить никакого положительного применения. Слова языка в их историческом развитии не поддаются никакому абстрактному уравниванию, причины же и пути их изменения всегда нуждаются в конкретном исследовании с учетом внутренних законов развития данного языка, этимологии слова и истории народа — носителя этого языка. Языковедение не может удовлетворить результаты любой «глоттохронологии», если она строится только на числовых данных. «Глоттохронологический» закон, который по существу сводится к тому, что в определенное время в языке происходит изменение определенного количества слов, для современной лингвистики не может считаться добытым результатом исследования. Наука начинается только тогда, когда изучаются конкретные изменения, скажем, в лексике языка прослеживается история отдельных слов, выведенные же ею более общие закономерности излагаются в соответствии с природой этих законов, без ненужной математической символики.

Среди статей, посвященных вопросам общего языковедения, опубликована статья Р. Робинса (Robins) «Имя и глагол в общей грамматике» (1952, № 3). Автор статьи

рассматривает вопрос о том, насколько имя и глагол являются универсальными категориями, свойственными всем языкам мира. Идея существования таких универсальных языковых категорий («*language universals*»), как отмечает автор, зародилась уже давно. Для античной и средневековой грамматики, рассматривавшей все языки сквозь призму грамматической структуры греческого и латыни, вопрос этот, естественно, мог решаться только положительно. В XIX в., однако, в связи с тем, что науке стали известны языки, грамматический строй которых качественно отличен от строя греческого и латыни, идея универсальных грамматических категорий была сильно поколеблена. Тем не менее существование какого-то минимума, хотя и крайне ограниченного, грамматических явлений, свойственных всем языкам мира, признается и современной лингвистикой. В частности, многие языковеды, например Мейе, Сепир и другие, признают такими универсальными, общелингвистическими понятиями категории имени и глагола. Р. Робинс в упомянутой статье пытается проследить, насколько эта идея правомерна.

Рассмотрение вопроса об универсальных языковых категориях автор начинает с разбора исходного теоретического положения, выдвинутого Ельмслевом в его книге «*Принципы общей грамматики*» (1928). Согласно этому положению, общность грамматического строя обусловлена общностью психологических явлений, свойственных всему человечеству, подобно тому как общность фонетической системы языков базируется на общности физиологического устройства органов речи. Этот взгляд представляется Робинсу неверным. По его мнению, параллелизма между физиологическими и психологическими явлениями не существует, ибо физиология органов речи доступна непосредственному наблюдению и изучению, психологические же явления, утверждает он, недоступны прямому наблюдению и не могут быть надежным критерием лингвистического исследования. К тому же, добавляет Робинс, неверно рассматривать язык как способ внешнего проявления внутренних мыслительных процессов.

Отказавшись, таким образом, от выдвинутого Ельмслевом психологического критерия, автор приходит к необходимости при изучении грамматического строя базироваться исключительно на данных структурного анализа. Анализ этот, по его мнению, зависит главным образом от применяемого тем или иным лингвистом метода описания и терминологии. Он с сочувствием цитирует слова Г. Фогта (Vogt), который утверждает, что систему любого языка можно представлять по-разному, различными способами, в зависимости от соображений удобства, простоты, экономии и т. д.; вопрос об истинности лингвистического анализа вообще не встает. Стало быть, делает вывод Робинс, вопрос о том, «существуют ли универсальные грамматические категории», на деле следует формулировать так: «существуют ли универсальные критерии классификации речевых форм (*forms of utterance*) по грамматическим категориям?».

По мнению Робинса, такого рода универсальные критерии должны быть чисто формальными; соображения логического, семантического и иного порядка следует отбросить как вредные для языкознания. Однако тут возникает затруднение. Дело в том, что, как утверждает автор, ссылаясь на работы Уорфа, Сепира и других представителей так называемой «этнолингвистики», сам строй того или иного языка определяет мышление и, стало быть, познание вещей и явлений внешнего мира. Поэтому анализ любого языка неизбежно должен идти сквозь призму родного языка; «модели» («*patterns*»), присущие родному языку, всегда неизбежно накладываются на изучаемый язык, ибо именно эти модели формируют наше мышление. Поэтому мы даже не можем судить о том, применимы ли к тому или иному анализируемому языку понятия «имени» и «глагола». Все, что мы можем утверждать, — это то, что слова одного языка могут переводиться именами и глаголами другого языка. Иными словами, конечный вывод, к которому приходит автор, таков: «предложения одного языка могут быть переведены предложениями другого языка». Дальше этого, утверждает Робинс, современная наука идти не может.

Мы сочли необходимым столь подробно изложить содержание этой статьи, поскольку она, по нашему мнению, дает яркое представление о том, в какой тупик привели буржуазную лингвистику ее порочные методологические позиции. Здесь представлены, по существу, все идеалистические концепции, господствующие ныне в западноевропейской и американской науке о языке: учение о «непознаваемости» психических процессов; категорический отказ от привлечения данных смежных наук (логики, психологии); полное игнорирование семантической, смысловой стороны языка; абсолютный субъективизм и релятивизм, исключающий возможность постановки вопроса об истинности или ложности тех или иных теорий; псевдонаучные построения современной американской «этнолингвистики»¹ и т. п. Неудивительно, что такого рода концепции не могут не привести автора к полному агностицизму. Убогий вывод — «предложения одного языка переводимы на другой язык» — поистине достойный «итог»!

¹ Подробнее о взглядах этнолингвистов см. статью М. М. Гухман «Э. Сепир и «этнографическая лингвистика»» («Вопросы языкознания», 1954, № 1).

Вряд ли можно отрицать, что существуют определенные грамматические категории, свойственные всем языкам; наличие такого рода общих черт в грамматическом строе самых, казалось бы, несхожих языков обусловлено, в конечном счете, общностью человеческого мышления, единством его законов для всего человечества. Понятно, что такого рода грамматические категории носят самый общий характер и по-разному конкретизируются, воплощаются в строе каждого конкретного языка. Принадлежат ли к их числу категории имени и глагола — вопрос спорный и пока еще не решенный, не в силу его принципиальной «неразрешимости», а в силу его недостаточной изученности. Прийти к его решению можно только путем анализа и сравнения грамматического строя как можно большего числа языков, путем обобщения материала конкретно-лингвистических исследований, а не путем абстрактных спекуляций. Ясно одно: порочная методология, господствующая в современном буржуазном языкознании, не может дать науке подлинного теоретического базиса.

*

Помимо статей общетеоретического характера, журнал «Language» публикует большое количество работ, посвященных конкретным, частным вопросам исследования отдельных языков. В номерах журнала за 1952 и 1953 годы помещены статьи по вопросам общей индоевропеистики, германистики, романистики, славистики, кельтологии, а также по отдельным языкам: английскому, немецкому, французскому, русскому, испанскому, исландскому, норвежскому, ирландскому, греческому, румынскому, албанскому, хеттскому, тохарскому, латинскому, индийскому, китайскому, дравидийским, бирманскому, малайско-полинезийским, африканским, эламскому, индийским и т. д. Круг языков, охватываемых исследованием, как видно, весьма широк.

Важно отметить одно обстоятельство: все статьи, посвященные конкретным вопросам исторического языкознания, базируются, в основном, на сравнительно-историческом методе и обходятся целиком без применения «новейших» достижений дескриптивной лингвистики. Оно и понятно: структурно-математический анализ отношений в языке вообще не может быть применен к историческому исследованию языка. Метод дескриптивной лингвистики, господствующий при изучении и описании современных языков, дает извращенную и одностороннюю картину синхронного состояния языка; картины же исторического развита и этот метод дать не может в силу своей сущности. Разрыв между синхронным и историческим изучением языка еще раз подтверждает научную несостоятельность дескриптивной лингвистики, которая тем самым снимает себя как метод изучения языка.

Обилие и разнообразие языков, упоминаемых в статьях рецензируемого журнала, и весьма узкий и специальный характер затрагиваемых вопросов не дают возможности дать всем этим статьям характеристику, хотя бы и краткую; это доступно только специалистам по соответствующим языкам. Ограничимся тем, что для примера рассмотрим некоторые статьи по вопросам индоевропеистики и германистики, чтобы дать общее представление о характере научно-лингвистических статей, помещаемых в журнале.

Статья известного американского хеттолога Э. Стертеванта (ум. в 1952) «Предистория индоевропейских языков» (1952, № 2) посвящена отношению хеттского языка к индоевропейскому. В ней Стертевант излагает свою известную теорию отдаленного родства хеттского языка с индоевропейскими. По словам автора, «если санскрит, греческий язык, латынь и германские языки — родные сестры, то хеттский — только двоюродная сестра». Хеттский язык вместе с пятью другими мертвыми языками Малой Азии (иероглифическим хеттским, лувийским, палайским, ликийским и лидийским) составляет особую анатолийскую группу языков, связанную с индоевропейской группой происхождением от общего языка-предка — индо-хеттского. В доказательство этого положения автор ссылается на целый ряд архаичных черт в строе хеттского языка: наличие особых соединительных частиц, из которых в индоевропейских языках образовались указательные местоимения; сохранение так называемых ларингалных (гортанных) согласных, исчезнувших в индоевропейских языках; отсутствие женского рода и т. д. Статья Стертеванта, по существу, в сжатом виде суммирует его взгляды на взаимоотношения языков индоевропейских с хеттским, уже неоднократно высказывавшиеся автором. Правильность этих взглядов справедливо ставится под сомнение многими лингвистами; так, известный датский хеттолог Х. Педерсен в своей рецензии на книгу Стертеванта «Сравнительная грамматика хеттского языка», помещенной в «Language» (1953, № 1), правильно указывает, что наряду с архаичными формами, сохранение которых вполне естественно ввиду большой древности хеттских текстов, в хеттском языке имеются также и новообразования, свидетельствующие о происшедших в языке существенных изменениях.

Известный французский индоевропеист Э. Бенвенист (Benveniste) в статье «Склонение местоимений в хеттском языке» (1953, № 3), ссылаясь на хеттский материал, выдвигает предположение, что древнейшим окончанием винительного падежа

указательных местоимений в индоевропейских языках было не **-om*, как считалось до сих пор, а **-um*; форма **-om* — более поздняя, вытеснившая древнюю **-um*, которая ныне сохранилась только в хеттском (в виде *-un*). Далее, опираясь на хеттскую парадигму склонения личных местоимений: 1-е лицо им. падеж *ug* — вин. падеж *amig*; 2-е лицо им. падеж *teg* — вин. падеж *tug*, — Бенвенист приходит к выводу, что в древнейшую эпоху в индоевропейских языках различие между именительным и винительным падежами местоимений выражалось противопоставлением огласовки *e/i* (форма *ug*, по его мнению, заменила более древнюю **eg*). Предположение это, само по себе не невероятное, остается при современном состоянии науки недоказанным. Важно отметить одно: материалы по индоевропеистике, помещенные в журнале, свидетельствуют о том, что дальнейший прогресс в этой области языковедческой науки немислим без тщательного изучения строя хеттского и родственных ему языков.

Из статей по германистике отметим работы Г. Муста (Must), посвященные истории падежных форм в германских языках. В статье «Готская форма родительного падежа множественного числа на *-e*» (1952, № 2) он пытается дать объяснение происхождению этой не вполне ясной формы. По мнению автора, буква *e* в данном случае обозначает долгий звук *i*, а форма окончания восходит к родительному падежу множественного числа основ на *-i*, распространившемуся на другие основы. В другой статье того же автора «Германское окончание родительного падежа единственного числа основ на *-o*» (1953, № 3) доказывается, что форма родительного падежа в германских языках (гот. *-is*, др.-в.-нем. *-es*) восходит не к **-eso*, **-oso*, как это предполагалось до сих пор, а к форме **-esjo*, **-osjo*, характерной и для других индоевропейских языков.

Статья К. Рейхарда (Reichard) «Надпись на шлеме В из Нерау» подвергает анализу надпись, сделанную этрусским алфавитом на шлеме, найденном близ Нерау (в Штирии). Надпись эта, читаемая *harigasti teiwa*, явно германская по языку: слово *harigasti* состоит из двух основ, из которых первая родственна с гот. *harjis*, нем. *Heer* «войско», вторая — с гот. *gasts*, нем. *Gast* «гость»; слово же *teiwa* родственно имени германского божества (сканд. *Tyr* < **tiwaz*). Датировка надписи неясна, но, очевидно, она относится к глубокой древности, возможно, к периоду за несколько сот лет до новой эры; архаичный характер надписи подтверждается сохранением в слове *teiwa* дифтонга *ei*, давшего в историческую эпоху долгое *i*. По мнению автора статьи, *harigasti* означает имя владельца шлема, а *teiwa* — имя божества; оба слова стоят в именительном падеже единственного числа, а отсутствие обычной древнегерманской флексии именительного падежа *-z* объясняется ее отпадением, характерным для западногерманских языков. Это сомнительно: вряд ли отпадение конечного *-z* в западногерманских языках произошло в столь ранний период. Скорее здесь наличествует форма дательного или винительного падежа — возможность, которую не отрицает и сам автор статьи.

Нам кажется, что рассмотрение вышеприведенных статей, в общем, дает представление о характере работ современных американских лингвистов по вопросам исторической лингвистики — работ, из которых можно извлечь много интересного и ценного материала, свидетельствующих о высокой технике конкретного историко-лингвистического анализа. Однако нельзя не видеть того разрыва между сугубо идеалистической, практически несостоятельной теорией и идущей по линии чистого эмпиризма практикой языкового исследования, который столь характерен для современного буржуазного языкознания.

*

Метод дескриптивной лингвистики, пропагандируемый журналом «Language» как метод синхронного изучения языков, порожден соответствующей общей философией современного буржуазного языкознания. Методологические основы логического позитивизма и семантизма, процветающих в настоящее время в Америке, необходимо должны были привести языковедение и логику к крайнему формализму.

Отбросив объективное содержание языка и логических форм мышления, сведя язык к чистой форме, представители дескриптивной лингвистики уничтожили тем самым и языковедение, лишили последнее предмета исследования. Изложенные математическим способом общие результаты дескриптивного исследования остаются уже вне границ лингвистики и без возможности дальнейшего научного и практического использования. Сам математический метод оказывается чужеродным, не соответствующим действительной природе языка.

Все то действительно ценное, что американское языковедение практически делает в области изучения языков (историческое языковедение), — все это заслуга скорее «доброе старое компаративизма», а не модного, но, видимо, недолговечного направления — дескриптивной лингвистики.

Л. С. Баргударов, Г. В. Колшанский

П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Морфология. — Изд-во Моск. ун-та, 1953. 307 стр.

1

Наша научная литература по исторической грамматике русского языка бедна обобщающими трудами. Появление курса исторической морфологии русского языка, принадлежащего перу проф. П. С. Кузнецова, должно привлечь к себе внимание специалистов по истории русского языка. П. С. Кузнецов опубликовал лекции по исторической грамматике русского языка, читанные им в течение ряда лет в МГУ и других вузах столицы.

Рассматриваемый курс исторической морфологии русского языка состоит из введения, шести глав, посвященных обзору морфологических изменений по отдельным частям речи, и заключения. Некоторые места в тексте лекций по исторической грамматике отличаются свежестью материала, новизною взглядов. Гипотетичен, но увлекателен рассказ автора о значении детерминативов в склонении имен существительных в индоевропейском языке-основе. Хорошее впечатление производит раздел о чередованиях. Очень интересно подан материал, касающийся истории числительных. Изложение материала по истории глагольных форм также в общем находится на достаточно высоком научном уровне.

Вместе с тем следует отметить, что лекции П. С. Кузнецова имеют ряд существенных недостатков.

Автор нередко устанавливает связи между фактами общиндоевропейского языка-основы и фактами общеславянского языка-основы. Но при этом он допускает многочисленные неточности в изложении сообщаемых сведений. Так, форму сигматического аориста *ньз* автор возводит к общиндоевропейской форме *nes-o-m* (стр. 210) вместо *nes-s-om*.

Говоря о соотношении окончаний в склонении основ на *-й*, автор отмечает, что им падеж ед. числа и вин. падеж ед. числа имели окончание *ъ*. «В части форм, — продолжает автор, — мы находим конечное *-у* (*ы*): вин. п. мн. ч., им.-вин. п. дв. ч. *сыны*. Но, как мы знаем, *ъ* находится в чередовании с *у* (*ы*) и это чередование, восходящее к индоевропейскому *й/й̄*, получило широкое развитие на славянской почве. Ср., например, *съхнути*—*оусыхати*. Таким образом и в этих формах мы имеем дело для определенной эпохи с чистой основой (без окончания), но на другой ступени чередования» (стр. 46).

В действительности же только в им.-вин. падежах двойственного числа окончание *-ы* восходит к индоевропейскому *и* долготу. Только в им.-вин. падежах единственного и двойственного числа отношение *ъ* : *ы* восходит к отношению *й* : *й̄*. В вин. падеже множественного числа *-ы* не восходит к *й̄*, оно возникло на славянской почве из *-ъns*. Это значит, что отношение *ъ* : *ы* в им.-вин. падежах единственного числа и множественного числа не восходит к отношению *й* : *й̄*.

«Так же обстоит дело, — пишет автор, — и в склонении с основой на *-ъ*. Род., дат., местн. п. ед. ч., им.-вин. п. дв. ч., вин. п. мн. ч. (а для женского рода и им. п. мн. ч.) оканчиваются на *-i* (ср. *пути*, *кости*). Но *i*, как известно, находится в закономерном чередовании с *ь* (ср. *братья* — *сбираюти*). И во всех этих формах мы имеем дело с чистой основой, но на другой ступени чередования. Генетически чередование *ь/i* может иметь двойкий источник: оно может восходить к чередованию *i/ī* (т. е. к удлинению редукции) и может восходить к чередованию *i/eī*. Как показывает сравнение с другими индоевропейскими языками, в склонении с основой на *-ъ* ступень *i* развилась из дифтонга *eī*» (стр. 46).

В действительности *-i* развивалось из дифтонга *eī* только в род., дат., местн. падежах единственного числа. В им.-вин. падежах двойственного числа *i* развивалось из индоевропейского *i* долготу. В вин. падеже множественного числа *i* явилось на славянской почве из индоевропейского *-ins*. В им. падеже множественного числа женского рода *i* (*кости*) аналогического происхождения. Следовательно, *-i* в склонении основ на *-ъ* восходит к разным источникам, а не только к *eī*.

Анализируя падежные окончания основ на *-й̄*, автор пишет: «Остальные формы, помимо уже рассмотренных, имеют основу, оканчивающуюся на *ъ* с различными окончаниями после нее. Ср. тв. п. ед. ч. *сынъмь* (окончание *-мь*), тв. п. мн. ч. *сынъми* (окончание *-ми*), местн. п. мн. ч. *сынъгъ* (окончание *-гъ*), дат.-тв. п. дв. ч. *сынъма* (окончание *-ма*). Следует заметить, кстати, что те же окончания после конечного гласного основы мы находим и в других типах склонения» (стр. 46). Неточность сообщаемых здесь сведений заключается в том, что указанные окончания были не во всех типах склонения, что окончание *-ми* твор. падежа множественного числа не имело места в склонении основ на *-о* (ср. древнерус. *вълкы*).

Неточным или во всяком случае спорным является изложение фонетического процесса образования звательных форм на *-о* у основ на *-а* (ср. укр. *мамо!*). П. С. Кузнецов полагает, что в звательной форме конечное долгое *a* подвергалось редукции и

сокращению. «Сокращаясь, \bar{a} давало \bar{y} , которое на славянской почве изменялось в o » (стр. 54). Из этого изложения следует, что в индоевропейском языке-основе долгие при редукции и сокращении давали краткие гласные того же качества; долгий гласный a , редуцируясь и сокращаясь, давал краткий гласный a , долгий гласный o давал краткое o и т. п. Между тем в действительности редукционную ступень долгих гласных представлял звук \bar{e} , который на славянской почве изменялся в o . Звук o в звательной форме *сестро* обычно выводят не из краткого a , а из \bar{e} , представляющего собой редукционную ступень долгого a .

Реконструируемые формы даны в работе не всегда точно. Некоторые из таких неточностей можно объяснить как опечатки; но многое представляет собой недосмотр автора. На стр. 25 в формуле индоевропейского чередования $e/o/\bar{e}/o$ не отмечена долгота последнего o . Для слова *камень* автор восстанавливает форму *kamons* без указания на долготу o (ср. лит. *актиб*, где *io* соответствует долгому o в греч. $\acute{\alpha}\mu\omega\nu$). При обозначении дифтонга *oi* почти всегда отсутствует указание на неслоговой характер *i*. Этот дифтонг очень часто передается буквами *oi* (стр. 45, 46 и др.).

Таким образом, при изложении сведений, относящихся к общиндоевропейскому языку-основе, автор допускает многочисленные неточности.

В особенности небрежны и неточны формулировки, в которых излагаются закономерности фонетических процессов. О фонетическом изменении группы tl, dl в i автор выражается так: звуки t, d «теряются» (стр. 202). Говоря об образовании причастий страдательного залога прошедшего времени от глаголов типа *пустити*, автор пишет: «В тех случаях, когда основа инфинитива оканчивалась на согласный, между этой основой и суффиксом являлся тематический гласный e , например *нес-ти* — *нес-е-нъ*. Это e являлось и в тех случаях, когда основа инфинитива оканчивалась на суффиксальное i (т. е. в глаголах IV класса), причем само это i теряется, например: *пустити* — *пущенъ*» (стр. 202). Выражение «звуки теряются» в курсе П. С. Кузнецова является самым излюбленным. Оно применяется автором к самым разнообразным фонетическим явлениям.

2

Для истолкования фактов русского языка автор иногда привлекает данные восточнославянских языков. Однако факты украинского и белорусского языков автор излагает неточно. Говоря о влиянии основ на $-й$ на склонение имен существительных с основами на $-o$, П. С. Кузнецов пишет: «Формы, восходящие к старым основам на $-й$ ($-ъ$), но захватившие и существительные, принадлежавшие и в прошлом к основам на $-o$, шире представлены и в современных украинском и белорусском языках, сравнительно с современным русским. Ср., например, в дат. п. ед. ч. укр. *батькові, хлопцеві* (формы на $-ови, -еви$ характерны и для юго-западных белорусских говоров)» (стр. 72). «Шире, чем в русском литературном языке, формы на $-ов$ представлены в украинском и белорусском языках... Ср., например, укр. *ячменів, товарищів...*, белорусск. *рублёў, канёў*» (стр. 78). Эти сведения не совсем верны. Рассмотрим факты украинского и белорусского языков по отдельным падежам. Автор указывает, что окончания $-ови, -еви$ свойственны юго-западным белорусским говорам. Как известно, юго-западными обычно называют белорусские говоры с недиссимилятивным *якавьем* и твердым r . В этих белорусских говорах окончание $-ови, -еви$ не встречается. Е. Ф. Карский наблюдал указанное окончание на юго-западе по соседству с польскими и украинскими говорами. Современные диалектологи отмечают формы $-ови, -еви$ в узкой полосе говоров, переходных от украинского языка к белорусскому, например в Пружанах Брестской области.

Таким образом, формы $-ови, -еви$ в дат. падеже единственного числа не свойственны основным наречиям белорусского языка. Нет их и в белорусском литературном языке; в украинском языке они употребляются в строго определенном порядке, а именно: во втором склонении имена существительные мужского рода, обозначающие лица и живые существа вообще, по преимуществу получают в дат. падеже единственного числа окончание $-ові, -еві$ (ср. *студентові, буйволів*). Имена существительные мужского рода, не обозначающие существ, могут иметь окончания $-ові, -еві, -у, -ю$ (ср. *лісові и лісу, днів и дню*).

Следовательно, автор неточно сообщает сведения об употреблении форм $-ови, -еви$ в восточнославянских языках.

Нельзя признать точной и формулировку автора о более широком распространении в украинском и белорусском языках окончания $-ов$. Эта формулировка не дает правильного представления о действительном характере употребления окончания $-ов$ в восточнославянских языках. В белорусском языке окончание $-ов$ употребляется совершенно иначе, чем в русском. В мужском роде его принимают не только имена существительные с основой на твердый согласный, но и имена существительные с основой на мягкий согласный (ср. *канёў*). Но имена существительные, имеющие в

единственном числе суффикс *-ин-*, в род. падеже сохраняют, как в русском языке, чистую основу (ср. *мінчан*). Далее, окончание *-ов* (*-аў, -оў, -еў*) могут принимать и имена существительные женского и среднего рода (ср. *жанчынаў, моваў, мораў, летаў*, и т. д.).

В украинском языке имена существительные среднего и женского рода, как правило, не имеют в род. падеже множественного числа окончаний, восходящих к *-овь*. В соответствующих случаях русский язык также не знает окончаний *-ов*. Но в украинском языке окончания *-ів* получают имена существительные мужского рода, имеющие в единственном числе суффикс *-ин-* (ср. *осетинів, грузинів*). Имена существительные иноземного происхождения *вольт, ом* в род. падеже множественного числа имеют формы *вольтів, омів*.

Таким образом, в литературном русском и литературном украинском языках окончание *-ов* употребляется только у имен существительных мужского рода, причем в украинском языке более широкий круг имен существительных мужского рода принимает окончание, восходящее к *-овь*. В белорусском же языке имена существительные всех трех родов принимают окончания, восходящие к *-овь*. Различие между белорусским и русским языками в отношении употребления окончания *-ов* в род. падеже множественного числа не количественное, а качественное.

Не вполне точно даны сведения о белорусском и украинском языках и в следующей формулировке автора: «Распространение старой формы род. п. мн. ч. основ на *-і(-ь)* на склонение с основой на *-о* имело место не только в русском, но также и в белорусском и украинском языках» (стр. 80). В русском языке окончание *-ей* распространилось в род. падеже множественного числа у всех имен существительных, имевших основы на *-јо-* (ср. *коней, полей*). В белорусском языке эти имена существительные могут иметь окончание *-ей*, но чаще употребляются с окончанием *-ёў* (ср. *канёў, палёў* и т. п.). В украинском языке распространение окончания род. падежа множественного числа основ на *-і* имело еще более сложный характер.

Неверно сообщаются сведения о склонении имен существительных женского рода с суффиксом *-ка* в белорусском языке. В местном и дательном падеже единственного числа эти существительные имеют форму на *-ы*: *на шапцы, аб шапцы, на лаўцы*; автор же дает формы на *-е*: *на лаўце* (стр. 124).

Также неверно сопоставляет автор русскую диалектную форму *той* с украинской формой *той*. Автор пишет: «Местоимение *той*. Фонетически развившаяся из *тўјь*, сохранилось кое-где по говорам, а также в украинском языке» (стр. 141). Здесь необоснованно опущены факты белорусского языка. Кроме того, факты русского языка незакономерно сопоставлены с фактами языка украинского. Дело в том, что русская форма *той* действительно развивалась фонетически из *тўјь*, но украинская и белорусская форма *той* не могла фонетически развиваться из *тўјь*, так как в этих языках редуцированное *ў* переходило не в *о*, как в русском языке, а в *и, ы* (ср. укр. *сілий*, белорус. *сляпы*). В украинском и белорусском языках форма *той* возникла фонетически, а морфологически. Она не сопоставима с русской диалектной формой *той*.

Мы рассмотрели некоторые случаи привлечения данных белорусского и украинского языков к объяснению фактов русского языка; приходится с сожалением констатировать, что автор проявил беззаботность в отношении изложения фактов белорусского и украинского языков.

Фактических данных других славянских языков автор почти совсем не привлекает. Имеется только указание на то, что в польском языке употребляются формы *ryboja* и *ryba* (стр. 52).

3

Сведения по русскому языку автор сообщает также не всегда точно. Говоря о взаимодействии окончания 1-го склонения имен существительных с основой на твердый и мягкий согласные, автор пишет: «Возможно, что результатом воздействия мягкой разновидности склонения на твердую является и наблюдающееся по говорам совпадение форм род., дат. и предл. п. ед. ч. у существительных на *-а* (т. е. 1-го склонения) в форме, соответствующей нашему родительному падежу, например, *из избы, в избы, к избы, из земли, к землей, в землей*» (стр. 94). Эту формулировку можно понять только в том смысле, что формы *из избы, в избы, к избы* возникли по аналогии с формами основ на мягкие согласные.

В приведенных автором примерах воздействие мягкой разновидности на твердую имеет место только в дат. и предл. падежах единственного числа (ср.: *в избы, как в земли; к избы, как к землей*). Но в примерах, характеризующих родительный падеж, влияние мягкой разновидности на твердую не было. Форма *из избы* исконная. По аналогии с ней образована и форма *из земли*. Если бы в род. падеже единственного числа имело место воздействие мягкой разновидности на твердую, то получились бы

Формы *из избе*, как *из земле*. Следовательно, сведения о влиянии твердой разновидности на мягкую сообщены автором не вполне верно.

Неправильно сообщаются сведения о склонении притяжательных прилагательных в русском языке. П. С. Кузнецов утверждает, что «местоименные формы развились у них лишь в тв. и местн. п. ед. ч. и во всех косвенных падежах мн. числа» (стр. 154). В действительности притяжательные имена прилагательные женского рода в единственном числе имеют местоименные формы во всех косвенных падежах, кроме винительного (ср. род. падеж *бабушкиной*, дат. падеж *бабушкиной*, твор. падеж *бабушкиною*, местн. падеж *о бабушкиной*). Только в им. и вин. падежах единственного числа они сохраняют старые именные формы (ср. *бабушкина* и *бабушкину*). Во множественном числе притяжательные имена прилагательные также не во всех косвенных падежах имеют местоименные формы, как утверждает автор. В вин. падеже множественного числа они сохраняют старую именную форму, если относятся к именам существительным, обозначающим неодушевленные предметы (ср. *вижу бабушкины очки*).

Неверно формулирует автор факты, относящиеся к изменению склонения числительных *триста*, *четыреста*. Автор пишет: «Именительный и винительный падежи *триста* и *четыреста* сохранили старую форму, остальные же падежи развили формы, параллельные соответствующим падежам *двести*, причем числительные *три* и *четыре* склоняются согласно своему новому склонению..., а *сто* согласуется с ними совершенно так же, как при *двести*» (стр. 184).

В этом изложении имеется ряд неточностей. Во-первых, числительное *сто* не согласуется с числительными *три* и *четыре* в современном русском языке, не согласовывалось оно с ними и в древнерусском языке. Напротив, числительные *три* и *четыре* согласовывались в падеже с числительным *сто* и в косвенных падежах продолжают согласовываться с ним и в современном русском языке (ср. *трехсот*, *тремястами* и т. п.). Во-вторых, не числительные *триста* и *четыреста* развили формы, параллельные соответствующим падежам *двести*, а наоборот, числительное *двести* развило формы, параллельные соответствующим падежам *триста* и *четыреста*.

В составе числительного *двести* числительное *сто* в косвенных падежах принимало формы двойственного числа, а в составе числительных *триста* и *четыреста* числительное *сто* принимало формы множественного числа. В современном русском языке числительное *сто* принимает при склонении формы множественного числа как в составе числительных *триста* и *четыреста*, так и в составе числительных *двести* (ср. *двухсот*, *трехсот*, *четырёхсот*, *двумстам*, *тремстам*, *четыремстам* и т. п.).

Не вполне точно сообщаются сведения об употреблении собирательных числительных *двое*, *трое*. П. С. Кузнецов утверждает, что «в современном языке, по крайней мере, литературном, они сочетаются лишь с названиями лиц, и притом главным образом мужского пола» (стр. 187) (ср. *трое парней*). В действительности эти числительные употребляются не только в сочетании с названиями лиц, но и в сочетании с другими именами (ср. *двое часов*, *двое ворот*, *двое сапог*, *двое суток* и т. п.).

Иллюстративный материал, касающийся исторического периода в развитии русского языка, заимствован главным образом из «Лекций по истории русского языка» А. И. Соболевского. Только в главе, посвященной глаголу, встречаются отдельные примеры, которых нет в лекциях Соболевского. Кроме того, иллюстративный материал вообще очень незначителен по объему. В диалектологических справках он не имеет территориальной приуроченности. Автор ссылается на данные диалектологии, но почти никогда не называет конкретных говоров определенной территории. Диалектологические сведения часто не имеют никакой паспортизации.

Недостоверность фактов, неточность сообщаемых сведений — серьезный недостаток рецензируемой работы. Читатель не во всех случаях может довериться автору в смысле надежности и точности сообщаемых им сведений.

4

В курсе истории русского языка большое место должны занимать вопросы реконструкции древних языковых фактов, принципы их истолкования, а также вопросы, связанные с разъяснением фактов современного языка из данных языка-основы.

Перед автором стояла задача использовать сравнительно-исторический метод для освещения истории русского языка, правильно истолковать факты русского языка в свете данных родственных языков. И в этом отношении в книге П. С. Кузнецова имеются существенные недостатки.

В ней отсутствует периодизация явлений по общепринятым эпохам в развитии языка. Явления индоевропейской общности смешиваются с явлениями общеславянской общности. Так, автор пишет: «Склонения с основой на -э(-й) и -ь(-й)... не только

в эпоху, предшествующую формированию общеславянского языка-основы, но и на протяжении всего его существования и даже возможно позднее характеризовались именно этими концами основ (т. е. *ъ* и *ь*)» (стр. 45). Гласные *ъ* и *ь* никак не могли характеризовать концы основ в эпоху, предшествующую образованию общеславянского языка-основы.

Автор избегает точных терминов, обозначающих эпохи в развитии языка. «Очень рано, — говорит автор, — начинает разрушаться склонение с основой на согласный» (стр. 81). Но читателю остается неизвестным, к какому времени относится *очень рано*. «Слово *день* очень рано приобрело в им. п. конечное *ь* по типу основ на *-i*» (стр. 82). «О раннем разрушении основ на *-s* в русском языке свидетельствуют некоторые явления словообразования» (стр. 84). «В древности, например, в соответствии с современным „два стола“, „три стола“, „пять столов“ выступали другие сочетания (стр. 105). «Окончательное закрепление современных норм сочетаний существительных с числительными 2, 3, 4 имело место, повидимому, сравнительно поздно» (стр. 106). «В определенную эпоху это *n* в закрытом слоге теряется» (стр. 137). О соотношении *мстити* — *мицати* автор высказывается так: «Эти образования уходят, повидимому, в глубокую древность» (стр. 228). Говоря о соотношении окончаний в склонении с основами на мягкие и твердые согласные, автор замечает: «Но большинство их в какую-то дописьменную эпоху зависело от фонетических причин» (стр. 53). У П. С. Кузнецова явления развиваются то «очень рано», то «сравнительно поздно», то в какую-то «дописьменную эпоху», то в «древности», то «в глубокой древности». Ни один из этих терминов не обозначает какую-либо определенную эпоху в истории языка и, следовательно, не имеет никакого строго научного значения.

Автор часто приводит разные взгляды по одному и тому же вопросу, причем оценки этих взглядов не дает. Так, говоря об окончании в им.-вин. падежах двойственного числа *-a*, восходящем к *ō*, он замечает: «Это *ō* представляет собою или результат слияния гласного основы *o* с гласным окончанием, или иную степень чередования» (стр. 49). Какое из этих объяснений является более правдоподобным, автор не говорит. Он указывает на то, что твор. падеж единственного числа основ на *-a* имеет форму *-ojq*. Но в польском языке имеется и окончание *-o*. О первом П. С. Кузнецов высказывается как о вторичном окончании, о втором — как о первичном окончании. А в конце заключает: «Впрочем, польское *ryba* скорее представляет результат стяжения *ryboja*» (стр. 52). Какой взгляд принимает автор, остается неясным.

Отсутствие строгости и точности в применении сравнительного метода наблюдается у автора не только при реконструкции форм языка-основы, но и при объяснении форм современного языка из форм языка-основы. Так, автор отмечает факт отсутствия форманта *-m* в 3-м лице глаголов в ряде славянских языков. Проф. П. С. Кузнецов полагает, что отсутствие *-m* в современных языках объясняется тем, что еще в общеславянском языке первичные окончания вытеснялись вторичными окончаниями.

Автор утверждает, что формы 3-го лица без *-m* в славянских языках «представляют собою результат начавшегося еще в дописьменную эпоху взаимодействия первичных и вторичных окончаний, т. е. окончаний настоящего и прошедших времен. В соответствии с первичным окончанием *-ti* в 3-м лице фигурировало вторичное окончание *-t*, которое, возможно, затем проникло в ряде случаев и в настоящее время. Конечное *t* в результате действия закона открытых слогов должно было утратиться» (стр. 208), что и привело к образованию глагольных форм 3-го лица без *-m*. Возможно, что в отдельных славянских говорах формы без *-m* имеют такое происхождение (ср. в Супр. рук. *повьдуге*). Но это объяснение непригодно для большинства славянских диалектов, в которых мы находим отсутствие *-m*. В белорусском языке формы без *-m* (*-ць*) употребляются в первом спряжении только у неозвратных глаголов (ср. *нясе, бяра* и т. п.). Но в возвратных глаголах *-m* (*-ць*) сохраняется (ср. *нясецца, бярацца*). Если бы *-m* (*-ць*) в 3-м лице глаголов отсутствовало потому, что оно пало в период надания вторичных окончаний, то оно должно было пасть и в возвратных формах. В применении к белорусскому языку предложенное объяснение отсутствия *-m* в 3-м лице глаголов неприемлемо. Оно неприемлемо также и в отношении чешского языка, в котором показатель *-m* отсутствует и в 3-м лице множественного числа. Однако формы 3-го лица множественного числа в чешском языке представляют новообразование. Первоначально и они имели элемент *-m*, который позднее был утрачен. Об этом свидетельствует наличие новой долготы конечного слога в 3-м лице глаголов множественного числа. Как известно, старые долготы в конечном слоге в чешском утрачены¹.

Еще более не применима рассматриваемая теория к фактам русского языка. Формы без *-m* встречается в говорах только в неозвратных глаголах. Уже это одно исключает возможность связывать формы без *-m* с судьбой вторичных окончаний.

¹ См. А. М. Сел и щев, Славянское языкознание, т. I, М., 1941, стр. 163.

В ряде говоров процесс утраты конечного *-т* в 3-м лице глаголов совершается и в настоящее время. Проф. А. М. Селищев утверждал, что «в некоторых северно-великорусских говорах процесс утраты *-т* в форме 3 л. до сих пор еще не закончен. Так, по говорам Вятской губ. употребляются формы 3 л. ед. на *-т* и без *-т*. При этом важно отметить следующее явление: в представлении говорящего образование *-т* в конце формы имеется; для этого образования отводится соответствующий момент времени, но осуществление этого образования весьма слабо или совсем отсутствует — *спй, говорй...»*².

Нет никакого сомнения в том, что форма 3-го лица без *-т* в русских говорах не связана с общеславянским процессом падения вторичных окончаний. Вызывает сожаление, что П. С. Кузнецов допускает ошибку, прямолинейно связывая факты современного языка с фактами общиндоевропейского языка-основы, проявляя недостаточное внимание к истории языковых процессов на почве отдельных славянских языков.

Таким образом, в работе проф. П. С. Кузнецова имеются отдельные недостатки в применении сравнительно-исторического метода к освещению истории русского языка; в ряде случаев отсутствует научная обоснованность в реконструкции древних фактов языка и историчность освещения фактов современного языка из данных языка-основы.

5

Курс исторической морфологии русского языка должен строиться на базе современных представлений об основных закономерностях морфологических процессов. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом утрачиваются элементы старого качества в морфологической системе языка. По мнению проф. П. С. Кузнецова, постепенное отмирание элементов старого качества осуществляется путем постепенного разрушения одного элемента этого качества за другим. Так, он полагает, что отмирание старых типов склонения, утрата форм двойственного числа, изменения в формах времени древнерусского глагола и т. п. представляют собой их разрушение (см. §§ 23, 28, 88).

От разрушенных форм могут сохраняться отдельные обломки. Форма 1-го лица единственного числа *вѣдь* — обломок старого перфекта (стр. 241). Форма *будяше* — обломок имперфекта (стр. 217) и т. п. В действительности, однако, история русского языка не знает случаев разрушения отдельных словесных форм как элемента старого качества. Отмирание этих элементов осуществляется не путем их последовательного разрушения, а путем постепенного сокращения их употребления. В древнейших русских памятниках формы двойственного числа употреблялись правильно и регулярно. Однако уже в памятниках XIII в. появляются отдельные случаи употребления форм множественного числа при обозначении двух предметов. В житии Нифонта 1219 г. мы находим такое выражение: *Помози рабомъ своимъ Ивану и Олексию написавшема книги сил*³. В этом примере словесная форма *рабомъ* представляет собою форму дательного падежа множественного числа, а относится она к двум лицам; по старым нормам мы должны были бы иметь в данном случае форму двойственного числа *рабѣма*. Первоначально такие примеры были единичными. Долгое время формы двойственного числа продолжали употребляться с отдельными случаями нарушения общего порядка. В указанном выше примере, наряду с формой множественного числа на месте двойственного, мы находим и правильное употребление причастия *написавшема* в форме двойственного числа. С течением времени в памятниках встречаются все более частые случаи употребления форм множественного числа на месте формы двойственного числа: употребление первых постепенно расширялось, употребление вторых постепенно суживалось.

Вместе с прекращением осмысления форм двойственного числа как форм обозначающих два предмета, закончила свое существование в языке и категория двойственного числа. В отдельных случаях сохранились былые формы двойственного числа, но они получили иное осмысление и назначение в речи: *берега* по происхождению является формой двойственного числа именительного падежа, а имеет значение множественного числа именительного падежа.

По вопросу возникновения и накопления элементов нового качества у автора нет установившихся взглядов, и в разных местах книги имеются разные формули-

² А. Селищев, [Рец. на кн.:] «Н. Дуринов. Очерк истории русского языка. М., 1924 276 стр.», «Известия Отд-ния рус. языка и словесности АН СССР», т. XXXII, 1927, стр. 329.

³ См. А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, 4-е изд., М., 1907, стр. 205.

ровки. Описав отдельные изменения в унаследованных типах склонения, автор заключает: «В результате всех преобразований, изложенных выше, в русском языке (литературном и большей части говоров) устанавливается система трех склонений существительных» (стр. 90). Из этой формулировки можно сделать вывод о том, что элементы нового качества возникают путем преобразования элементов старого качества. Об этом говорит и такая формулировка автора: «В результате изложенных выше преобразований устанавливаются иные отношения между единственным и множественным числом» (стр. 99—100).

По мнению автора, все элементы нового качества в грамматическом строе языка представляют собою выражение дальнейшего абстрагирования. Среди других грамматических процессов и явление так называемой унификации различных типов склонения он рассматривает как яркий пример все дальше идущего обобщения (стр. 8).

В отдельных случаях элементы нового качества действительно представляют более высокую ступень абстракции по отношению к отмирающим элементам старого качества. Так, форма несовершенного вида будущего времени типа *буду писать* представляет собою более высокую ступень абстракции по отношению к формам *имю писати, хочу писати*, а также по отношению к форме *буду писалъ*. В других случаях элементы нового качества представляют собою более дифференцированные средства по отношению к отмирающим элементам старого качества. Так, в древнерусском языке причинные отношения в структуре простого предложения выражались главным образом творительным падежом, современный же русский язык располагает множеством средств для выражения этих отношений.

Но элементы нового качества по отношению к элементам старого качества могут представлять и ту же ступень абстрагирования. Таковы факты, относящиеся к унификации типов склонения. Изменения в склонении, имевшие место в истории русского языка, обеспечили сохранение, укрепление, совершенствование унаследованной системы падежных отношений, а не ее отмирание или дальнейшее обобщение. Никаких новых более абстрактных категорий в падежной системе не возникло. Не появилось ни одного более абстрактного падежа, все унаследованные падежи в результате унификации сохранили свою роль в системе языка. Произошло устранение разнообразия ненужных падежных средств, но абстрагирующее свойство каждого падежа в отдельности не изменилось, так как унаследованная система падежных отношений сохранилась полностью.

В общем курсе исторической морфологии русского языка должны сообщаться сведения о связи истории языка с историей общества, в котором он развивается. Однако едва ли правильно было бы думать, что роль общественных условий сводится к привнесению в языковую систему тех или других языковых элементов. Между тем П. С. Кузнецов нередко объясняет возникновение отдельных элементов языковой системы воздействием отдельных общественных явлений.

Известно, что в общеславянском языке-основе именительный и винительный падежи единственного числа мужского рода совпали в одной форме. Затем стало расширяться употребление форм родительного падежа в функции винительного падежа у отдельных групп имен существительных, обозначающих одушевленные предметы.

По мнению П. С. Кузнецова, «первоначально форма родительного-винительного падежа использовалась не у всех существительных, обозначающих одушевленные существа, а лишь у собственных имен людей и у названий лиц (т. е. людей), и притом общественно полноправных. Общественные отношения и отражающие эти отношения воззрения не находят себе прямого и непосредственного выражения в грамматических категориях, как предполагал основатель методологически порочного „нового учения“ о языке Н. Я. Марр. Но в известных случаях, когда языковая структура дает почву для этого, отражение определенных общественных отношений наблюдается и в грамматическом строе языка» (стр. 118).

П. С. Кузнецов считает, что определенные общественные отношения, существовавшие в древней Руси, породили и то явление в грамматическом строе русского языка, которое заключается в том, что форму родительного-винительного первоначально стали принимать только названия полноправных лиц, а названия неполноправных лиц продолжали сохранять форму винительного падежа. Однако эта точка зрения едва ли может быть признана. Процесс распространения родительного-винительного падежа в древнерусском языке не испытывал того или другого воздействия со стороны правового или общественного положения людей в древнерусском обществе.

Сомнительными представляются нам и рассуждения автора о происхождении форм рода. О формах женского рода он пишет так: «отдельные случаи отражения общественного мировоззрения, отдельные случаи отражения развития хозяйственных отношений и техники производства в подразделении существительных по родам мы на протяжении истории различных языков находим. Так, например, в ряде языков для определенной эпохи имеются указания, что женский род является как бы более „низким“: названия лиц, обозначающих более „низкие“ профессии, названия различ-

ных отрицательных свойств оформляются такими окончаниями, которые свойственны женскому роду: ср. лат. *scriba* „писец“, ср. также русск. *розля, мямля*» (стр. 62—63).

Та же необоснованная социологизация наблюдается в рассуждениях о формах среднего рода. «Поскольку средний род, — пишет автор, — обозначал такие предметы, которые сами не действуют, а являются лишь объектом действия, занимают лишь подчиненное положение, к среднему роду легко могли отходить и отходили слова уничижительного значения, а с ними в некоторых случаях и имена, характеризующиеся и другими значениями, так или иначе связанными с уменьшительными» (стр. 114).

Таким образом, у автора нет продуманных взглядов по вопросу о характере закономерности морфологических процессов в истории русского языка, представления его об отмирании элементов старого качества и о возникновении элементов нового качества бедны и сбивчивы, его суждения о связи развития грамматического строя с общественными условиями не всегда верны.

6

Курс исторической морфологии П. С. Кузнецова — учебник. В нем должны быть учтены достижения науки о русском языке со времени выхода в свет курсов по истории русского языка А. И. Соболевского, А. А. Шахматова и Н. Н. Дурново. В учебнике должна быть соблюдена соразмерность его частей, методичность и четкость изложения.

И в этом отношении работа П. С. Кузнецова нуждается в серьезной доработке. Автор очень мало использовал отдельные исследования и в особенности диссертационные работы по вопросам исторической морфологии русского языка.

Книга переполнена рассуждениями автора по отдельным вопросам истории русского языка, но бедна фактическим материалом. Отдельные части курса не пропорциональны, причем несоразмерность частей не может быть объяснена состоянием науки о русском языке. Истории наречий автор отвел три неполные страницы, тогда как в исторической грамматике русского языка Ф. И. Буслаева, изданной около ста лет назад, этому вопросу отведено десять страниц. Историю предлогов, союзов, частиц и междометий автор вообще не излагает. История имен числительных и местоимений дана в самом сжатом виде; между тем истории глагола автор отвел около ста страниц из двухсотпятидесяти, посвященных истории всех частей речи.

Стиль работы удовлетворительный, погрешности встречаются редко; см., например, неудачную формулировку: «В Московских памятниках XVI в. мы находим, правда, по С. Д. Никифорову, некоторые примеры, которые можно было бы истолковать как примеры прямого дополнения при страдательном причастии, но примеры сплошь спорные» (стр. 276).

*

Итак, лекции по исторической морфологии русского языка проф. П. С. Кузнецова в настоящем их виде не свободны от серьезных недочетов. В них имеются недостатки общетеоретического характера. В отдельных случаях методы объяснения явлений языка не отличаются научностью, а сообщаемые сведения — точностью. Однако и в этом виде книгу проф. П. С. Кузнецова с пользой для себя прочтут преподаватели вузов, занимающиеся вопросами исторической грамматики русского языка.

Г. П. Ломтеев

A. Lamprecht. *Stfědoopavské nářečí*.—Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1953. 115 стр., 1 карта.

Книга Арношта Лампрехта «Среднеопавские говоры» представляет собою описание фонетической и грамматической системы группы говоров чешской Силезии, которые до сих пор оставались почти совершенно неизученными. В связи с этим для характеристики среднеопавских говоров приходилось пользоваться трудом Фр. Бартоша «*Dialektologie moravská*» (I. 1886, II, 1895), в котором представлен говор только одного населенного пункта из числа среднеопавских говоров. Использовали также и работу Б. Гавранека «*Česká nářečí*», дающую лишь

самую общую характеристику среднеопавских говоров в системе ляхского диалекта. Поэтому весьма положительным фактом является выход в свет работы А. Лампрехта, в которой подробно охарактеризована группа говоров одного из пограничных диалектов чешского языка.

Рецензируемая книга начинается с описания фонетики. В этом разделе сначала дается краткая характеристика современной звуковой системы среднеопавских говоров с указанием особенностей, которыми данные говоры отличаются от литературного языка. Затем звуки среднеопавских говоров рассматриваются с точки зрения их происхождения. При этом автор педантически следует общепринятой схеме описания фонетики, обычной в исторических грамматиках чешского языка, т. е. сначала рассматривает соответствия между звуками среднеопавских говоров и общеславянского языка и других языков индоевропейской системы, а затем особо останавливается на звуковых соответствиях говоров и прачешского языка. Далее получают свою характеристику комбинаторные изменения групп согласных, слогораздел, количество слога и ударение.

В предисловии к настоящей работе автор замечает, что он ставит своей целью описать «новый конкретный материал в изучаемой им области, который мог бы быть исходным пунктом для дальнейших работ, освещающих современное состояние говоров с точки зрения их исторического развития в прошлом» (стр. 6). Здесь же автор специально останавливается также на вопросе о том, почему именно фонетика изучаемых говоров дается им с точки зрения ее исторического развития. По его мнению, это способствует лучшему использованию описываемого материала при сравнительном изучении славянских языков. Однако если исходить из основной задачи работы — описания современного состояния определенной группы говоров, то доводы автора представляются нам неубедительными, а подобный способ изложения одного только фонетического материала по традиционной схеме, необходимой и уместной для исторической грамматики, в целом неоправданным.

Во II разделе книги, посвященном словообразованию (стр. 37—41), приводится очень интересный, хотя и весьма незначительный по объему материал по именовому словообразованию в системе среднеопавских говоров. В отличие от предыдущего раздела, где фонетические данные подвергались сравнению в ряде направлений и в том числе с данными чешского литературного или общеразговорного языка, для данных по словообразованию такое сопоставление отсутствует. Между тем было бы целесообразно выделить как словообразовательные суффиксы, свойственные только изучаемым говорам, так и те, которые свойственны также и литературному языку. См., например, на стр. 37 образование женских фамилий от мужских при помощи суффиксов *-ula*, *-ena*, не свойственных чешскому литературному языку, и т. д.

Раздел «Морфология» (стр. 42—67) содержит подробную характеристику современных типов склонения имен существительных, прилагательных, местоимений, числительных и спряжения глаголов. Здесь собран богатый фактический материал, тщательно систематизированный автором. Однако нам представляется, что анализ этого материала мог бы быть более глубоким как в плане сопоставления его с данными других опавских говоров и литературного языка, так и в плане обобщения и описания выводов, к которым пришел автор в связи с изучением отдельных явлений морфологии.

В разделе «Синтаксис» (стр. 68—90) автор выделяет, как более общие, вопросы, связанные с определением типов предложения и способов выражения различных синтаксических связей в среднеопавских говорах, и как более частные — вопросы определения реальных значений различных грамматических категорий.

В конце книги помещены диалектологические тексты, собранные автором, и карта среднеопавских говоров с указанием границ отдельных диалектных явлений.

Богатый материал, систематизированный и обобщенный автором в настоящей книге, позволяет ему в заключительной главе «Общая характеристика среднеопавских говоров» (стр. 91—100) сделать вывод о том, что по ряду основных фонетических и грамматических черт среднеопавские говоры относятся к ляхскому диалекту, и вместе с тем выяснить характерные черты, выделяющие их в ряду других ляхских говоров, уточнить границы некоторых языковых явлений. Так, например, неразличение гласных по долготе и краткости, наличие звуков *i* и *y*, различение *l* среднего и *l* твердого, ударение в слове на предпоследнем слоге, унификация падежных окончаний в дательном, местном и творительном падежах множественного числа для всех трех родов имен существительных, употребление в функции винительного падежа форм родительного падежа (во множественном числе) для личных существительных и т. д. — все это те черты, по которым данные говоры должны быть отнесены к ляхскому диалекту. Вместе с тем автором установлено, что среднеопавские говоры выделяются среди других ляхских говоров рядом особых черт. Так, например, бывшее *o* долгое здесь последовательно заменялось *u* кратким, независимо от фонетических условий; употребление *i* или *y* обусловлено предшествующим согласным, и, таким образом, функционального совпадения этих звуков с соответствующими звуками в других ляхских говорах тоже

нет; унификация падежных окончаний проведена не столь последовательно, как в окружающих говорах, и т. д.

Результаты проведенного А. Лампрехтом исследования очень интересны и имеют большое значение для истории чешского языка, для чешской диалектологии. Нельзя только вполне согласиться с методом подачи материала, представленным в книге. Выше было сказано, что изученные автором говоры отмечены рядом общих всем им фонетических, грамматических и лексических черт. Это позволило автору объединить данные говоры отдельных селений и представить их в общем описании как целостную систему. Сам по себе факт подобного обобщения материала возражения не вызывает, но при таком обобщении, конечно, должна была быть сохранена строгая паспортизация всего приводимого материала, чтобы читатель всегда мог представить себе, где записаны те или иные факты.

Е. В. Немченко

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ИМ. А. А. ПОТЕБНИ АН УССР

9, 10 и 13 марта 1954 г. на расширенном заседании Ученого совета Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР состоялось обсуждение новой работы члена-корр. АН СССР, действительного члена АН УССР Л. А. Булаховского «Вопросы происхождения украинского языка».

В обсуждении, кроме научных сотрудников Института языкознания, приняли участие представители Института истории АН УССР, Института литературы АН УССР, кафедр языкознания Киевского университета и Киевского педагогического института, работники издательств г. Киева и др.

Открывая заседание, заместитель директора Института языкознания АН УССР доктор филол. наук И. К. Б е л о д е д указал, что в обсуждаемой работе история украинского языка освещена в неразрывной связи с историей украинского народа; в работе отображены процессы, совершавшиеся в украинском языке как в далеком прошлом, так и в новый период его развития, причем автор работы подверг критическому анализу отечественную и иностранную научную литературу вопроса почти за сто лет. Критические замечания, сказал докладчик, которые будут сделаны при обсуждении книги, должны помочь автору работы исправить возможные недостатки и обеспечить ее издание в 1954 году.

Л. А. Бу л а х о в с к и й познакомил присутствующих с планом монографии, в которой имеются следующие основные разделы: 1) Постановка вопроса; 2) Происхождение современного украинского литературного языка. Особенности развития литературного языка в Западной Украине; 3) Письменный украинский язык XIV—XVIII вв.; 4) Фонетические южнорусизмы в старорусских памятниках; 5) Морфологические и синтаксические южнорусизмы в старорусских памятниках; 6) Вопрос о старорусской лексике и элементы в ней будущего украинского языка; 7) Гипотеза Погодина и ее критика; 8) Вопрос о положении украинского языка среди других славянских языков и выделение его из восточнославянского единства; 9) Вопрос о существовании в украинском языке черт переходности к другим славянским языкам, кроме восточных; 10) Вопрос о значении археологических данных; 11) Заключение. Общность происхождения восточных славян. Краткие выводы.

Все выступавшие отмечали положительные стороны обсуждаемой монографии, в которой представлены критическая переработка и научный синтез многочисленных предшествующих трудов, посвящавшихся отдельным вопросам исследуемой проблемы, а также проведено дополнительное исследование материала самим автором монографии, осветившим сложный комплекс вопросов, касающихся происхождения и развития, с одной стороны, литературного языка украинского народа, а с другой, — общенародного украинского языка в его разговорном типе.

Применяя сравнительно-исторический метод исследования, Л. А. Булаховский раскрывает те глубокие связи, которые имелись между украинским и русским языком на всех этапах их развития. Поэтому его труд является серьезным источником для всех работающих в области истории украинского языка и сыграет значительную роль в практике преподавания истории украинского языка в высшей школе.

Поставленные в монографии вопросы решаются на основе положений И. В. Сталина об историческом развитии языка, о связи истории языка с историей общества.

Выступавшие высказали критические замечания по поводу некоторых положений работы, указали на ряд моментов, требующих уточнения, дополнительного аргументирования и т. д.

Ст. науч. сотрудники Института языкознания П. И. Горецкий, А. С. Мельничук, Ф. Т. Жилко, С. Ф. Левченко, М. Ф. Бойко, доцент Киевского университета П. П. Плющ, ст. науч. сотр. Института истории К. Г. Гуслистый, опираясь на новые данные исторической науки, оспаривали утверждение Л. А. Булаховского о том, что процесс формирования украинской нации и национального языка происходил позже, чем формирование русской нации и языка (в конце XVIII и в начале XIX в.). Выступавшие подчер-

квалили одновременность процесса формирования украинской и русской наций, завершившегося в обоих случаях в основном во второй половине XIX в., после ликвидации крепостного права.

Канд. филол. наук П. И. Горецкий обратил внимание на то, что в рецензируемой работе не освещены надлежащим образом взгляды М. А. Максимовича, А. А. Потемни и А. Е. Крымского на старорусский язык. Он же возражал против положения Л. А. Булаховского о том, что «в качестве образца нашел применение (в Литовском княжестве) активный язык, созданный в Галиции». Правильнее было бы говорить о «встрече» в XIV в. двух литературных языков (в частности, активных языков): выработанного в белорусских землях, которые были захвачены Литвой еще в XIII в., и созданного в Галиции, вернее — в юго-западных землях, среди которых в XIII—XIV вв. особенно выделялось своим экономическим, культурным, а также политическим положением Галицко-Волынское княжество.

П. И. Горецкий отметил далее, что, анализируя лексический состав произведений И. П. Котляревского, Л. А. Булаховский считает диалектизмами слова, имеющие сравнительно широкое применение в произведениях украинских писателей (например, *бабинець, кабця, гедзатися, таранкуватий*). Это же замечание касается и определения некоторых слов лексики произведений Т. Г. Шевченко. Так, к диалектизмам отнесены слова *бурто* (*бурт*), *зайшати*, а некоторые безусловные диалектизмы, употребляемые Т. Г. Шевченко (*богила, затого, файда* и др.), не отмечены.

Канд. филол. наук А. С. Мельничук отметил, что аргументы, приведенные автором монографии в подтверждение предположения о пережитом в свое время предками украинского и белорусского народов периоде языкового единства, не во всем убедительны. Не затрагивая вопроса об исторических условиях этого предполагаемого единства, Л. А. Булаховский выделил несколько фонетических черт, общих для украинского и белорусского языков [рефлексия *ъ, ь* в виде *и (ы)* в группах * *trъt, *trъt, *tlyt, *tlyt* в определенных условиях; переход групп *ъl* и *ьl* между согласными в *оу*; удлинение согласных перед бывшим сочетанием «*ьj* + гласный» после падения *ь*; отпадение безударного *и* в начале слова; совпадение в одном предлоге *а (ia)* предлогов *с(ѣ)* и *и(ъ)*; произношение *h*, а не *g*; рефлексия напряженных глухих гласных перед *j* в виде *и (ы)* в открытых слогах], и сделал вывод, что «относительная близость этой связи, независимо от времени, когда именно она установилась, существовала, вероятно, еще даже в XIII в.». А. С. Мельничук, оспаривая, в частности, утверждение Л. А. Булаховского о древности перехода *ъl* и *ьl* перед согласными в *оу* (по мнению Л. А. Булаховского, этот процесс имел место до падения глухих), считает, что из всех указанных автором черт, общих для украинского и белорусского языков, только *и (ы)* на месте напряженных глухих; *ри, ли* на месте *ръ, лъ*; *h* вместо *g* существовали еще до XIII в., причем две первые черты являются лишь остатками старины, а не общими для украинского и белорусского языков изменениями. Поэтому вся совокупность приведенных автором черт не может служить прямым доказательством существования особой, не распространявшейся на остальные восточнославянские говоры общности говоров-предков украинского и белорусского языков до XIII в. включительно. Приводимые черты могут быть объяснены на основе того, что данные языки образовались из близко родственных, непосредственно смежных племенных и территориальных диалектов, а затем вскоре после своего выделения (XIII—XIV вв.) снова вступили в тесный и длительный контакт.

А. С. Мельничук считает слишком осторожным высказывание Л. А. Булаховского, будто написания типа *просыти, назарянынъ, седмыжды* вплоть до XIV в. можно и не считать отражением действительного совпадения *и* и *ы* в живом языке южнорусского населения; приведение данного фонетического изменения в хронологическую связь с изменением *ъ > i* дает значительно больше уверенности в этом отношении.

А. С. Мельничук выразил сомнение по поводу предположения о том, что «закон удлинения *о* в закрытых слогах и изменения *о* в направлении к закрытым гласным звукам прекратил свое действие еще до перехода эра (*ъ*) в *о*». Поскольку и процесс вокализации сильного *ъ* в *о*, и процесс удлинения и дифтонгизации старого *о* в позиции перед слогом со слабым *ъ* были вызваны одной и той же причиной и заключались в количественной и динамической компенсации звуковой утраты в следующем слого, то наиболее естественным является предположение о том, что эти процессы связаны между собой и происходили приблизительно одновременно. Факт отличия рефлексов старого *о* в новообразованном закрытом слоге от гласного *о* из *ъ* вовсе не свидетельствует о том, что оба гласных изменялись в разное время, так как, начавшись приблизительно одновременно с началом удлинения *о*, переход сильного *ъ* в *о* мог окончиться не раньше, чем на стадии удлинения старого *о*. По мнению А. С. Мельничука, такая хронологизация более правильна и подтверждается данными памятников, в которых переход *ъ* в *о* отражается уже в 1164 г. (Добриволю еванг.), а удлинение старого *о* — лишь в 1266 г. (Галицкое еванг.).

Канд. филол. наук Ф. Т. Жук указал, что, рассматривая вопрос происхождения и развития украинского литературного языка XVI—XVIII вв., Л. А. Булахов-

ский подчеркивает значение «живой народной почвы», а при рассмотрении вопроса о возникновении современного украинского литературного языка упускает из поля зрения фольклорные в отношении языка основы некоторых его жанров.

Считая, что языковые средства бурлескного жанра «Энеиды» И. П. Котляревского не могли быть основанием для будущей литературы многомиллионного народа Л. А. Булаховский не учел, что в «Энеиде» представлены не только языковые и стилистические средства бурлескного жанра (хотя он и является ведущим), но и языковая струя устного народного творчества (песни, пословицы и т. д.), которая особенно ярко проявляется в драматических произведениях И. П. Котляревского. Л. А. Булаховский обходит молчанием вопрос о фольклорной основе языка Т. Г. Шевченко, а подчеркивает лишь собственные ему южнокиевские диалектные черты.

Отметив широкое использование в работе лингвистических данных, почерпнутых из письменных источников, Ф. Т. Жилко указал на недостаточное привлечение данных живого языка украинского народа, подчеркнув, однако, что это обусловлено отсутствием обобщающих работ по украинской диалектологии, в частности, по лингвистической географии. По мнению Ф. Т. Жилко, полтавско-киевский диалект нельзя отождествлять с юго-восточным наречием, как это отчасти намечается в работе, потому что территория полтавско-киевского диалекта значительно уже: она охватывает только среднее Поднепровье. Ф. Т. Жилко указал также на неточность в определении некоторых морфологических черт полтавско-киевского диалекта.

Утверждение Л. А. Булаховского о том, что Т. Г. Шевченко якобы воспринял из северных говоров такую фонетическую черту, как сохранение *o*, *e* в исторически новых закрытых (неударных) слогах, вызвало возражения Ф. Т. Жилко. Эта черта наблюдается во многих говорах Правобережной и особенно Левобережной Украины, и в языке Т. Г. Шевченко она отражает не заимствование из северных говоров, а особенность родных ему говоров южной Киевщины.

Для полноты характеристики украинского литературного языка Ф. Т. Жилко считает необходимым осветить вопрос об особенностях закарпатской традиции украинского литературного языка (тем более, что она существовала продолжительное время), показать, в частности, выпадение этой областной традиции литературного языка из общего русла развития украинского литературного языка.

Канд. филол. наук С. Ф. Левченко отметил, что в фактическом материале, которым оперирует Л. А. Булаховский, преобладают данные фонетики, а грамматическая структура и лексический состав украинского языка представлены значительно меньше, вследствие чего создается впечатление некоторой диспропорции материала. В разделе «О положении украинского языка среди других славянских языков» разработку материала желательнее было бы теснее увязать с положением И. В. Сталина о связи истории языка с историей народа, шире осветить процессы интеграции и дифференциации в развитии украинского языка. По мнению С. Ф. Левченко, необходимо больше заострить критику взглядов С. Смалья-Стоцкого, Т. Гартнера, Е. Тимченко и др. С. Ф. Левченко сделал также несколько замечаний, касающихся архитектоники работы, в частности, указал на громоздкие отступления, нарушающие иногда цельность изложения.

Канд. филол. наук М. Ф. Бойко, посвятив свое выступление, в основном, вопросу формирования украинской нации, указала на необходимость уделить больше внимания языковой практике таких украинских писателей XIX в., как Гулак-Артемовский, Квитка-Основьяненко, Гребенка, Шашкевич.

Доцент Киевского государственного университета П. П. Плющ отметил, что в труде Л. А. Булаховского имеется много такого материала и таких рассуждений и тем, которые могли бы стать основой для ряда новых книг, читателя же обсуждаемой работы они лишь отвлекают от основного материала. По мнению П. П. Плюща, не все выводы, касающиеся происхождения украинского языка, в работе достаточно обоснованы. В частности, важно было бы расчленить вопрос о происхождении живого разговорного украинского языка и о возникновении литературного языка. П. П. Плющ считает неполной характеристику книжного украинского языка XVII—XVIII вв. Указав, что этот язык представлял собой смесь церковнославянских, украинских и белорусских элементов, Л. А. Булаховский мало говорит о наличии в нем лексических, фонетико-морфологических и синтаксических полонизмов.

Спорным, по мнению П. П. Плюща, является употребление в работе термина «основоположник литературного языка» по отношению и к И. П. Котляревскому, и к Т. Г. Шевченко. Первым, кто начал писать на народном языке, был все же И. П. Котляревский; поэтому его по праву можно считать «зачинателем» нового литературного языка, закрепив за Т. Г. Шевченко определение «основоположник». Определение «зачинатель», исторически правильно характеризующее роль И. П. Котляревского в развитии украинского языка, нельзя отбрасывать лишь на том основании, что оно употреблялось буржуазно-националистическими историками литературы и языка.

Вызвало сомнение у П. П. Плюща также употребление в работе выражений «исторический период» и «доисторический период», от которых отказывается в настоящее

время историческая наука. Нельзя согласиться, по мнению П. П. Плюща, с тем, чтобы в научной работе фигурировали в качестве терминов слова «икавцы», «ыканцы».

Преподаватель украинского языка Н. Ф. Наконечный (Харьков) обратил внимание на некоторые неточности в характеристике фонетических и морфологических черт полтавско-киевского диалекта, а также на неполноту их освещения в работе. Н. Ф. Наконечный считает неправильным рассматривать некоторые параллельные формы в полтавско-киевском диалекте (например, наличие окончания *-у* рядом с более распространенными *-ові, -еві* в дательном падеже имен существительных мужского рода II склонения) как заимствования из северного наречия. Эти формы присущи самому полтавско-киевскому диалекту.

Оперируя значительным фактическим материалом, собранным во многих селах Полтавской области, Н. Ф. Наконечный внес поправки, касающиеся данных лингвистической географии, и, в частности, обратил внимание на необходимость более точного определения границы распространения форм типа *хоче* и *ходить*; он отметил также, что формы 3-го лица единственного числа на *-ить*, по всей вероятности, принадлежали полтавскому говору времен И. П. Котляревского, и только позже территория их распространения сузилась.

Касаясь общетеоретических вопросов, Н. Ф. Наконечный указал, что он не может принять положение о возможности формирования литературного языка одновременно на основе нескольких диалектов или на основе койне.

Доктор филол. наук И. К. Белодед предложил расчленить употребляемый Л. А. Булаховским термин «украинско-белорусский литературный язык» и говорить об этих языках раздельно для каждого определенного исторического периода, подчеркивая при этом общие для обоих языков черты. Необходимо также, замечает И. К. Белодед, освещая вопрос о постепенном формировании в XII—XIII вв. характерных особенностей будущего украинского языка, упомянуть параллельно и о формировании черт русского языка. И. К. Белодед предложил подробнее и более дифференцированно охарактеризовать украинский литературный язык XVIII в., уделив больше внимания вопросу о стилях и жанрах, тесно связанных с народно-разговорным языком. Кроме того, И. К. Белодед отметил, что книга требует некоторого композиционного усовершенствования.

Канд. истор. наук К. Г. Гуслистый остановился на вопросах, касающихся исторического аспекта работы. Новая историческая литература («Очерки по истории СССР», т. I—II, «История Украинской ССР», т. I), партийные документы, опубликованные к 300-летию воссоединения Украины с Россией, сказал К. Г. Гуслистый, помогут Л. А. Булаховскому ввести ясность в вопрос об этническом составе Киевской Руси. Нельзя говорить о существовании восточнославянских племен в период Киевской Руси (на этом останавливался в своем выступлении и П. П. Плющ), ибо в то время уже произошло их слияние в единую древнерусскую народность. Следовательно, необходимо ввести в работу материал о древнерусском языке.

Большую часть своего выступления К. Г. Гуслистый посвятил вопросу об историко-экономических условиях формирования русской и украинской наций. Ссылаясь на доводы большинства историков, К. Г. Гуслистый подчеркнул, что время окончательного формирования русской и украинской наций необходимо датировать второй половиной XIX века. К. Г. Гуслистый привел более полные данные, чем имеющиеся в работе Л. А. Булаховского, об употреблении терминов «Украина», «украинский народ» (исторические памятники, исторические песни и думы), «Русь», «малороссы», «великороссы» и др.

В работе, отметил К. Г. Гуслистый, заметна недооценка попыток приблизить книжный язык XVI—XVII вв. к народному языку. Нельзя объяснять введение элементов народного языка в интермедии Я. Гаватовича лишь желанием автора насмешить зрителей. Как известно, цель перевода Пересопницкого евангелия была сформулирована вполне определенно — дать народу книгу, написанную понятным языком. В этом плане следует рассматривать и другие попытки приблизить книжный язык XVI—XVII вв. к народному.

К. Г. Гуслистый высказал пожелание, чтобы автор монографии уделил больше внимания характеристике литературного языка XVII в., причем подробнее осветил значение воссоединения Украины с Россией в 1654 г. для развития и обогащения украинского литературного языка.

Науч. сотр. Института истории АН УССР А. А. Бевзо указал, что работа Л. А. Булаховского, представляющая по своей композиции ряд научных очерков, освещающих вопросы происхождения и развития украинского языка, является ценной книгой не только для языковедов, но и для представителей других общественных наук. В связи с этим следует несколько упростить стиль изложения специальных филологических вопросов, сделать их анализ более доступным. А. А. Бевзо обратился к сотрудникам Института языкознания с призывом более активно включиться в дело издания и комментирования исторических памятников, завершить начатую Институтом и пре-

рванную, в последние годы работу по созданию исторического словаря украинского языка.

В заключительном слове Л. А. Булаховский поблагодарил участников обсуждения за ценные замечания и советы. Подчеркнув, что работа была закончена около двух лет назад и в ней еще не нашли соответствующего отражения научные данные исследований последнего времени, Л. А. Булаховский остановился на принципиальных вопросах, вызвавших дискуссию.

1. Л. А. Булаховский отметил, что такое знаменательное событие, как празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией, появление новых трудов по истории и постановлений ЦК Коммунистической партии, связанных с этой датой, поможет ему уточнить вопрос о времени формирования украинской нации.

2. Новые материалы, полученные в последние годы диалектологами, изучающими полтавско-киевский диалект, будут соответствующим образом учтены и использованы в работе. Обсуждение вопросов диалектологии, отметил Л. А. Булаховский, вскрыло значительные пробелы в изучении именно полтавских говоров.

3. Вопрос о белорусско-украинских языковых связях нельзя решать лишь на основании квалификации отдельных зафиксированных памятниками черт, не учитывая их совокупности. Кроме того, при обсуждении вопросов истории языка необходимо помнить, что, решая их, приходится больше оперировать вероятностями, чем вполне достоверными фактами. Л. А. Булаховский указал, что А. С. Мельничук ошибочно приписывает ему трактовку некоторых фонетических явлений, в то время как речь идет о положениях, высказанных А. А. Шахматовым. Автор считает их правильными и только уточняет, развивает их.

4. Как неверна концепция возникновения литературных языков на основе простого смещения разнотипных говоров, сказал Л. А. Булаховский, так неправильно и высказанное Н. Ф. Наконечным мнение о том, будто в основе формирующегося литературного языка обязательно лежит только один диалект. Фактически, несомненно, имеет место заимствование известного количества черт из других диалектов; особенно, если это диалекты, связанные в своем развитии с влиятельными в экономическом и политическом отношении центрами.

Л. А. Булаховский подчеркнул, что, по его глубокому убеждению, язык фольклора как исключительно жанровый может питать художественную литературу (особенно творчество отдельных писателей), но основой литературного языка в целом он нигде в истории литературных языков не был.

Л. А. Булаховский отвел также упрек, будто в его книге не освещены взгляды М. А. Максимовича, А. А. Потебни и А. Е. Крымского. Рассмотрение их нашло место в работе, но не в историческом аспекте, а при анализе отдельных вопросов.

Ученый совет Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР одобрил работу Л. А. Булаховского «Вопросы происхождения украинского языка» к печати и рекомендовал автору использовать критические замечания при окончательной редакции текста монографии.

Л. Г. Скрипник

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. Виноградов (Москва). Язык художественного произведения . . .	3
Я. С. Отрембский (Познань). Славяно-балтийское языковое единство . . .	27

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. М. Дьяконов (Ленинград). О языках древней Передней Азии	43
--	----

Обсуждение вопросов стилистики

А. В. Федоров (Ленинград). В защиту некоторых повягий стилистики	65
В. Д. Левин (Москва). О некоторых вопросах стилистики	74
И. С. Ильинская (Москва). О языковых и неязыковых стилистических средствах	84

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

А. В. Десницкая (Ленинград). Об университетском курсе «История языкознания»	90
---	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Ю. А. Жлуктенко (Киев). О так называемых «сложных глаголах» типа <i>stand up</i> в современном английском языке	105
---	-----

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Э. Я. Егерман (Москва). Вопросы лянвистики в теоретических трудах А. Грамши	114
---	-----

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Г. В. Шнитке (Москва). О транслитерации собственных имен (По поводу статьи Л. С. Карума)	126
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. С. Бархударов, Г. В. Кэпшанский (Москва). Американский журнал «Language» (за 1952—1953 гг.)	130
Т. П. Ломтев (Москва). <i>П. С. Кузнецов</i> . Историческая грамматика русского языка. Морфология	137
Е. В. Немченко (Москва). <i>A. Lamprecht. Straboopravské nářečí</i>	144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Л. Г. Скрипник (Киев). В Институте языкознания им. А. А. Потебни АН УССР	147
--	-----

Р е д к о л л е г и я:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции),
Р. А. Будагов, В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов,
Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного редактора),
В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б-1-75-42

Т-06921	Подписано к печати 23.IX. 1954 г.	Тираж 14 150 экз.	Зак. 497
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Бум. л. 4 ³ / ₄	Печ. л. 13,02	Уч.-изд. л. 15,9

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

Цена 12 руб.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанными литературно и подписанными автором.

После подписи сообщаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, адрес, телефон.

2. Объем статьи, как правило, не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15—20 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Каждая цитата должна быть завизирована автором.

4. Названия источников даются без всяких сокращений. При ссылках (в тексте и сносках) указывается автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), место издания, год издания, страницы.

5. При ссылке на труд иностранного автора следует указывать фамилию автора, и название труда в тексте статьи по-русски (в сносках — на языке книги).

6. Все иноязычные примеры должны быть снабжены переводами.

7. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркнуть волнистой чертой), а значения — в кавычках.

8. Автор должен обязательно указывать инициалы имени и отчества упоминаемых в статье лиц.

9. Авторская правка в сверстанных листах не допускается.

Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.
